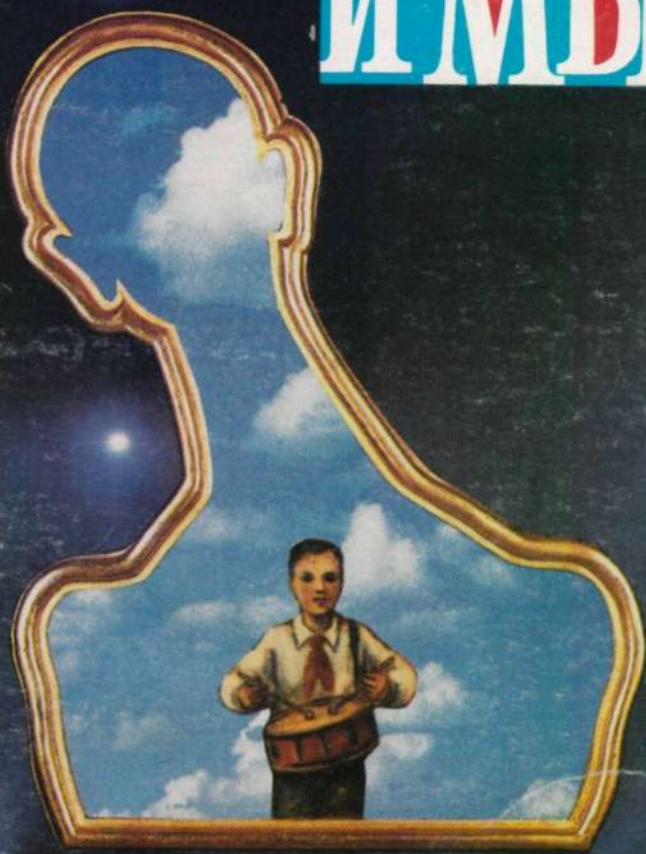


**ВРЕМЯ  
ИМБИ** 111  
1990



*АНДРЕЙ КУТЕРНИЦКИЙ*  
**В СУМЕРКАХ В ОДИНОЧЕСТВЕ**

# ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ПРОБЛЕМ

*Шестнадцатый год издания.*

Выходит один раз  
в три месяца

---

**111**  
**1990**

НЬЮ-ЙОРК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» — 1990

**ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР**  
**ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

<b>ВАГРИЧ БАХЧАНЯН</b>	<b>ВОЛЬФАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН</b>
<b>ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ</b>	<b>ИЛЬЯ СУСЛОВ</b>
<b>ДЖОН ГЛЭД</b>	<b>МОРИС ФРИДБЕРГ</b>
<b>ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ</b>	<b>ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ</b>
<b>ЛЕВ НАВРОЗОВ</b>	<b>ЕФИМ ЭТКИНД (зам. гл. редактора)</b>
<b>ГРИГОРИЙ ПОЛЯК</b>	

Представительство журнала в Москве —  
Литературное агентство журнала «Огонек»,  
корреспондент «Огонька» Денис Новиков.  
Адрес: 101456, ГСП, Москва,  
Бумажный проезд, 14. Тел: 212-63-19

Израильское отделение журнала «Время и мы»  
Заведующая отделением Дора Штурман  
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала «Время и мы»  
Заведующий отделением Ефим Эткинд  
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800  
PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала в Западном Берлине  
Manama Shmargon, Shlobstr. 30/30  
1000 Berlin (West) 19

OCR и вычитка — Давид Титиевский, сентябрь 2011 г.  
Библиотека Александра Белоусенко

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ПРОЗА</b>	
<i>Андрей КУТЕРНИЦКИЙ</i>	
В сумерках в одиночестве.....	5
<i>Борис НОСИК</i>	
Остров.....	78
<b>ПОЭЗИЯ</b>	
<i>А. ЛЕИИ</i>	
Времени гимн — времени хруст.....	110
<i>Леопольд ЭПШТЕЙН</i>	
Срез.....	119
<b>ПУБЛИЦИСТИКА. ПОЛИТИКА. КРИТИКА</b>	
<i>Виктор ПЕРЕЛЬМАН</i>	
Можно ли обустроить сегодняшнюю Россию?.....	126
<i>Лев НАВРОЗОВ</i>	
Западный обыватель на пути в ничто.....	138
<i>Елена ГЕССЕН</i>	
Писатель на завтра, или пример Маканина.....	155
<i>Вадим ЯРМОЛИНЕЦ</i>	
Слово о поп-музыке.....	168
<b>НАШЕ ИНТЕРВЬЮ</b>	
<i>Юрий БУРТИН</i>	
Полнота и фатальность истории. Интервью журналиста Андрея Колесникова.....	178
<b>ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО</b>	
<i>Ариадна ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС</i>	
Тени минувшего.....	189
<i>Н. А. ТЭФФИ</i>	
Моя летопись.....	225
<b>НАШИ ПУБЛИКАЦИИ</b>	
<i>А. ТУРБИН</i>	
Владимир Ильич.....	242
<b>ПОЧТА РЕДАКЦИИ</b>	
Три письма из Москвы.....	270

Андрей КУТЕРНИЦКИЙ

## В СУМЕРКАХ В ОДИНОЧЕСТВЕ

*Повествование  
в рассказах*

*«Если я имею дар пророчества,  
и знаю все тайны, и имею всякое  
познание и всю веру, так что могу  
и горы переставлять, а не имею  
любви, — то я ничто».*

Святой Апостол Павел  
(Первое послание к Коринфянам,  
глава 13, 2.)

### ИЗ ЗЕЛЕННОЙ ТЕТРАДИ

Почему мы так боимся подойти друг к другу,  
душа к душе,  
подойти близко,  
чтобы ничто уже не разделяло нас,  
и перестать быть одинокими?

Не подходим!

Оставляем спасительное расстояние.

Расстояние отчуждения.

Когда очень близко — невозможно казаться  
добрыми, притворяться любящими, молиться не веря.

А как жить и не лгать?

**СТРАХ**

И настал и в моей жизни момент, когда я понял: все люди умирают.

Все — значило: я тоже.

Разумеется, такое понимание не возникло вдруг на пустом месте, оно строилось в моем сознании давно, камень за камнем, и я, продолжая жить с той же легкостью неведения, с какой жил прежде, с любопытством следил за этим строительством, не подозревая в нем ничего страшного, угрожающего мне; напротив, что-то даже восхищало меня (есть в человеке это необъяснимое восхищение трагедией как чужой, так и своей собственной жизни, когда чем страшнее, безумнее трагедия, тем сильнее восхищение); кроме того, я был уверен, что строительство это никогда не будет завершено, как вдруг увидел — здание построено, стоит, существует и разрушить его нельзя, а, не разрушив, жить невыносимо.

Была весна, дружная, на редкость красивая, по выходным дням переполненные электрички увозили многочисленных лыжников к заливу и Кавголовским горам, но в городе снежный покров сошел и, освещенный уже не холодным, уже прогревающим апрельским солнцем, город как бы помолодел, похорошел, стал чище и просторнее. Голубизна неба, блеск гранита и позолоты, густая фиолетовая река с редкими ослепительными льдинами, — разнообразие красок радовало людей. Спешили мужчины, улыбались женщины, предвкушая открытые платья и высокие каблуки, школьники выбегали из школ раздетыми в одних формах, галдели, дрались портфелями, в путанице голых ветвей орали воробьи, по вечерам во дворах звенели переносные магнитофоны, гремели мотоциклы, на скамейках целовались, — все было так, как и каждую весну, и быть может, еще острее, и только я один был изгой среди этого праздника жизни, я что-то познал, что не надо было познавать, без чего жить было легче, свободнее, и, помимо воли моей, вопреки желанию души, жаждущей весны и молодости, угрюмый мой взгляд отмечал белые машины скорой помощи, печальные тупорылые автобусы с черной полосой, больницы,

морги, немощных старух и задыхающихся от весны стариков; в расклеенных на стенах газетах я видел только траурные рамки.

Страх смерти стал настойчиво пожирать меня, выпивая из каждого дня, из каждой бессонной ночи то бесценное, что мы зовем живой жизнью, и тридцать три свои года — возраст, который принято называть возрастом Иисуса Христа, возраст, в котором былинный герой Илья Муромец начал совершать свои подвиги, я встретил лежа в постели, в аду безысходной тоски, задыхаясь от сердцебиений и удуший, понимая, что жизнь кончается, что жизнь пропала, не в силах вырвать из себя этот страх и одновременно сознавая, что, не избавившись от него, жить полноценно я не смогу.

Мучительно припоминал я свои грехи, полагая, что происходящее со мной есть кара за неправильный образ жизни, за какой-то не такой образ мысли; не нашлось в жизни моей таких страшных грехов. Тогда я попытался объяснить свое состояние схождением планет, о котором в тот год так много твердили по телевидению и радио, особенной магнитной ситуацией, сложившейся в космосе, но планеты начали расходиться, а страх не пошел на убыль. Потерявшая бессмертие душа трепетала, металась, ища спасение, потянулась за бессмертием к философам, мудрецам и религиозным книгам, но суеверие — не вера, и поклонение предрассудкам — не молитва. Верящий видит перед собой лик Спасителя, а не крашенную масляными красками доску. Я же только разумом понимал необходимость веры. Но «Бог вне рассуждения». Я не мог поверить. Путь к вере так прост и так короток, но подчас не хватает всей жизни, чтобы преодолеть его.

Страх. Что значит он? Мне что-то угрожает? Забвение, гибель?.. Ч е г о я боюсь? Детство, юность... Какое множество разнообразных страхов: от боязни потерять маму до страха перед кабинетом зубного врача, к которому нас насильно водили всем классом, и классная руководительница с тупой бесстрастностью отмечала в тетрадке, все ли явились! Но ни один из этих страхов не наступал на жизнь, не посягал на бессмертие.

Я мучительно пытался понять, осмыслить это новое состояние. Я задавал себе вопросы. Я укорял себя, обвинял. Все люди умирают, но подавляющее большинство их не только не мучает себя страхом смерти, но даже не думает об этом. Люди заботятся о дне настоящем, о хлебе насущном, мечтают о будущем, но ведь они же при этом знают, что когда-то умрут. И тем не менее не боятся. И я сам знал все это и прежде. Жизнь не может существовать без смерти, как свет без тьмы. Придет и мой час, как придет час всех моих товарищей, и всех этих чудесных девчонок с тонкими талиями и красивыми ногами, и этих милых невинных детей, глядя на которых вообще невозможно представить, что и их ожидает старость и смерть, придет час всех моих современников, как уже пришел час всех моих предшественников, — в мире все разумно, я просто-напросто не явился бы в этот мир, если бы они не покинули его, так чего же бояться?! Как нелепо, как немудро отравлять то прекрасное, что дано тебе так ненадолго, страхом о том, что оно когда-то кончится!

Слова оставались словами, мудрость мудростью, а страх смерти страхом смерти.

Я уже увидел то, что будет впереди, и не мог более не видеть, я уже узнал об этом и не мог более не знать. Оставалось самое трудное: вновь обрести счастье и свободу уже при том, что я вижу и знаю.

Душа человека истекает из вечности и в вечность уходит, иначе не дано было бы ему в минуты откровения ощущать свою сопричастность вечному и бесконечному, свое единение с каждой живой душой, будь то человек, животное или растение, но мышление складывается под влиянием тех условий, в которых человек существует. Условия эти воспитывают его, прививают ему взгляды, и величайшее счастье его, если душа его сможет принять это воспитание, эти взгляды. Я принадлежал к поколению, выросшему в таких условиях и воспитанному так, что на определенном этапе жизни душа моя взбунтовалась против того, что меня окружало, между душой моей и окружающей меня действительностью возникла дисгармония.

Необъятное государство, которое именovalo себя самым великим, самым мудрым, справедливым, самым передовым за всю историю человечества, государство это, гражданином которого был и я, которое любил, которым гордился и которому беззаветно верил, с раннего детства учило меня, что Бога нет, души нет и что определенное количество людей, именующих себя коммунистической партией, всегда заботится обо мне, всегда оберегает меня от любой беды, от любой болезни, что бояться мне нечего, поскольку я член самого лучшего, самого передового общества, и что, наконец, я, маленький мальчик с красным пионерским галстуком на шее — все тем же символом грядущего всемирного счастья, — и есть самое главное во всей Вселенной, что выше и больше меня ничего нет. И вот я вырос и увидел, что все люди умирают и что я тоже умру, и все это всесильное, самое передовое в мире государство ничего не может противопоставить моему умиранию.

Повторяю, я не помню ни конкретного часа, ни дня, когда это понимание открылось мне, — подобное происходит с человеком, который долго-долго брел, счастливый и свободный, мечтая о чем-то, как ему казалось, высоком и прекрасном, и вдруг он поднял глаза и увидел, что он уже в ином крае, чужая местность окружает его, незнакомый ландшафт, и он совершенно одинок здесь. Он пугается, замирает. Он хочет закричать, позвать на помощь, но что-то подсказывает ему: здесь никто не откликнется на его крик.

Твердь пошатнулась под моими ногами. Это было уже иное мироздание с иными законами. Здесь свет был другим и другими у предметов тени. И время измерялось лишь расстоянием до крайней черты, к которой с угнетающей поспешностью бежала единственная стрелка ощущаемых, слышимых, но не видимых часов. Все стало обретать иное значение, иную ценность и иной смысл. В черную глубину запределья каждый из смертных вынужден заглянуть в одиночку, осмыслить и принять ее неизбежность один на один: смерть не делится даже на двоих.

А на стенах атели все те же призывные лозунги, радиоприемники и телевизоры пели великую славу новому обществу,

грядущей цели, славили героев, газеты чернели восклицательными знаками, но смерть была настолько значительнее всего того, что так громко и коллективно восхвалялось, была настолько грандиознее и величественнее, что я уже не мог больше верить в значительность всего того, во что верил прежде. Я увидел призрачность цели, к которой меня пытались вести, я почувствовал шаткость преподносимых мне идеалов и ничтожность средств, коими должны были быть достигнуты эти цели и эти идеалы. Те вожди, те герои, которым с детства меня учили подражать, стали вдруг уменьшаться, умаляться, — свет, ниспадавший на меня сверху, высветил для меня всю их крошечность и сиюминутность.

Я заболел. Но как еще не скоро понял я, что эта моя боль — лишь первый симптом исцеления от иной, более страшной болезни, которая называлась безверие, болезнь, которой болели вокруг меня тысячи тысяч людей и которая и была главной причиной разлучения наших душ и наших сердец.

Нет ни лучших, ни худших народов, нет избранных и проклятых, нет первых и последних, чистых и нечистых, — все человеки от Бога. И самое главное: каждый человек в этом ряду одинаково ценен, и я сам только в этом ряду могу быть ценен, а не вне ряда; даже если я в воображении своем возвеличу себя настолько, что буду думать, что мне дано быть вне ряда, позволено смотреть на этот ряд со стороны, как личности особенной, избранной смотреть со стороны, то это величайшее заблуждение, и как бы я ни пытался поставить себя вне ряда, я все равно останусь в общем ряду.

Быть в общем ряду, осознать свое назначение, призвание, свою необходимость в этом ряду — это и есть высшее счастье, которое дано испытать человеку, и никакого другого счастья не может быть, да, главное, и не надо, — вот что предстояло понять.

## НАБЕРЕЖНАЯ НЕВЫ

Даль... Она очаровала меня с детства. Я угадывал в ней нечто иное, чудесное, не похожее на все, что окружало меня, —

на стены комнаты, в которой мы жили, на игрушки, которых касались мои руки, на дрожание горящего газа в комфорках кухонных газовых плит, на блеск дверной ручки, на запахи коридоров и лифтов, лестничных клеток и подворотен. Даль была моим сном. От нее веяло мужеством, борьбой и одновременно нежностью, — светлыми влажными красками рассвета, утренними туманами и высотой неба, той сине-лиловой вогнутой высотой, которая, если смотреть в ее глубину, останавливает время. Быть может, именно эта нежность — даль, далеко, далекий, дальний — не позволила совершенно угаснуть в душе моей вере в бессмертие, заслонила меня от непроницаемой пустоты смерти, от обрыва, от конца пути.

Я дитя города. Не поля, не просторы степей, не холмы и горы окружали меня в детстве; корову я знал по картинке в книжке, оттуда же «гусей крикливых караван тянулся к югу»; не живая природа с ее спасительным всеединым началом, а каменные вертикали дворов-колодцев, улицы, гремящие трамваями и дышащие в жаркий летний полдень копотью автомобильных выхлопов, мертвый свет электрических фонарей, рельсы, асфальт, провода; мои джунгли были водосточные трубы, мои пещеры таились под чугунными крышками люков городской канализации. Здесь сверяли время не по восходу солнца, а по заводским гудкам, по обеденному перерыву в магазинах. Здесь не был виден горизонт. Почему же даль?

Река!

Она течет откуда-то и куда-то, из одного неведомого мне мира в другой. Ее широкая вода, расцвеченная всеми красками северного неба, непрекращаемо двигалась мимо меня, образуя водовороты перед гранитными опорами мостов. Над ней летали чайки. Они садились на воду, на тонкие шеи фонарей, на гранит. Я любил их. Они знали даль. Я любил эту глубокую полноводную реку, ее название, берега и мосты. В ее текучей, светлеющей облаками глубине дрожало отражение крепости, струилось разорванное золото шпилья. И я любил себя рядом с нею. Я знал: рядом с нею я сильнее, больше, лучше, и, конечно же, рядом с нею я бессмертен. Это было так же несомненно, как то, что этот город и река всегда будут.

В трехлетнем возрасте на даче в Тарховке соседский мальчик придавил мне тяжелой чуланной дверью пальцы на руке, и все ногти сходили. Тетка впоследствии рассказывала мне об этом. Какая должно быть огненная была боль, как ужасно, как дико я кричал! Но нет. Не помню. Не сохранилось в памяти. Даже если силиться вспомнить, даже если попытаться представить себе... Нет этой боли. Навсегда растворилась в пространстве. Но первое ощущение дали, внезапное и свободное устремление души за горизонт я помню.

Был май, может, пятый, может, шестой, май после праздников, парадов и демонстраций; уже сняты были красные лозунги и портреты вождей, отгремели салюты и ушли в неведомое серые стальные эсминцы, стоявшие в промежутках между мостами и по вечерам украшенные иллюминацией; был май после ладожского ледохода, предлетний, цветущий, яркий.

И каким просторным, выпуклым был город! Сколько света было растворено в воздухе! Даже ломало глаза, и приходилось щурить их и отворачиваться.

Я стоял на набережной Невы. Наверное, рядом со мной была мама — никто не отпустил бы меня одного так далеко от дома, — наверное, она с другими домохозяйками стояла в очереди за корюшкой, которую тут же у берега продавали в маленьком плавучем магазине, расположенном на барже. Главное — другое: я помню, я был один. Один на один с рекой. Я смотрел на ее далекий изгиб, где не было домов и где, как мне казалось, заканчивался город. С Финляндского вокзала долетали гудки паровозов, темнело напротив красное здание тюрьмы, грозно называемое — Кресты. Я уже знал: тюрьма — насильственное ограничение свободы. Но я еще плохо понимал, что такое свобода. И только маленькое сердце мое предчувствовало: нет больше боли, чем потерять ее. «Отхо-о-дим!» — заорал лохматый пират-мужицище. Горячо дохнуло паром, углем. Остроносый буксир сипло засвистел, вода качнулась... И я увидел, что это не просто река, но путь к освобождению. От чего было мне освобождаться? Кто и куда позвал меня? Но я понял: это мой путь. Свобода больше, чем наш дом, улица, город, свобода больше, чем все, что имеет границы.

## В ДЕРЕВНЮ

- Куда едешь, бабушка?
- Во Льгов.
- Это за Курском?
- За Курском будет.
- А сама откуда?
- Ленинградская.

Она сидит напротив меня, тихая, покорная старуха с крохотным острым подбородком, поблекшими радужными оболочками глубоких бесцветных глаз, с жидкими седыми волосами. Непокойные пальцы ее то отпускают, то снова закручивают уголок грубого шерстяного платка. Трудно представить, что была она когда-то молодой, полной сил женщиной, кого-то любящей и кем-то любимой девушкой, наконец, маленькой светлой девочкой с золотистой косой через смуглую спину. Да было ли это, она теперь и сама не помнит.

Она называет меня «сынок», я ее — «бабушка». Это дает нам право разговаривать на «ты». Ей было трудно приподнять нижнюю полку, чтобы положить вещи; я помог — с этого завязался разговор.

- А во Льгове к родственникам?
- К сестры еду. В деревню.
- Отдыхать?

Некоторое время она не отвечает, беззвучно пожевывая стянутые черствые губки.

— Помирать, сынок, еду. Мой теперь отдых только на том свете.

— Что ты, бабушка! Зачем же помирать! — произношу я первые пришедшие на ум слова и тут же понимаю, как убоги они и бессмысленны. — Тебе сколько?

- Много... Семьдесят восемь.
- А в Ленинграде ты давно живешь?
- С довойны.

Мы молчим.

— Вообще, конечно, правильно, — говорю я, чтобы продолжить разговор и как-то подтвердить ей, что это действительно



но хорошо, то, что она едет в деревню. — В деревне воздух чистый, нет городской суеты, тишина.

Она соглашается.

— Не знаю еще, как примет, — вдруг говорит она. — Письмо только вчера отправила.

— Вчера! Ты же быстрее письма приедешь.

— Быстрее... Не было, сынок, больше мочи. Изжили меня.

— Как изжили? Кто?

— Светка с мужем. Переменились люди... Она маленькая — хорошая была. Я ее с рождения знаю. Бывало, Наташа уйдет, я с ней останусь. Любила... Отзывчивая... А теперь переменялась. Замуж вышла — переменялась.

Опять мы молчим.

— Так как же случилось, что тебя изжили? — спрашиваю я.

— Сперва помалу начали: сварю суп какой, али кашки, покусать. А она в кастрюлю соли. И кушать нельзя.

— И чем же ты питалась?

— В больницы. В больницы работала. Уборщицей. Знаешь, верно, Двадцать пятого октября больница. Большая. Господи, сынок, как люди помирают страшно, сколько мучений, слез! Все, все хотят жить! Гляну, бывало, сердце кровью залется! И молодые еще. Думаешь, что твои, старая ты колода, беды, когда тут вот как происходит.

— Так тебя в больнице кормили?

— В больницы.

— Ну а дальше?

— Потом хуже да хуже. Комната им нужна. У всей квартире две комнаты: моя да ихняя. Конечно, комната им необходима. Ребенка заведут. Да ведь и я чем виновата? Говорю: дай, Светка, дожить, одно комната тебе останется. А мне еще год, больше не протяну. Нет, говорит, может, ты еще пять лет жить станешь. Тогда муж Светкин... Валерка. Плохой человек! Он говорит: я тебя, бабка, ненавижу! Спрашиваю: чем же мешаю тебе? А тем, говорит, мешаешь, что жить не даешь на полную душу. Нам жилплощадь нужна, а тебе про Парголовское пора думать. Там тебе под елочкой уж место приготовлено. И говорит: ты под пьяную руку не лезь, стукну, а меня потом засу-

дят. И стал тогда вредительствовать: в уборной прикрывать. Проследит, как пойду, да задвижку чирк! — сиди там. Целую ночь один раз просидела. А сам, прости господи, в раковину на кухне мочился. Я Светке говорю: что же вы делаете, что у вас стыда никакого нету! А она дразница, трещит нарочно, что пулемет. Разве проймешь? Потом телевизор был, от дочки остался, — антенну в коридоре срезали. И все им измывательства мало: пробки вывинтили. А мне новую вкрутить — не достать! Хорошо, свечка имелась...

— Подожди! Ты хоть ходила куда-нибудь, рассказывала, жаловалась?

— Ходила, сынок. В исполком ходила. Там же очередь какая! Разве времечка на всех хватит выслушать? Говорит товарищ: свидетели есть? А какие свидетели, когда мы только у всей квартире троя? А тут напоследок пришли: коли ты живучая, мы тебя душить будем. Как, говорю, душить? На то закон есть. Засудят вас. Нет, говорит Валерка, теперь не засудят. Мы тебе синяков не приставим, у нас другой способ. На оттоманку пихнули, Светка привалилась, а он подушкой душить стал. Да все не до конца. Придушат маленько... отойду. Водички дадут. И снова. Может, говорят, сердце у тебя лопнет, а раз старая — никаких подозрений. Говорю им тогда: отойдите вы от меня! Изверги вы! Не люди! Все вы забирайте, а только меня оставьте!

Ее прозрачные глаза наливаются густым светом; две крупные слезы, дымясь, вспыхивают в глубине уголков.

— Господи, сынок, родной, как душили меня болезненно! Как тяжело!

— У тебя есть кто-нибудь? Дети? Знакомые?

— Не дожили. Коленька и Григорий в войне погибли, а Тася померла. Только теперь сестра в деревне.

Дрожащими пальцами она вытирает на щеках блестящие полосы, переводит взгляд на окно и, пошмыгивая носом, долго неподвижно смотрит.

Мимо стекла, внизу кривого и грязного, кинескопными помехами ломаются телеграфные столбы, нити телеграфных проволок то плавно опускаются книзу, то устремляются вверх, и

за ними далью неоглядно сверкает заснеженный русский пейзаж. Синие тени лежат на склонах холмов, на снеговых отвалах, разрозненные дома приласкиваются к земле теплыми животами, беззвучный трактор катит по блещущей заледенелой колее прицепа с ярким желтым сеном.

И я вдруг понимаю: она помнит, все помнит, и как любила, и как ее любили, и черные ночи, и детские плачи, и войну, и весну, и прохладные мягкие травы под босыми ногами...

### ИВИНСКИЙ РАЗЛИВ

В Подпорожье пришли после обеда. Подходили малым ходом, запрашивали по радиации шлюз; ближний правый берег тек мимо борта медленно, угрюмо, и, глядя на то, как головокруглительно перемещаются друг относительно друга вершины деревьев, казалось, что движется он не прямолинейно, а все время разворачивается. Мужики и пацаны с удилищами, зажатые между ног, закатав брюки, нахлобучив кепочки, стояли в воде по колено и, на равных дымя сигаретками, смотрели на нас равнодушно, с независимым деревенским прищуром.

— Однако, свадьба! — промолвил старпом, оглядывая рейд и глазами считая теплоходы.

С густым тяжелым всплеском ушел в воду якорь — встали в очередь на шлюзование.

— До обеда с голодом борешься, после обеда со сном, — улыбнулся старпом, откинулся в вертящемся кресле на спинку и вдруг спросил: — А как писателям платят: оклад или по-другому?

У него была очень хорошая улыбка.

— За объем, — ответил я. — Если напечатают.

— А могут не напечатать?

Я не ответил.

— Так кислое у вас житье! — сказал он и поглядел на меня недоверчиво. — А, говорят, у Шолохова самолет был?

И я почувствовал, что ему очень хочется, чтобы у Шолохова действительно был самолет.

За стеклами рубки неприятно ярко серел воздух, блестела вода; небольшая самоходная баржа, чадя рваными прозрачными

ми облаками копоти, с легким шелестом прошла вдоль левого нашего борта, показала плоскую корму, на которой сушилось на веревке разноцветное белье, затрещала якорной цепью и, разворачиваясь, остановилась невдалеке от нас.

И вдруг пал туман. Буквально в считанные минуты им заволокло всю реку. Сначала со стороны плотины подул холодный сырой ветер — даже в рубке от него сделалось неуютно, потом поползли над водой густые молочные космы, поедая один за другим стоящие на рейде теплоходы, исчезли берега, речной вокзал, и вскоре с капитанского мостика не был виден нос нашего судна.

— Ну, спасибо! — сказал старпом. — Тут не четыре часа, тут до ночи простоим.

Он устало потянулся:

— Займусь журналом!

Я не стал ему надоедать, спустился по трапу, вышел на палубу и, окруженный белой непробиваемой стеной, ходил от борта к борту, курил, слышал, как по берегу медленно ползал маневровый тепловоз, покрикивал, звякал буферами, потом вдруг смолк, словно затаился.

Странная, фантастическая картина представилась: нет больше тверди, весь мир — океан, и весь он окутан густым туманом, поглощающим и солнечные лучи, и звуки, и только один наш корабль притаился в бесконечном его просторе, в промозглой мгле, и ждет чего-то...

Нелепо.

Каждую минуту в нашем воображении рождаются десятки образов, и мы не властны в их появлении. Но, кто знает, быть может, именно чередой этих спонтанных видений и есть наше «я», наш внутренний мир, та почва, из которой вырастает осознанная мысль?

А туман все густел. Казалось, его можно потрогать, взять небольшой кусок в руку.

«Действительно, до ночи простоим...» — подумал я.

Но не хотелось.

Подпорожье — единственное место на Свири, которое не люблю.

Как сильно бывает самое первое впечатление! Случается, что никогда уже не сможешь стереть его.

Впервые я побывал здесь лет пять назад, плавая на агиттеплоходе. Был ранний вечер, когда мы ошвартовались у речного вокзала. Причал был высок — из-за работы шлюза уровень воды в реке менялся, и вахтенному матросу приходилось постоянно следить за натяжением швартовых канатов. Я прыгнул на деревянные ступени, поднялся на огороженную перилами площадку, с которой мальчишки в нейлоновых плавочках и сатиновых трусах ныряли солдатиками в воду. Река текла, синела, чернела, золотилась, блестели надстройки стоящих на рейде судов, а вправо и влево от вокзала тянулся голый каменистый берег, торчали из воды металлические трубы, к которым были привязаны цепями моторные лодки.

Всего за час до нашего прихода возле этих камней утонула пятилетняя девочка. Об этом рассказала женщина, работница почты. У нее было белое взволнованное лицо с быстрыми возбужденными глазами, и пальцы, в которых она зажимала папиросу, заметно дрожали.

Она говорила:

— А Лидка с работы идет, веселая такая, коробку над головой подняла — туфли купила, и не знает, что мимо нее машина проехала, мертвую дочку ее повезла.

И погрузилось Подпорожье в эту короткую фразу.

Тонут здесь много. И что страшно: молодежь. Пьяные, по пять-семь человек садятся в моторную лодку и гоняют по реке вдоль и поперек, выписывая вензеля. И немало уже эта тяжелая северная вода приняла в себя юных сильных жизней. Помню, в Новой Ладоге, бродя по небольшому кладбищу, расположенному вокруг церкви на самом берегу Волхова, я был поражен тем, как много молодых лежат здесь под однообразными бетонными раковинами и крестами, и казалось бы, всё кругом здоровье: север, река, озеро, сияющее в белой ночи. А не бьются больше сердца их, рассчитанные, быть может, на сто пятьдесят лет.

Вдруг ожил на берегу тепловоз. Невидимый и потому грозный, он угрюмо заворочался там, кого-то побеждая, свирепо

шипел воздухом, скрипел железными ручищами, потом ликующе крикнул и поволок свою жертву, медленно удаляясь.

Порядком продрогнув, я ушел в каюту.

Познабливало...

С минуту простояв без мыслей и желаний, прислушиваясь к тому, как глубоко подо мной, позади меня, в железном зале машинного отделения работает дизель-генератор, я достал с полки зеленую общую тетрадь, ту, в которой записывал свои рассуждения о смысле жизни, и начал читать вчерашнюю запись.

«Меня всегда восхищает то обстоятельство, что ни один человек не может рассказать ни о своем рождении, ни о своей смерти. Концы жизни как бы уходят в темную непроглядную воду. Разум человеческий жаждет заглянуть в нее, пронизать ее своим светом, увидеть то, что таится в недоступных ее глубинах, но тщетно. Единственное, что он смог — это наречь эту темную таинственную воду тем светом или иным миром. Более всего ему хочется наладить связь, диалог между этим и иным миром. Но связи нет. Очевидно, это самая величайшая мудрость Создателя. Иначе чего стоила бы вера в Него? Как будто Создатель сказал человеку: «Верь! Больше ничего не требуется». «Но как же поверить? — спросил человек. — Я хочу доказательство». И вот тысячелетиями прислушивается, внимает каждому звуку, доходящему к нему из глубин мироздания, но того голоса, который так он ждет, того голоса нет. И нет ответа.

И лишь когда человек обращается к собственной душе, он вдруг с удивлением постигает, что душа его, в отличие от тела, вмещает в себя бесконечное, то есть то, что не может постичь разум.

Да, безусловно разум — разрушитель веры. Бессмертие, и значит, спасение от страха смерти, — за гранью разума.

Но как же хочется заглянуть за жизненный горизонт! Единственный взгляд, пролетный, мгновенный! И я буду жить спокойно.

А может быть, смерть действительно лишь горизонт, то, что мы ежедневно видим, чему дали название, что тысяче-

кратно описали в своих произведениях, ввели в обиход как обычное понятие, но что, тем не менее, как и горизонт, никогда не достижимо?

Но отчего же страх? Только ли потому, что все живое способно испытывать ужас при мысли о том, что оно может быть уничтожено, то есть перестанет быть живым?

«Бога не видел никто, никогда».

Поразительная строчка из Библии.

Никто никогда не видел, а миллиарды верили и верят!

Из какого же источника черпает силу эта вера?

И что если сила эта закладывается в человека в момент его рождения и развивается в нем, растет вместе с ним, оберегает его, а затем, многократно усиленная, вновь возвращается к своему источнику?

И повредить душе своей значит повредить этой силе.

Ведь сказано:

«Какая польза человеку от того, что приобретет он весь мир, а душе своей повредит!».

Нет, не мог я читать.

Бывают такие пустые беспомощные дни, когда все раздражает, все не нравится, и люди, и окрест, и прежде всего не нравится и раздражает собственная своя личность. Я отложил тетрадь. Вдруг подумал: «Зачем я здесь? От себя не избавишься и из себя не выпрыгнешь».

Безделье всегда угнетает, но идти было некуда и поговорить не с кем: все спали. День и ночь люди занимались делом, вели корабль и теперь пользовались передышкой. Мне отдыхать было не от чего. К тому же я здесь человек новый; чувствуется, стесняются меня. Им сказали: писатель. И я понимаю их растерянность. Писатель — это Лев Толстой. Можно представить Шолохова, Константина Симонова. Но что это за писатель, которого никто не знает!

Внезапно пришла мысль о том, что вопрос о смысле жизни — праздный вопрос.

«Да-да, именно праздный, — продолжал я. — От безделья, от неприкаянности и задаешь его. И смерти боишься потому, что слишком много времени имеешь, чтобы думать о ней. —

И как будто рядом увидел я капитана, старпома, молодых матросов. — Как они здоровы! Как сильны их руки! И не мучает их ни сердцебиение, ни удушье, ни тоска. И сон их крепок и пробуждение радостно. Они живут, а не препарируют жизнь. Они трудятся. А что с собою сделал ты? Твои нервы разрушены, мысли тревожны, ты устал, ты потерял ощущение счастья бытия. Во имя чего? Во имя чего ты пытаешься заглянуть за горизонт? Во имя чего ты пытаешься выйти из общего ряда? Чтобы все сказали, что ты самый мудрый? Что ты способен раскрыть тайну тайн? Неужели ты так тщеславен, что готов отдать за подобный бред настоящую живую жизнь?».

Ужасно захотелось разорвать эту тетрадь, выбросить ее за борт в холодную северную воду.

Не смог.

Аккуратно положил обратно на полку.

За окном каюты был виден ближний к надстройке трюм — его плоская, уходящая в туман крышка, разделенная черной чертой разъема, влажно блестела, а справа так же влажно блестел трос натянутого леера и на нем сверкали сконденсировавшиеся капли воды. Пространство не имело перспективы, мир был замкнут.

Вспомнился вдруг морозный зимний день, дымчатый, безветренный, день изумительной красоты, когда объемы зданий не тяготят, высоко, тонко звенит медный воздух, и звуки в нем как бы останавливаются и повисают.

Мы вдвоем шли по Адмиралтейскому бульвару. Жена держала меня под руку, снежный наст хрустел под ее каблуками. Она поворачивала ко мне лицо, говорила: «Ты даже не представляешь, сколько в тебе неизрасходованной силы! Это период, кризис. Ты заблудился в трех соснах. Только в трех. А тебе кажется, что вокруг непроходимый лес». А я смотрел на ее потрескавшиеся на морозе губы, на белый влажный пар, космами клубящийся возле них, и думал, что вот она — моя жена и что это уже совершилось в моей жизни.

С тех пор прошло два года. И вот я здесь, на теплоходе, в вечерней каюте и все в тех же трех соснах. Я не пишу и я заболел. Непрерывное писательство — условие моего здоровья.

Писать — для меня то же самое, что дышать, иметь нормальную температуру. И вот я задохнулся. Больше двух лет я не пишу. Слово не слушается меня, слово не подвластно мне, я не могу выразить им даже ту тоску, которой полна моя душа. Как это мучительно — не мочь выразить себя!

Я уснул незаметно тем призрачным чутким сном, который скорее можно назвать полудремой, когда одновременно видишь сны и слышишь и осмысляешь все то, что происходит вокруг тебя наяву. И я слышал, как запустили главные дизеля, как задрожал стальной корпус теплохода, как легонько качнуло, — значит, тумана нет и мы пошли; потом в каюту ворвался и тут же исчез магниевый свет прожектора, я слышал, как мы терлись бортом о бетонный мешок шлюза, поднимались вверх, звенела вода, кто-то отчаянно матерился, потом опять легонько толкнулись о стенку, — квадраты света прокатились по потолку моей каюты...

И вдруг ночь исчезла, исчезли река и корабль. Я увидел себя глубоким стариком. Я так и не сделал того, что должен был сделать, так и не сумел написать то, что хотел написать, я так и не выразил свою душу, и вся моя огромная жизнь со всеми ее чувствами, ощущениями, образами, ликами, событиями теперь должна была уйти вместе со мной, ей суждено было погибнуть, и исправить ничего было нельзя.

И тут же в страхе я проснулся.

Сиротливо, нежно звенела в стакане ложечка, шуршала за бортом вода, корабль слегка дрожал, сопротивляясь течению реки. Теперь я ощутил его совсем иначе, я почувствовал, что он существует помимо меня, вне меня и, главное, без меня. Он делал свое дело, он шел своим курсом, он нес в своей утробе пять тысяч тонн щебня, и его путь не зависел от моей тоски.

Вдруг стало понятно: жизнь п р о х о д и т...

Я вчера так долго думал о смысле жизни. Зачем я думал о нем, зачем не жил так, как жили другие, и ушел день, безвозвратно, день тоски, и теперь пришла ночь, ночь отчаянья и страха. Разве так должно жить человеку?

И опять понеслась куда-то, все убыстряя бег, стена комнаты, заиндевшее окно, клавиши пишущей машинки и скомкан-

ный лист бумаги с бездарным началом нового рассказа...

Жизнь проходит. Она проходила тридцать лет назад, двадцать, десять, вчера, сегодня, она утекала от меня час за часом, год за годом, и завтра будет утекать, и еще через десять лет, и когда-то утечет совсем. Меня не станет. Погаснет со мной эта река, этот корабль и эта секунда печали моей. Но зачем так болезненно хочу я сохранить все это? Для кого? Для чего? Нет человека, жизнь которого не была бы достойна самого тщательного описания. Но они уходят. Вот и та девочка из Подпорожья. И она ушла.

Я смотрел в темноту.

Нет, невыносимо! Невыносимо было лежать!

Я оделся, накинул ветровку и, взяв сигареты, вышел в коридор. Освещенный тусклыми лампами под матовыми колпаками, он блестел отделочным пластиком и был не просто безлюден, но пуст. Железная дверь в его конце, ведущая на корму, была распахнута настежь, и из открытого проема несло чернотой, холодом, живым плеском бегущей воды. Я пошел мимо закрытых кают, мимо темной пустой столовой, мимо камбуза, где дребезжала кухонная утварь, и внезапно мне стало так одиноко, так бесприютно, и показалось, что там, за той распахнутой железной дверью все наконец кончится.

Я шагнул на палубу...

И вдруг точно вырос!

Холодная ночь двумя черными переливающимися чашами раскрылась одновременно и над и подо мною. Небо было чистым и до ломоты в глазах блестело фигурами созвездий, между которыми в недоступной глубине было разлито, распылено миллиардами искр тусклое сияние. Гладь воды терялась во тьме; по ее поверхности то тут, то там, словно доисторические чудовища, плыли торфяные острова, торчали белые скелеты мертвых деревьев. Шипящий след широкой дугой убежал из-под кормы, и по краям его, обозначая фарватер, острыми точечными огнями горели буи.

Я обернулся: из овальных узких труб, стреляющих выхлопами дизелей, плыл светлый дым, тень корабля двигалась на звезды: и небо косо поворачивалось...

Ноги мои ослабли. Я вдруг почувствовал, что каждая моя частица, каждый нерв каким-то образом, какими-то незрими-ми нитями соединены с этим ночным кружением...

И тут же я понял — нет времени. Я двигался только в пространстве.

Это безбрежная ширь — Ивинский разлив. Но какая разница, как она названа человеком? Не было Ивинского разлива, была необозримая гладь воды, не было Свири, была река, и у меня тоже не было ни имени, ни возраста.

Не знаю, долго ли стоял я, глядя в ночь.

Внезапно темнота озарилась яркой магниевой вспышкой.

Я перевел взгляд.

На левом борту вспыхивала импульсная отмашка. Кто-то двигался нам навстречу, и на капитанском мостике договаривались о том, что мы разойдемся левыми бортами.

И сразу бесконечность, безмерность и безымянность исчезли, река наполнилась движением, людьми, их заботами. Но светлое ощущение ночи от этого не погасло; напротив — неожиданное расхождение со встречным судном придало ей особенное очарование — нечто из детства, из «Тома Сойера и Гекльберри Финна».

Как-то по-мальчишески радостно захотелось закурить, почувствовать себя взрослым, самостоятельным, мужественным в ночной темноте на палубе грузового парохода.

Человек так редко пользуется способностью преодолевать время! А ведь она дана ему — он волен, но не верит в свою волю, боится поверить...

По левому борту слышался легкий шипящий шелест, и вдруг, разрезая дегтярную гладь острым носом, откатывая ску-ую длинную шелковистую волну, из-за нашей надстройки появился совсем рядом, вынырнул, точно белый летящий дом, большой пассажирский теплоход в притушенных огнях на пустых палубах. Надвинулась его высокая белая громада и над нею чернота стекол капитанского мостика. «Алтай» — прочел я крупные золотые буквы. Замелькали мимо темные, блестящие серебром окна — ни одного горящего, — мимо меня пролетела корма с высоким пустым флагштоком, и на корме, облокотясь

на перила, в тусклом свете фонаря стояли мужчина и женщина. Женщина была стройна, в белом платье, в накинутом поверх пиджаке; мужчина обнимал ее за плечо, курил, смотрел вдаль. И неотвратно быстро стали удаляться они в темноту.

Муж и жена, влюбленные, давно знают друг друга, впервые увиделись вчера утром, — притихшие от своего счастья, безымянные, они растворились в ночи, и скрылась под ее покровом их любовь, однодневная ли, до гроба, — что знает человек о своем будущем?

А потом не стал виден и теплоход; лишь далеко переливчато мерцали над водой огни, и только мое воображение все приближало их, все не давало нити разорваться...

Исчезли.

Внезапно появились берега. Мы входили в узкое русло Свири.

Небо стало бледнеть.

Сигарета погасла.

Близился рассвет.

### ИЗ ЗЕЛЕННОЙ ТЕТРАДИ

Если бы каждый из нас мог подняться над самим собою хотя бы на один метр и хотя бы с высоты одного этого метра увидеть себя, услышать все то, что он говорит, как он ведет себя в одиночестве и как с другими людьми, — каким было бы это благом! Как много можно увидеть, если подняться над собою всего на один метр! А если выше! Какими смешными покажутся тогда правительственные награды, звания, условности общественного устройства!

Я знал одного артиста: он был уже далеко не молод, шло ему к шестидесяти, и был он серьезно нездоров, но как он мечтал получить звание Заслуженного Артиста, звание, которое всего-то несколько десятилетий назад было придумано тщеславными невеждами и которое еще через несколько десятилетий вообще исчезнет, а вот ему казалось, что если в театральной программке перед его фамилией будут напечатаны эти слова — «Заслуженный Артист», то, стало быть, он достиг.

Все хотят достичь, записать свою особу в определенный задуманный разряд, положить ее в особенный драгоценный ящичек на особенную престижную полочку, и бирочку прикрепить особенную, чтобы, глядя на нее, можно было сразу подумать: «Вот каков!».

Это даже нельзя назвать глупостью или нелепостью, это просто-напросто слепота.

И вдруг я понял: а я-то чем лучше этого артиста?

### ПРОВИНЦИАЛКА

Ей было лет двадцать пять. Ехала она от Симферополя до Мценска, везла с собой две сумки: маленькую, из черного блестящего кожзаменителя, набитую всевозможной косметикой, и огромную, полную крымских яблок, которыми она ежечасно угощала соседей по купе. Надушенная польскими духами «Быть может?», гладкая, загорелая, в кружевном дорожном халате и тапочках, расшитых бисером, она рассказывала мне, похрустывая у солнечного окна ослепительным яблоком, что работает в Мценске библиотекарем, а живет с родителями. У них — дом, сарай, голубой «Запорожец» последнего выпуска, есть поросенок Джимми, куры и индюшки. На вопрос «Имеется ли корова?» она обиделась, сказав, что у меня неправильное представление о Мценске: это город, а не деревня. Про библиотеку выразилась коротко: «Скука!», но она в курсе литературных и театральных новинок, так как часто ездит к приятельнице в Москву. Я спросил о Лескове. Она начала рассказывать, быстро, однотонно, точно вела надоевшую экскурсию, но вдруг снова перекинулась на Москву, на театры, которые она обожает, на балет и «Таганку», наконец, криво улыбнувшись, как бы иронизируя над собственной судьбой, добавила, что больше всего хочет жить в Москве или Ленинграде, но единственный способ переехать — выйти замуж за москвича или ленинградца... В Мценске она сошла, унеся свою досаду и оставив пустую полку, бережно написанный домашний адрес с подробными указаниями, как пройти, и запах духов «Быть может?». Запомнились ее грустные вишневые глаза, хищные

зубы и согнутые вокруг яблока пальцы с крохотными серебряными звездочками на перламутровых ногтях.

### БЕССОННИЦА

Среди ночи стоял у окна в полутемном пустом коридоре купейного вагона, смотрел в непрерывную стеклянную черноту, в хаос своих мыслей, в разорванную связь времени, — ту бескрылую безвоздушную пустоту, где ни страха, ни надежды, а одна лишь усталость, и вдруг, как из-за стены, вылетел, вырвался, крича, размахивая пылающими рукавами горящий крестьянский дом с блещущей мелкими стеклами террасой, с объятый пламенем крышей, красно озаряя вокруг себя талый снег, вынесенную мебель, детскую коляску и застывших людей с темно-огненными лицами... И так же мгновенно исчез, закрылся чернотой, утонул в металлическом гуле движения.

Нет, бессмыслица нашей жизни заключается вовсе не в смерти. В смерти есть четкий, логический, даже математический смысл. Бессмыслица заключается в том, что мы не знаем цели, к которой идем, идем всем человечеством на протяжении миллионов лет, не прекращая двигаться, развиваемся, накапливаем опыт, культуру и не знаем, за чем мы это делаем, мы не знаем конечной цели нашего общего пути. Но если все мы идем к Богу, то откуда мы пришли, и если от Него, то для чего этот круговорот? И при чем здесь нравственность и боль каждого из нас?

### ИЗ ЗЕЛеноЙ ТЕТРАДИ

Самое значительное, самое бесценное, что остается после человека — его судьба.

### В ХАРЬКОВЕ

На платформе возле открытой двери вагона скорого поезда «Севастополь — Москва» стоит пожилой мужчина, по виду деревенский житель, и упрашивает проводницу взять его до

Белгорода. Поминутно он снимает с головы фетровую шляпу, приглаживает ладонью седые волосы и нетерпеливо топчет мелкую лужу закрученными в голенищах резиновыми сапогами. Рядом с ним, чуть в стороне от лужи, лежат два крупных свертка, туго перевязанные бельевой веревкой. Из прорвавшейся бумаги выглядывает чугунная ножка от станка швейной машины.

Недавно прошел теплый мелкий дождь, воздух влажен и мглист.

— Дочка! — спрашивает мужчина. — Хошь, обыщи! Рубиль остался.

— Во-во! — позевывая, отвечает проводница, высокая девица с выщипанными бровями и тоненькими губами, ярко окрашенными фиолетовой помадой. — Сейчас обыщу.

Мужчина все же расстегивает длиннополый плащ, залезает темной от загара кистью руки в самую глубину внутреннего кармана и показывает рубль.

— Не возьму! — ласково, почти шепотом отвечает проводница и улыбается.

— Может, ты думаешь, что я скрывши? — спрашивает мужчина.

— Билетик! — не обращая на него внимания, требует проводница у молодой очень толстой женщины, одну руку которой оттягивает разбухший баул, а на другой, истерично хохоча, виснет крепенький мальчуган в ковбойском костюме и с огромным пистолетом на поясе.

Толстуха тяжело переводит дыхание:

— Да, господи, сынуля, не тяни ты меня! Я рук не чувствую!

Она протягивает проводнице билеты и, ища у нее сочувствия, добавляет:

— Во будильники делают! Прилегли на полчаса! И звенеть не подумал. Чуть не проспали!

— Бывает, — произносит мужчина участливо. — Чего ж не бывает. Всякое бывает.

Толстуха и мальчуган исчезают в вагоне.

— Я говорю, может, ты думаешь, что я скрывши? Что у меня есть, а я чтобы задаром проехать, — возвращается он к

прерванному разговору. — Я человек честный. У меня кроме благодарностей никаких взысканий.

— Не возьму! — шепчет проводница, и вдруг мускулы ее лица напрягаются и становятся жесткими. — Пропил вчера?

От неожиданности мужчина отступает на шаг.

— Знаю я вас, пьяниц! Хорошие люди болезнями болеют, умирают, а этим — как с гуся вода! Вчера думать надо было, а не брюхо водкой наливать!

— Так грех было не выпить, — произносит мужчина. — Машину везу. Жена говорит: новую надо. Внуков обшивать. У меня, знаешь, четверо...

— Не возьму! — ласково шепчет проводница так, словно бы и не кричала только что.

И в этот момент мужчина понимает, что дело проиграно. Он надевает на голову шляпу, тут же снимает ее и опять надевает.

— А машины лучше нет, чем «Зингер», — говорит он, беспокойно поглядывая на вагон. — Приехал позавчера, нигде «Зингера» нет. Все комиссионные обошел, а тут человек сам подходит: «Машину надо?» — Я спрашиваю: «Какая?» — «Зингер». — Я спрашиваю: «Со станком?» — «Со станком. У меня сестра шила, портниха, умерла летом. Я и нитки отдам, мне ничего не нужно, но сорок рублей и выпивка вместе».

— Отправляемся! — командует проводница.

Курившие возле вагона солдаты бросают недокурные сигареты в промежуток между вагоном и платформой и заходят в тамбур.

— Прими! — умоляет мужчина. — Мне ж на работу с утра.

— Не возьму! — улыбаясь, шепчет проводница. — Не возьму, милый! Не возьму, касатик! Никогда!

Поезд трогается.

Мужчина хватая свои свертки, с отчаянием смотрит на движущийся состав. Его сутулая фигура у края платформы удаляется...

— Всех бы вас передумала, зар-р-разы чертовы! — цедит проводница сквозь зубы и пушечным ударом захлопывает вагонную дверь.



**ПИСЬМО**

Я нашел это письмо в одном крупном провинциальном городе в знойный августовский полдень возле здания родильного дома. Оно лежало в куче мусора у огромной переполненной урны, выкрашенной в бордовую краску. Толстые листы из детской рисовальной тетради были скомканы в довольно большой шар. Мимо катили, грохоча прицепами, тяжелые грузовики, воздух горчил копотью, и шар привлек мое внимание тем, что исписан был мелкими фиолетовыми строчками.

Здравствуй, Толик!

Ну вот и отмучилась я. Честно признаюсь, не ожидала, что так трудно будет и столько придется пережить, потому что мне Нина говорила, что не так уж страшно, и я приготовилась к тому, что не страшно. Может, ей легче было, потому что она фигуристая, не знаю. Скажу тебе, что если б хоть одному мужчине пришлось родить, то все бы вы нас уважали в сто раз больше.

Родильный дом здесь аховый. Тараканы ползают прямо в родильном зале. А в зале все время кто-нибудь рождает. И кричат ужасно, а когда сама ждешь, то это нервирует, сам понимаешь. Одна женщина прямо при всех умерла. И долго лежала, пока ее унесли, потому что рядом другая рожала, и некогда было. Нянечки и сестры злые, как собаки, ничего тебе не сделают, не подадут, пока рупь не дашь. А где их столько взять, рублей этих?

А родила я внезапно. Меня как положили с самого начала на кожаной коечке в коридоре, так я там все и мучилась, и мучилась, и уж думала умру, как та женщина. Няньки на меня совсем внимания перестали обращать, ушли пить чай в сестринскую — такая у них комнатка есть. Так что, когда я рожать стала, никого рядом не было, и я сама там с краю на коечке и родила.

Толик, что же ты мне никакую передачу не передал? Всем передают печенье, шоколад. Шоколад даже врачи советуют, потому что, чтобы родить, много сип надо. Но ты ничего не передал, а мне так хотелось есть.

Ребенок весит 2 кг. 850 гр. и длиной 49 см. Но это нормально, так что ты не думай. Мальчик очень хорошенький и на тебя похож. Я бы даже сказала, что просто вылитый ты.

Меня выпишут шестого-седьмого июля. Когда приедешь за мной, не забудь взять три рубля, лучше одной бумажкой. Такой обычай: сестре, которая выдает младенца, если девочка — дают рубль, а если мальчик — три рубля. Так что, Толик, треху готовь, постаралась я!

Очень я боялась, чтобы не было никакого переливания крови, потому что можно подхватить спид, и потом пойдешь докажи, что безвинна. Но мне, слава богу, переливания не делали.

Толик, неужели ты, как и прежде, будешь относиться ко мне так грубо? Не хочу верить. Я ведь тебе сына родила. Я уж решила, что мы его Вадиком назовем — культурное имя.

А ты, Толик, так часто и так несправедливо бываешь со мной груб, словно я этого заслужила. А я этого не заслужила.

Я конечно понимаю, что всякому мужчине приятно похорхориться, почувствовать себя королем, да и где ж ему еще и почувствовать себя королем, но ведь я никогда ничего не говорила против, всегда позволяла тебе так себя чувствовать, но чтобы так грубо ругаться нецензурными словами на законную жену! Надеюсь, что когда ты встретишь меня с сыном Вадиком и увидишь нас, то больше не будешь себе позволять так ругаться. Да и ребенка постесняешься, ведь он слышать будет.

А также курить тебе в комнате будет нельзя. Это, надеюсь, ты сам понимаешь. Так что курить будешь в кухне. И, Толик, надо тебе теперь становиться серьезным мужчиной, ведь ты теперь отец, глава семейства. Раз в неделю, конечно, выпить надо, но ты должен понять, что все время приглашать друзей, этого теперь совсем нельзя. Ведь малышу нужна тишина. Я вообще очень надеюсь, что ты переменишься к лучшему. У нас должна начаться новая, светлая жизнь. Мы с тобой уже пять месяцев, как официально расписаны в ЗАГСе, а счастливой жизни у нас еще не было. Надо, чтобы все было вместе, и пойти в кино, и купить что-нибудь.

Ты знаешь, Толик, когда я родила, со мной вдруг такое удивительное произошло, только ты не смейся, пожалуйста, я уж

как будто вижу твою ухмылочку, но я словно в небо взлетела, так мне легко стало. И как будто я там в небе летала, такая я была свободная и счастливая. Такое, знаешь, я почувствовала, будто мы с тобою, Толик, сделали вдруг что-то очень-очень большое и важное. И когда мне Вадика принесли кормить, то я даже удивилась, что он такой маленький, а это так много.

А когда он есть стал, да так жадно зачмокал, я вдруг поняла, как бы я ужасно и несправедливо по отношению к нему поступила, если бы тогда все же пошла и сделала операцию, как ты настаивал. Ведь я бы его тогда убила. А он оказался такой хорошенький.

Я сегодня написала маме в деревню, что все благополучно и пусть они там выпьют как следует за внучка и пришлют продуктов, хорошо бы меду, сала и ягод, потому что в магазинах ничего нет, а мне маленького кормить, и нужны витамины, иначе может получиться рахит.

Теперь вот что, Толик. Ты, пожалуйста, съезди к Нине, забери у нее детскую кроватку и ванночку. За кроватку я ей уже заплатила, так что ничего не надо, а ванночку она сказала отдаст даром. Вымой, пожалуйста, к моему приходу в комнате пол и окно. Я понимаю, что тебе этим заниматься не хочется, но я с животом не могла, а нельзя же маленького приносить в грязную комнату.

В шкафу на нижней полке слева лежат пеленочки, чепчик и одеяло, Это все ты должен принести сюда, когда меня выписывать будут. И там две ленты: розовая и синяя. Так что синюю тащи! Понял? Мальчиков синей обвязывают! Все стиральное и глаженное, завернуто в чистую бумагу. Прямо так и принеси.

Толик, только обязательно комнату вымой и окно! Я тебя очень прошу!

Теперь вот еще чего! В кухне вбей гвоздь и повесь ту ванночку, которую заберешь у Нины. И натяни веревки — пеленки сушить. Если Тамара Владиславовна будет возникать, скажи, что это наше право и никто нам запретить не может.

Было бы хорошо, если бы ты к моему приходу купил килограмм пять картошки и морковки граммов четыреста. И еще масла и сыра, если сумеешь найти.

Ну вот, думала записку написать, а настрочила на полкилометра.

Я такая счастливая, Толик, такая счастливая, только бы ты переменялся и не бил меня больше, потому что мать с ребенком — это икона! Так тут у нас одна женщина сказала. Мне очень понравилось. Она старая, ей уже тридцать девять лет. Но родила без мужа. То есть она совсем не замужем. И говорит: не надо мне никого, я для себя родила. А я, Толик, для тебя родила, только чтобы ты переменялся.

А я все плачу, и плачу, и плачу — так хорошо на душе, так светло и чисто.

Толик, а ты там не водишь ли, пока я здесь мучаюсь? Я все стерпеть могу и все простить, но это — никогда!!! Так что смотри, не вздумай водить, мне Тамара Владиславовна все равно расскажет.

Целую тебя.

Всегда любящая.

Твоя жена Лидия.

Так не забудь, вымой комнату и окно!

## КОСЕНЬКА

*(рассказ в поезде)*

Мы жили в Выселках — небольшая деревня, одиннадцать дворов, — жили втроем: отец, Косенька и я. Была мамка, но плохо помню; когда Косеньку рожала, мне четвертый год шел, и не вынесла. Что-то в ней разорвалось непоправимо. А Косенька получился здоровый. Тетка Нюша выкормила. И отцу полюбился больше всех: то ли как память про мамку, то ли потому, что трудом дался, ценой неоплатной. В честь деда нарекли Константином. Но отец звал: Косенька. Все он Косеньке позволял. За что меня ремнем выдерет, за то Косеньку еще и угостит чем-нибудь, в шутку переведет. Завидовал я. И вот, было мне пятнадцать лет, а Косеньке одиннадцать — в пятый класс идти... Сожгли пацаны на станции ларек продуктовый, а чего можно было утянуть да сжевать, утянули. И сказано было: Косенька участвовал. А тяжелый год. Сорок седьмой.

Отец на станции вагоны грузил, только б копейку приработать. А тут — хозяйство: дом, сарай, деревянная постройка ухода требует. Корова еще, Розка. И с отца да еще с нескольких всю зарплату удержали за тот ларек и говорят: будьте счастливы, что таким миром отбоярились, а то можно и десять лет за вредительство.

Приходит в тот день отец с работы пьяный крепко и вожжи в руках тискает. А Косенька при сарае дудку из вербы резал. «А ну, — говорит, — зайди, Косенька, в дом! Разговор с тобой будет». Зашел Косенька, глазами голубыми повел, чувствует, неладное стряется. Отец его за воротник: «Я тебя холил, для тебя ничего не жалел, берег, а ты какую благодарность справляешь? С пустым карманом отец вернулся! Вкалывал, как лошадь, и без копейки?! Так я тебе объясню, как ларьки поджигать! Я через тебя чуть в тюрьму не угодил! Ко мне со злом, и я со злом буду!» — А Косенька: «Не жег я! Вот крест, не жег! Я там не был». — «Значит, — отец говорит, — люди добрые все врут. Один ты в правде. А что пять человек тебя отметили — не в счет?» И на кровать Косеньку валить. А Косенька: «Не поджигал!» — вырывается, ногами дрыгает. Отец: «Держи, Володька, ноги ему!» Я Косенькины ноги схватил, обрадовался, думаю, пусть и тебе достанется! И отец давай его вожжами охаживать! Косенька визжит: «Не жег! Не жег!» А я ноги придавливаю, не даю брыкаться — повейся и ты! Чтоб для справедливости! Чтоб прознал, как мне бывало, когда ты по углам лыбился! Затих Косенька: ни звука ни единого — мол, совладали, да не ваш. А потом вдруг хрип с визгом из горла выбило. Услышал я этот хрип, и кончилось все для меня... Вся моя радость... Шепчу: «Батя, не надо!». А сам щиколотки зажал в кулаках, словно не его держу, а сам за него держусь. Отпустить хочу, да такая в руки гадость пришла: не разжать пальцы. Наконец... Видно во всем в человеке предел. Потому что вдруг такая сила в нем появилась! Сбросился с кровати, по полу проехался, на ноги вскочил и как закричит: «Фашисты!». Отец аж затрясся: «Меня — фашистом? Я — два ранения, а ты... фашистом?!». На двор вылетели... Косенька со страху в рожь. А рожь высокая стояла, сыпкая. Отец: «Куда,

хлеб топтать!». И за ним. Только колосья заходили. Поймал его и бил снова, а Косенька кричал по-страшному. Потом вылезит отец, взъерошенный, в колосьях: «Я те, говорит, покажу, как по хлебу бегать! Нет больше доброты! Кто ко мне позлому, к тому и я!».

Долго не приходил Косенька. Где прятался?.. Только вечером явился. Отец приказывает: «Иди корову приведи! Не видишь, темнеет!». Косенька ничего не ответил, пошел. А Розка в лесу паслась — с полкилометра, а то меньше. Большой там луг был — на день отводили. И вот, час — нет Косеньки. Отец ругается: «Где пропадает? Корова не доена!» Второй час ждем — нет. Стемнело. Вдруг замечаем: Розка на опушке пасется, щиплет траву, ждет, что к ней подойдут. Откуда появилась? Отец по-новой в ругань: «Я из него упрямство выколочу, издеваться надо мной!». Ремень прихватил, пошел за Косенькой, а мне: «Заведи корову!». Я Розку пошел заводить в хлев, чувствую, что-то не так... взяться не за что. Ни цепи, ни кола. Чистая шея. Кричу: «Батя! Цепи нет!». Вернулся он, видит: нет цепи. «Куда ж она, говорит, задеваться могла?». А сам как-то странно посмотрел. И тут мы оба почувствовали: заледенило на сердце... Отец — в лес! Я за ним! А ничего не видать. Только деревья шумят. Прибежали на луг — нет. У шалаша — нет. Уже вспотели, кричим, хрипнем — нет ответа. Отец говорит: «Бежи домой, проверь, может, вернулся, а мы тут ходим, как дураки! А нет его, фонарь принеси! Возможно, уснул где под деревом». Побежал я... Бегу и бога молю, чтоб только Косенька дома был. Пустой дом. И темный. Так мне в доме страшно стало, не знаю, как двинуться. Схватил фонарь! Обратно! «Батя! — кричу. — Хоть голос подай! Боязно!» — «Здесь я! — откликается. — Что?» — «Нету!». Батя помолчал, говорит: «Может, она сама оторвалась? Пойдем цепь поищем. А Косенька от обиды убежал, завтра явится. Всегда у него манера была: чуть обида — в лес!». Говорит, а по голосу слышу, сам не верит. Пришли на луг цепь с фонарем искать. Я помню, где Розку привязывал. Искали, искали, дыру от кола нашли, а ни цепи, ни кола. Обратно в лес! Отец курит одну за другой, а я чувствую — нервничает, и мне от этого еще страшнее. Так вдруг жутко:

вздохнуть боюсь, ступить боюсь. Никогда ночью в лесу не боялся, а тут страх невиданный, словно смерть живая за нами ходит. И ночь еще... Луны нет, одни звезды! Миллион! Во век звезд таких громадных не видел. Наконец брезжить стало. Потом рассвело. Туман. Роса. Споткнулся о корень. Встаю... Висит Косенька на дереве, цепь вокруг шеи, ноги вытянуты, качаются, и сапога одного нету. А как раз солнце выехало. Туман. Вот он прямо в этом дыму туманном висит. Отец увидел, так и встал вкопанный, белый, как полотно. Долго стоял; я уж испугался — помрет на месте, такой белый. Полез я на дерево... Сняли Косеньку. А он закаменел. Рот раскрыт. Губы темные. Взял его отец на руки и понес. Так до дому и нес, будто бревнышко.

Похоронили Косеньку с мамкою рядом, чтоб потеплее ему было, не скушно одному. А отец с того момента как язык съел. Не разговаривает. Рукой укажет, если что надо, а ни звука. Глаза черные, вглубь ушли, будто и не наружу смотрят. А тут выяснилось — Витька соседский рассказал, — не было тогда Косеньки у ларька. Не поджигал он. Гришка Хромов поджигал. Услышал отец, весь вечер на лавке просидел, все ни слова, ни полслова, а потом вдруг говорит: «Подь, Володя! Сядь рядом!». Сел. А он; «Убил я, Володя, человека. Брата твоего убил. Сына убил, — и как закричит: — Дитя убил безвинное. Стреляйте меня! В могилу закапывайте! Живьем! Живьем! — на кровать повалился, заплакал. — Нельзя больше жить, Володя!». Так всю ночь пролежал, а на утро... уснул я, не заметил. Ушел он куда-то. Возвращается... Совсем уже наружность сумасшедшая. «Убью себя, — говорит. — Надо мне себя убить». И так смотрит лукаво, улыбается... «Надо, — говорит, — убить». В сарай зашел и канистру керосина на себя вылил. А потом по карманам спички искать. Я — к нему, реву, плачу, умоляю, соседей кричу. Прибежал дядя Миша. Скрутили, повязали. Ночью развязался. Но я услышал. Смотрю, собрался куда-то. Я за ним. На железную дорогу собрался. Под поезд бросаться. И под поезд бы он точно угодил. Поезд из-за поворота выходит — ходу убавить не успеешь. Уже и шум его слышно, и прожектор всю по посадкам светит. Я к отцу с разгону, с рельсов столкнул,

и упали вниз по насыпи. А он, видно, не понял, что это я, — в таком забытии стоял. Лежит, по звездам глазами шарит и говорит: «Вот я и на том свете. А ты, Володька, откуда здесь? А Косенька где? Вы, черти-то, подождите в котел тащить. Мне сперва с сыном встретиться надобно». Я говорю: «Батя! С насыпи ты упал. Голову разбил. Вот кровь на тебе». А он: «То не моя кровь». И шепчет: «Смыть, Володя, надо, пока не узнали! Ты водицы принеси!». Тут поверху поезд загрохотал. Он как заорет: «Черти! Черти с косами!» — и в беспмятство. Я его подальше оттащил, за дядей Мишей побежал. Принесли домой, опять повязали, потому что в себя стал приходиться, боялись, как бы еще чего не сотворил.

Назавтра уложили на телегу; повез его в город в больницу. А он все шепчет: «Косенька! Сын кровный! Мать, тебя рожаючи, к богу отправилась! Сама отправилась, а тебя на свет вывела. А я тебя убил». А то закричит: «Не быть с вами! Вместе не быть. Не пустят меня!». Потом уснул. Приехали в больницу. Доктор глянул: «Чё ж ты покойника привез? Покойников на кладбище возят».

И кончился дом. Не вернуться. Не потому, что обратно нельзя; жить не вернуться. В ы ж и т о это место. Амуницию собрал и — на Дальний Восток. Другие края, новые люди... Оттаяло потихоньку сердце. Потом армия, семья. Полжизни, считай, позади! А только не удержался, был я там опять прошлой весной. Не знаю, какая сила потянула. Бога-то ведь нету?.. А не смог... Нет ни Выселков, ни дома нашего. Совсем теперь другой пейзаж. Всю местность под пашню пустили. И знаю, косточки Косенькины давно в земле сгнили, в траву обратились, и трава та сменилась-заменялась. Но неужели и душа его — это только так, люди душу придумали, а на самом деле ничего нет? Голос его забыл, лицо плохо припоминается. А кто же зовет? Ведь я слышу. Нет, не подумай, я не так, чтобы кто-то вот тут сейчас сказал... А где-то там... Понимаешь? И такое мне смутное померещится тогда, будто люди после смерти все вместе встречаются, потому что как же им порознь? А?.. Ну, ладно. Глупость, конечно! А ехать хорошо. Выпить маленечко, чтобы ненужное забылось, а нужное вспомнилось, и ехать, ехать...

Вьюжная сибирская ночь билась в двойные стекла вагона-ресторана скорого поезда «Владивосток — Москва», но отгораживаемая ярким светом неоновых ламп, так и не могла проникнуть внутрь вагона, по проходу которого сонно двигались усталые официантки с лицами тяжелыми и синюшными, с прыгающими морковными губами, звенели бутылки, графины, ножи, слышались пьяные голоса, наклонными пластами висел табачный дым.

Шестнадцативагонный состав, скрипя, изгибался на поворотах, и, повинувшись действию центростремительной силы, скользили по пластиковому покрытию столов ртутно мерцающие рюмки с водкой.

Поезд торопился. Он опаздывал к узловой станции на двадцать минут и теперь на длинном перегоне нагонял время.

### ИЗ ЗЕЛеноЙ ТЕТРАДИ

Откуда мы пришли? Где наш исток?

Я чувствую, угадываю: здесь на Земле мы только работники.

Но где наш дом, наша колыбель, если и любовь наша здесь?

Смерть — венец жизни. Она — самое величайшее событие, которое человек встречает на своем пути. А мы венца страшимся.

Всеми живому противна мысль о вечном. Вечное безлико. Вечное не нуждается в любви.

Человек говорит: пожить бы еще!

Но ни одно человеческое сердце не способно представить без содрогания ни вечной жизни, ни смерти.

Мы с детства любим землю, небо, облака, травы, цветы, птиц и зверей, мы любим друг друга. Мы видим глаза, которые смотрят на вас.

Смерть — это когда нельзя смотреть в глаза.

Но как же нам без глаз, в которые мы привыкли смотреть?

Как нам без рук, которых мы привыкли касаться?

Мы боимся прощания.

Лицо не должно исчезнуть, но оно исчезает.

А я люблю лицо, я люблю лица тех, кого люблю.

Сколь бы ни был совершенен рай, как бы ни озарял его Свет Божественный, если не будет в нем лица, которое я люблю, он не рай для меня, но ад.

Лик, лицо, линия лба, полутень, движенье ресниц, мимолетность взгляда...

Все безумие бытия и весь смысл его, быть может, заключены в единственной этой пинии, в неповторимости ее изгиба.

Нет, мне иного мира не надо, я этим очарован!

И как же тогда полюбить мне Творца, если вся моя любовь — к Его творению, и мысль о том, что придется когда-нибудь расстаться с ним, невыносима мне?

### В СУМЕРКАХ В ОДИНОЧЕСТВЕ

Шел белый снег.

Небо было темным.

Безветрие.

И падал он отвесно тяжелыми крупными хлопьями, шуршащими в воздухе и приземляющимися на толстый рыхлый наст неслышно.

Конец февраля. Плюс два. В который раз за эту зиму тепло и влажно дохнула Атлантика.

На черной среди белого крышке люка городской канализации сидит большая ворона с чуть повернутой набок мудрой головой, и нет-нет долбанет сильным клювом пустую пачку от сигарет. Автомобили проносятся редко, разбрызгивают колесами талую жижу, но ворона знает — крышка люка в недосягаемости, и не боится машин, а только провожает их долгим косым взглядом.

Но вот темные затылки грузовиков скрываются за поворотом, и на минуту, а то и более наступает тишина. Справа, слева, впереди, вверху становится слышным шуршание падающего снега. И от того, что тишина, но и город вокруг, и от того, что снег падает густо и быстро, налетает головокружительное ощущение сна и неправдоподобной безопасности. Как будто все за тебя решено — и сейчас, и на будущее, да и в прошлом решено было, — ты только должен повиноваться, играть уже

написанную за тебя роль, и тебе радостно повиноваться и играть ее, потому что ты знаешь: ничто не может повредить тебе.

А снег сыпал все гуще, все гуще... Все гуще сыпал снег, и стало казаться, что не он движется, а тяжелый земной шар вздымается вверх, возносится в поднебесье всею миллиарднотонною громадой.

Ултаем... Всем вместе не страшно.

И нет уже набережной, города вокруг, нет тебя самого, а есть только странный этот сумеречный час, час-тысячелетие, и твой взгляд и слух, плутающие в густом снегопаде, внимающие тихому потрескивающему шороху его.

Падающий снег...

Случится сокровенное, сбудется несбыточное, небывалое явится. Уверовало сердце в детскую мечту!

А мороз, розовые щеки, сопли из носу, горячее дыхание изо рта на обмороженные пальца! А слезы по потерянной варежке, автобусы в пару, сверкание елочных шаров, узоры на стеклах, апельсины!

Но, оттепель. Вчера было минус двенадцать, сегодня... Барометр, висящий на стене в моей комнате, показал 730 мм ртутного столба.

О чем не передумашь, глядя на падающий снег! Что значит сойти с ума и называть себя Цезарем? Сколько человек жило на свете? Говорят, подсчитано: восемьдесят миллиардов. Это все те, что уже умерли. Если так много умерло, почему мы до сих пор боимся смерти? Разве это не наш опыт?

Одни образы сменяются другими, мыслью за мыслью... Но сквозь снег. Через снег. И ни одну думу не додумать, ни одну мысль не завершить, не найти ни одного ответа. Снег идет. Он додумает, завершит, ответит.

ЛЕНИН — многометровые буквы темными тенями вырастают из белой мглы. Они, как бастион, как крепость. Мертвые линии. Выверенные пропорции. Такого человека не было. Не билось его сердце и не стучала кровь в его висках. Сразу были каменные буквы, каменные ноги, каменные глаза.

Почему Ленин?

Вдруг что-то мелькнуло, летуче зацепило краем и...

Но как я хочу, как хочу вернуть это!

...беломраморный зал ленинградской капеллы. На сцене оркестр. Все купается в блеске электричества. Глаза у людей блестят. И звуки, трубные, торжественные, сверкающие звуки заполняют гигантский объем зала.

**Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой,  
В горе, в надежде и в радости!  
Ленин в твоей весне,  
В каждом счастливом дне,  
Ленин — в тебе и во мне!**

Тысячеголосый хор.

На моей шее красный пионерский галстук. Он вздымается, как алый кливер старинного парусника.

Я пою. Я стараюсь, чтобы голос мой был слышен сквозь весь хор. Чтобы был он самым сильным, звонким. Ведь за ним мне надо спрятать такое огромное, страшное и сладостное!

Она стоит рядом. В коричневой школьной форме. В ослепительном белом переднике, завязанном позади нее на талии большим белым бантом. И на ее смуглой шее тоже пионерский галстук с двумя маленькими фиолетовыми чернильными пятнами. И черные кудри волос кольцами подрагивают на тонкой алой ткани.

Мы поем. Мы не смотрим друг на друга. Невозможно смотреть друг на друга, когда стоишь так близко. Я еще никогда не стоял так близко рядом с девочкой. А ведь она не просто девочка, она сразу она. Мы смотрим на сцену, где гремит оркестр, где над оркестром сверкает старинный орган. Нас тут десятки, а может быть, сотни, тысячи, миллионы, нас несметно много, мы — вся наша коммунистическая родина. Нас привели сюда классами на празднование годовщины Великой Октябрьской революции. Во главе каждого класса шла классная руководительница. Нас расставили у кресел и попарно в проходах. Мы должны были петь стоя.

О, эта торжественность! Она душит нас. Наши сердца где-то там, под высоким сводом зала.

Как светла наша жизнь! Как безоблачно будущее! Любимая партия убила всех плохих людей и оставила только хороших. Больше нечего бояться. Какое безмерное счастье, что все мы родились в этой замечательной стране!

Один куплет сменяется другим. Глаза слезятся от блеска.  
Я вырасту и тоже стану коммунистом. Я совершу бесчисленные подвиги, и она...

Но как близко ее плечо, как близко черные кудри на красном пионерском галстуке! Я чувствую ее дыхание. Я слышу, как она поет.

Моя рука случайно касается ее руки.

...ее рука была ледяной и от этого показалась влажной...

А моя горела огнем, точно это была не кисть руки, а костер.

И когда я коснулся ее руки, мне почудилось, будто я обжег ее, потому что она сразу отдернула свою руку.

Она повернулась ко мне вполборота, взглянула на меня скошенными блестящими глазами.

И мы еще громче, еще торжественнее заорали:

**Мы за партией идем,  
Славя родину делами.  
И на всем пути большим  
В каждом деле Ленин с нами!**

Как дрожало мое сердце, как часто и сильно стучало в груди! Я, наверное, сейчас умру, потому что выдержать такое счастье невозможно!

Мой взгляд соскальзывает вниз.

Я вижу, как кисть ее руки, только что убежавшая от того места, где я случайно прикоснулся к ней, медленно, робко возвращается на это место. Все решительнее. Да! Вот она уже совсем рядом! Я могу еще раз коснуться. Два сантиметра разделяют наши руки. Два крохотных сантиметра!

Но я не могу преодолеть их! Не могу! Потому что это уже не случайно.

Рука моя онемела...

Я ничего не чувствую.

Я в огне... Я горю... Я сгорел.

Снег касается моего лица.

О, как посыпал!

Дома едва видны.

Даже узкая черная полынья на середине реки Смоленки не видна.

Мутно просвечивают окна громоздких крупноблочных домов, и двигаются возле неоновой магазинной витрины маленькие человеческие фигурки.

Но это так далеко!

Я отделен снегом.

Кто знает, какой день сейчас, какой год?

Цифры в календаре ничего не значат.

Но почему я вспомнил?

Ее рука... Снег...

Это как-то связано?

...многоступенчато, грозно, усыпальница возвышалась над площадью. Мальчик видел Кремлевскую стену и усыпальницу сквозь снег. Отец привез мальчика в Москву.

Снег был такой же... Белый, крупный. И так же шуршал.

В Ленинграде, где они жили, не было Кремля и Спасской башни, не было многоступенчатой усыпальницы, в которой лежали рядом Ленин и Сталин.

Мальчика все поражало в Москве. Это был другой мир. Тот, о котором рассказывали в школе. Тот, которым начинался букварь.

Мечта сбылась: он на Красной площади! Куранты на Спасской башне бьют три четверти. Сейчас заиграет гимн Советского Союза. После боя курантов, когда его передают по радио, сразу исполняют гимн. А мальчик слышал этот бой только по радио. Часы замолкли, и тишина удивляет его. Снег идет. Усыпальница называется мавзолеей. Мальчик называет «муззелей». Очередь бесконечна. У мальчика замерзли ноги.

Наконец они входят...

Два стеклянных гроба. Один большой — Сталин. Другой... Высохшая желтоватая кукла лежит в нем. Мальчик уже видел мертвого человека. Но это не мертвый человек. Это безобидная кукла. Ему совсем не страшно.

И вновь снег... Глубокое пространство Красной площади поднимается вверх, возносится вместе с храмом Василия Блаженного, Кремлем, алыми звездами, курантами и усыпальницей. Зачем эта усыпальница? Зачем эти часовые с винтовками? Зачем они охраняют куклу? Ведь это не ЛЕНИН.

Мальчик смущен. Он ни о чем не спрашивает.

Снежинки тают на его ресницах, и холодная капля стекает по щеке.

Я остановился, машинально отер мокрое холодное лицо и вдруг ощутил сильнейший приступ радости.

«Почему?...» — подумал я, оглядываясь, ища причину, и тут же осознал, что и тогда таким же движением руки отер мокрое лицо, — между тем снегопадом на Красной площади и сегодняшним не было тридцати лет.

Есть сокровенные точки жизни, в которых время не существует, эти точки разбросаны по всему жизненному пути и связаны между собою незримыми каналами; по ним из одной точки в другую можно переплывать, минуя время.

Дыхание мое сделалось легким, свободным...

А снег повалил еще гуще, и сумерки стали переходить в темноту.

Из сегодняшнего дня, из этой секунды в будущее тоже уходил канал, и там впереди, через годы, через десятки лет я увидел такую же точку, такой же узел. Там сыпал мокрый крупный снег, и я бродил в нем, как в бескрайнем белом лесу.

## В ДОРОГЕ

И опять, и снова я еду.

Все лучшее, что было в моей жизни, связано с дорогой.

Где-то далеко впереди гудит электровоз; в его утробе, в сверкании магнитных искр, вращается стальной вал, рождая тысячи лошадиных сил, сидят у пульта машинисты, и навстречу им глубокий, коричнево-оранжевый плывет закат, над которым темнеет высокое синее небо с первой яркой звездой.

Когда я смотрю в вагонное окно на бегущие мимо пространства, мне всегда кажется, что именно здесь живут самые интересные люди, и если я не узнаю их, не приобщу себя к тому делу, которое делают они, моя жизнь будет неполноценной.

Но один пейзаж сменяется другим, проплывают мимо станции, колонны машин у переездов, стада коров вдали, в глуби-

не горизонта, как бы между землей и нависшим полуденным зноем, линии электропередачи, деревни, водонапорные башни, геодезические знаки, вдруг возникает город, но едва успеваешь выйти на платформу, услышать иной говор, увидеть иные газеты в витрине киоска, проводник зовет обратно, — и опять откосы, овраги, будки путевых обходчиков, дети на велосипедах, пашни, дороги, мосты; опускается вечер, тонет красное приплюснутое солнце, а потом стекло становится зеркально-черным, и меня охватывает чувство утраты — не вернуть, не успеть, не слиться судьбою!

Вот и сейчас вечер. Я лежу на верхней полке и, закрыв глаза, слушаю уходящее время, убегающую и летящую мне навстречу жизнь. Множество звуков различает мое ухо: шум воздуха в потолочной вентиляционной сетке, тяжелые удары колес на стрелках, от которых вагон вдруг резко бросает в сторону, тихий разговор внизу, звон ложек в стаканах, дребезжание детской погремушки.

Там на застеленных матрасах сидят две женщины и спит ребенок — мать, дочь, внук. Дочь — высокая широкоплечая украинка, темноглазая, очень кроткая, нерасторопная и неуклюжая, все время улыбается то своему ребенку, то самой себе. Ее зовут Оксана. Есть люди, на лице которых написаны доброта и покой. Такому человеку достаточно произнести одну фразу и становится ясно, что он не только не способен ударить кого-либо, но даже сказать грубое слово. Он всегда как бы чуть удивлен: зачем люди причиняют друг другу зло? Ее мать, тоже темноглазая, тоже крупная, но уже поседевшая и располневшая — противоположность дочери: говорит властно, движения быстры и точны, ни одного лишнего. Ее имени не знаю. А ребенка зовут Юрочка.

Юрочка уснул. И теперь женщины ужинают. Их речь о пеленках, ползунках, детском питании, о том, сколько Юрочка выпил молока, о ценах в магазинах, о том, что нужно купить двенадцать кусков светлых обоев, что туфли жмут и болят косточки. И еще нет-нет, да мелькнет в разговоре какой-то Антон, который еще пожалеет, не раз спохватится, когда поймет, как было ему у них хорошо...



Я чувствую горячий парной запах чая, грубый запах крутых яиц и влажный огородный запах укропа, и мне хочется побыть там, куда они едут, войти в их дом. И чтобы я не был им чужой, чтобы они непременно полюбили меня.

Как хотелось бы мне пройти все дороги, пересечь все континенты, прожить жизни всех людей на земле, всех, что были и будут!

Но есть у меня одна-единственная моя жизнь.

Закат гаснет. Наступает ночь.

— Потому что никогда характер не могла выдержать! — злобно шепчет внизу мама Оксаны. — Вот он и крутил, как хотел! У меня ходил бы, как шелковый! На коленях ползал!

— Тише, мама, — умоляет Оксана, — человек наверху услышит!

— В кого ты такая? Господи!..

Стучат колеса, отмеряя пространство, бьется сердце, отмеряя время.

«Пиши о них, — говорит мне кто-то. — И станешь ими».

Я еду.

Ночь.

Я в дороге.

### ИЗ ЗЕЛеноЙ ТЕТРАДИ

Вся жизнь состоит из случайностей. И именно оттого нет в ней ничего случайного. Я это понял сегодня. Ехал в пригородном автобусе. На одной из остановок вошел монастырский послушник, в скуфеечке, в черной длинной сутане. С ним был мужчина в обычном гражданском костюме. Они разговаривали. Послушник часто улыбался, жестикулировал кистями рук, показывая длинные тонкие пальцы. И весь автобус смотрел на них, поскольку монастырские послушники редки в наших советских автобусах. А потом они вышли. Я выходил следом. И я услышал, как послушник сказал мужчине: «... ему неспокойно». Я шел по тихой одноэтажной улице маленького приморского городка навстречу другим людям, навстречу синему вдали морю, и все думал: кому неспокойно? Кто этот человек? И не я ли это сам?

Все не случайно. Даже обрывок мимолетной фразы, услышанной на улице, в магазине, на вокзальном перроне. Он для чего-то услышан, и именно в этот день и час, и именно на этой улице, в этом магазине, на этом перроне. Прохожего след простыл, но как много все это значит, если задуматься. Как много!

### СОБАКА НА ПЕРЕЕЗДЕ

— Ой! Ой! Мамочки! Задавит!

Железнодорожница в ярко-оранжевом жилете, надетом поверх ватника, затопала ногами, замахала рукой.

— Уходи прочь! Уходи, черт тебя!..

Серая дворняга не обращала внимания на поезд, но, услышав крик, лениво повела мордой и сейчас же, прижав острые уши, кинулась прочь.

Воздушный вал ударил резко; с грохотом полетели, прогибая под собою рельсы, высокие вагоны, — переезд заволкло снежной пылью.

Когда снег опал, я увидел, как женщина бьет собаку флажком и сквозь слезы приговаривает:

— Чтоб ты сдохла, проклятая! Пошла вон! Чуть сердце из-за тебя не разорвалось!

### ДВЕ ЖЕНЩИНЫ В СЕЛЬСКОМ МАГАЗИНЕ

— Колька-то?! Господи! Когда?

— Вчера под вечер. Домой пришел, говорит: полежу малость, чевой-то мотор не там стучит. А Валька: ты еще поди столько вылакай, так совсем стучать перестанет! А Колька: а что хорошего? К чему сердце приладить? Все врут. Жадные. Корусть да корусть. Никого теперь не люблю. Таньку, пока маленькая была, — любил, а такая же стерва вымахала. А Валька: думаешь, я тебя люблю? За что тебя любить-то? Не нравится — вон. дверь не на запоре! А Колька сидит, тихий какой-то. Я думала, он ей башку прошибет, а он тихий стал. Ушел бы, говорит, если б знал куда. И в сарай направился косу отбивать. Колотил, колотил. Валька пошла ужинать звать... Лежит не живой, жилочки перерезаны.

## В ПОРТУ ВОЗНЕСЕНИЕ

От многократного повторения слова теряют смысл.

Но, Вознесение!

Оно как будто само слетает с губ и уносит тебя в золотое северное небо.

Нигде не увидишь так много неба, как на севере.

Описать его — невозможно. Никакими словами не передать его жемчужного блеска, причудливости очертаний облаков, которые могут вдруг вовсе исчезнуть, а через полчаса бежать друг над другом в три разноцветных яруса, и каждый будет освещен по-своему, и у каждого будет своя архитектура, не передать летучий огонь озерного ветра, игру красок, созидание, разрушение и опять созидание в нем надземных фантастических миров... Оно — драма! В нем постоянно что-то происходит. И оно делает тебя соучастником своей драмы.

Вознесение...

Прощаясь с севером, прежде всего прощаешься с северным небом.

Бывают дни, когда ото всего, на что обращаешь взгляд, от каждого человека, тобою встреченного, исходит к тебе свет. Это не потому, что переменилась жизнь — просто душа сумела освободиться от суетного, мелкого, от обид, тщеславия, зависти.

Это освобождение пришло ко мне ранним июльским утром в порту Вознесение: я проснулся и увидел стену своей каюты, ярко залитую неподвижным солнцем. И удивился тишине. Ее подчеркивали крик чайки и гулкость чьих-то шагов по металлической палубе.

Я был неподвижен в пространстве.

Вдруг увидел я весь пройденный путь, непрерывную смену горизонтов, городов и деревень, изгибов рек, все несметное множество жизней, проплывших мимо, и меня охватил тот космический восторг, который свойственно пережить каждому человеку, покорившему большое пространство.

Я выглянул в иллюминатор.

Обилие сверкающей воды ослепило меня. Солнце, пробивая многослойные тучи, спускалось на нее густыми тяжелыми потоками, и все вокруг немо блистало, все затаилось в ожидании грозы.

Испытываешь особенно радостное ощущение, когда кончается река и начинается озеро или море. Именно здесь видишь первозданную, так и не разгаданную тайну отсутствия в природе начала и конца. Ты все плыл по реке, и она представлялась тебе бесконечной, но ты думал: берет же она где-то свое начало и будет где-то ее конец. И вдруг вместо начала или конца, вместо черты, границы, обрыва, перед тобой открылась, ослепила тебя и потянула к себе бескрайняя поверхность озера.

У судового электрика Маркелова был день рождения. Праздновали в его каюте: штурман Егор, механик Вениамин, сам Маркелов и я. А сосиски, купленные на закуску в Вознесенском магазине, отварила на камбузе судовая повариха Фаина. Она принесла их в большой алюминиевой кастрюле, дымящейся паром, присовокупив поллитровую банку кислой капусты, так круто заквашенной, что дух ударял в нос. Фаину усадили, налили, как и всем мужчинам, полстакана водки. Всегда молчаливая, вялая, она вдруг распрямила сутулую спину, загадочно улыбнулась, плавным движением руки сняла с головы белый поварской колпак, приняла стакан и без остановки, не отрывая его от губ, выхлебала до дна маленькими глоточками, точно это была не водка, а обыкновенная вода. Ни один мускул ее веснушчатого лица при этом не напрягся. На серые глаза ее набежал дремучий блеск, она отломил корочку черного хлеба, занюхала ею водку, поднялась и, все так же загадочно улыбаясь, бессловесно ушла. А мы стали спорить о навигации, грузах, о том, как платили раньше и как теперь, и куда будет следующий рейс: до Астрахани или в Архангельск? В Астрахани — помидоры. В Архангельске!.. И все разом заговорили о женщинах.

А потом, наконец, пронеслась, прогремела, проблистала косыми ветвистыми молниями оглушительная гроза. Каким стре-

мительным вихрем промчалась она над Вознесением, как гневалась, негодовала, как вспенила зеленую воду, каким тяжелым белым ливнем побила черную землю!

Я сидел на причале на шершавых досках, глядел на воду, на небо, и ни одну свою мысль не мог выразить словами. Собственно, это были даже не мысли, а потоки внезапных волнений и светлых предчувствий.

Была тишина, и казалось, что все запахи и ароматы в прохладном воздухе как бы разъяты.

Темные бревенчатые дома задумчиво смотрели вдаль золотыми окнами, белели прямоугольные рамы наличников, а от реки наплывал легчайший, нежнейший шелест волн.

Шел мимо парень в разбитых сандалиях, в солдатских брюках, пиджаке и кепке, нес в руках удочку и ведро. Я спросил его, как улов. Он остановился, поставил к моим ногам ведро, в котором плескалось несколько мелких окуней, присел на корточки:

— Не берет. Корабль подошел.

Мы закурили и некоторое время молча смотрели на рыбешек.

— Хитрая жутко! — сказал он, улыбаясь.

— Кто? — спросил я.

— Плотва. Только окунь — дурак. Я один раз жевательную резинку на крючок намотал. И ту схамал.

Парень гоготнул.

— Ну, двинул я, — сказал он весело, — жена дома ждет!

И, забрав ведерко, удалился.

На противоположном берегу темнел лес, а по воде все шире, все гуще разливалось горячее закатное золото.

Вышла из ближнего к причалу дома и спустилась к реке, прижимая сбоку к талии большой эмалированный таз, молодая стройная женщина в разноцветной цыганской юбке и в желтой кофте с закатанными рукавами, сошла на деревянные мостки, стала выполаскивать белье, поправляя изредка мокрыми пальцами спадавшие на лицо пряди блестящих черных волос.

Она стояла на мостках на коленях над рекой, над водой, над движением воды. Желтая кофта отражалась в воде. Река дви-

галась, а отражение в реке было неподвижным. Река как бы скользила под ее отражением.

И вдруг эту вечернюю сладостную тишину прорезал, пробуравил, взрылил низкий могучий гудок парохода!

«Свобода больше, чем твой дом, улица, город, свобода больше, чем все, что имеет границы...»

Кто-то горько плакал...

Это был женский плач, то сдавленный, то переходящий в открытое рыдание.

Я поднялся по трапу и увидел повариху. В огненно-красном синтетическом платье и с нелепой голубой лентой в волосах, она сидела со стороны озера на корме на скамейке, положив согнутую в локте руку на металлическую трубку ограждения и, прижав к руке лоб, со всхлипыванием плакала. В пальцах ее руки дымилась зажженная сигарета.

Я постучал к Маркелову, отворил дверь.

Электрик в одних трусах, не укрывшись, храпел на койке. Одежда валялась на полу.

— Коля!

Он приподнялся в темноте.

— Там на корме повариха плачет.

— О, черт, я думал предохранитель на щите выбило! А сколько времени? — вдруг спросил он.

— Одиннадцать.

Он помолчал, с трудом собираясь с мыслями.

— Не трогает никто, вот и плачет. Не обращай внимания!

И добавил обиженно:

— Спать буду! В двенадцать отход.

Я вернулся на палубу, остановился невдалеке от Фаины.

Девушка перевела на меня мокрые сверкающие глаза.

Она была чудовищно пьяна.

— Ну, чего? — произнесла она жалобно и, переливаясь огненно-красным своим платьем, щелкая голыми пятками по кожаным тапкам, качаясь пошла по палубе прочь, но вдруг облокотилась на бортовые перила и зарыдала.

— Не могу так больше жить! Руки на себя наложу! Никакого удовольствия! Никакого!

Желтый свет в поднебесье медленно таял, переходя в нежно-голубой глубокий цвет, слабо проступили созвездья и золотистый отблеск на воде постепенно погас. Сплошное серебристо-стальное сияние охватило озеро. Было необычайно тепло и тихо. Тяжелый нос теплохода резал спокойную воду. Вдали светились огни идущих навстречу судов. А потом небо налилось еще более темной густой синевой, звезды засверкали жестче, их становилось больше, и только слева по курсу сиял в небе светлый клочок. От горизонта вверх засеребрились тонкие облака. Они взвились над ним точно вздыбленные седые волосы, и когда все уже погасло — и небо, и вода в озере, они все еще ярко светились.

— Здесь, когда идешь ночью осенью, так темно, что берег неразличим, — сказал капитан.

Мы стояли на крыле ходового мостика. Ночной озерный воздух оведал нас прохладой. В глубине рубки молодой матрос-рулевой крутил штурвальное колесо. Его лицо было напряжено.

— Вон там, — капитан указал рукою, — в прошлом году села на мель самоходка. Вокруг озера обводной канал. По каналу шел буксир-плотовод. А штурман самоходки решил, что плотовод идет по озеру, и взял курс на него. И так и шли, пока не впилелись в береговой песок. Попробовали сняться — ни с места! Утром прибыла «Ока» — спасатель. У нее машина сильная. Но осадка, три метра. Не подойти. Спустили шлюпку и на шлюпке завезли конец буксирного троса на самоходку. Только так и сняли. Сгорела у ребят премия. Если судно в течение двенадцати часов само сходит с мели — считается брак в работе. А если больше двенадцати часов — авария.

Он посмотрел в бинокль.

— Пять градусов правее возьми! — сказал рулевому.

Впереди была ночь. Мы двигались в ее черноту.

## ИЗ ЗЕЛЕННОЙ ТЕТРАДИ

Всякий раз, когда я смотрю в звездное небо, мне кажется, что все мы — лишь отражение неба, что там, в тысячах сверкающих разноцветных огней, написаны все наши судьбы. Это

нельзя понимать буквально, хотя взгляд мой сам по себе чертит линии от звезды к звезде, что-то ведет его, подсказывает направление и конечный пункт. Интуиция, предвидение, предчувствие... То, чем дышит душа, но что невыразимо в слове. Все то, что названо, уже извлечено словами откуда-то из глубин неведомых нам тайников, но есть моменты, когда чувствуешь весь тайник, всю его беспредельность, все то, что не названо.

Любой школьник знает: Земля — шар. Любой астроном докажет: космос — лишь разлетающиеся после Большого Взрыва галактики. Но когда стоишь один среди черной, наполненной тихими, неясными, осторожными звуками ночи, запрокинув голову и обратив лицо к звездам, — не имеют никакого значения шарообразность Земли и огромные расстояния между планетами. Мысль касается любой звезды, зримой и незримой, в то мгновение, когда ты подумал о ней. И ты чувствуешь, что то, что происходит сейчас в твоей душе, и есть правда, а все остальное — игра ума.

При взгляде в ночное небо страх исчезает. В этом ответ на главный вопрос: одинок ли человек? Небо — это не прозрачная синева и белые облака днем, и не мерцающие звезды ночью, не плоскость и не пространство, это даже не Вселенная, измеряемая миллионами световых лет; это нечто совершенно иное, не объяснимое... Взгляд в таинство собственной своей души.

Сколь огромна душа человека, крохотного живого существа, уже не различимого с расстояния трех миль!

«И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его».

Как ничтожно мало праха и как безмерно много Бога!

А мы все просим доказательств, все не верим...

## ЛЮБОВЬ

Рано утром, когда южный поезд вполз в болота ленинградских пригородов, я проснулся на верхней полке плацкартного вагона от тягостных звуков, настойчиво доносившихся снизу.

Звуки ни с чем нельзя было сравнить; можно было только представить, что подобные кличи издавал человек в минуту нестерпимой физической боли, когда способность кричать отнялась, оставя лишь гортанный удушливый дых.

Я открыл глаза. Над моей головой было выцарапано ножом:

Коля        Серега        Игорь  
ДЕМБЕЛЬ        1977

«Красиво самолет летит», — произнес тихий мужской голос.

И тут я вспомнил:

«Большая девочка! В одиннадцатом часу вечера с нею сел мужчина на полустанке близ Тулы».

Я опустил веки; несколько секунд назад мне виделось что-то воздушное, пронизанное неярким живым светом, — такие сны невозможно вспомнить, но после них просыпаешься с ощущением свободы и счастья; однако свет не вернулся, я снова слышал перестук колес.

Мужчина и девочка сели незадолго до Тулы. К тому времени вагон наполовину спал. В проход торчали голые ноги с оранжевыми, пахнущими потом ступнями, свисали расслабленные руки, углы простыней. Было душно; тяжелый воздух процеживался, как жидкость. Поэтому когда в черное стекло почти горизонтально ударил дождь, я обрадовался: в вагоне не стало свежее, но сами дождевые стрелы, чисто зрительное их созерцание успокоило.

И вот на каком-то полустанке он вошел вместе с девочкой, шелестя мокрым плащом и прижимая полы, чтобы никого не замочить. За плечами у него горбатился обвислый рюкзак, а девочка правой рукой держала его за локоть, а в левой несла плюшевую лисицу.

Войдя, он посмотрел на настенный номер, сверил номер с билетом, сказал:

— Здравствуйте!

Добавил, стесняясь:

— Вот мы тоже... поедем.

И постарался пропустить девочку к окну.

В его движениях и голосе, особенно в том, как он произнес «Вот мы тоже... поедем», присутствовало что-то неловкое, будто произносятся слова и совершая движения, он одновременно извинялся за них.

Но девочка по-прежнему не отпускала его руку. Была она худа, широка, с плоским лицом монгольского типа, острыми скулами и прямым коротким шрамом, поднимающимся от бровной дуги вверх до ровного окончания густой челки. Нейлоновая куртка, купленная, очевидно, «на вырост», закрывала нижним краем ее колени.

— Иди! Не бойся, — подтолкнул ее мужчина.

Девочка подошла к окну, увидела кого-то и с внезапной радостью быстро залезла на полку.

За окном мертвый электрический свет, белый в блеске дождя, освещал невысокую женскую фигурку. Подняв руку, женщина махала. Девочка часто замахала в ответ, прижалась к стеклу лбом, стараясь надышать влажное матовое пятнышко.

— Нехорошо так... — пробубнила сидящая напротив старушка. — Нечто можно с ногами на полку? Ноги грязные.

Мужчина виновато посмотрел в ее сторону.

— Я приберу, — ответил он.

Поезд тронулся. Неизвестный полустанок поплыл назад, проехала плавно мимо окна деревянная вокзальная постройка, за нею — подсвеченная листва привокзального парка, каменный кубик станционного туалета, на запасном пути цепочкой грузовые платформы с новенькими мокрыми тракторами «Беларусь», и вдруг все оборвалось, и застыла та сплошная непробиваемая чернота, за которой, чудится, нет больше жизни, и лишь одинокий поезд мчится через эту безлюдную пустыню, и ты, едущий в теплом вагоне, защищенный ото всего окружающего мира стальными стенками, благословляешь судьбу за то, что ты здесь, а не там, в дожде и мраке, пока не появится за отражающим твой полупрофиль стеклом далекий желтый прямоугольничек чьего-то окна. Появится он, прерываемый невидимыми преградами, подмигивая, зазывая, и, охваченный счастливой тревогой, начинаешь понимать, что все это несущееся за стальной стенкой твоего укрытия пространство населено, оно дышит, пульсирует, глаголет еще тысячами человеческих жизней, так и пролетающими мимо тебя безвестно, и твой взгляд на желтый горящий прямоугольничек и было тем единственным, трагически однократным пересечением ваших путей.

Мужчина и девочка продолжали смотреть, хотя полустанок скрылся, выискивали ориентиры, видимо хорошо известные им, и то, что являлось для меня чернотой, было для них биографией.

Потом мужчина снял с девочки куртку, достал скрученный с подушкой внутри матрац, разложил его на своей нижней полке и хотел уйти, но девочка, увидя это, схватила его за локоть цепкими сильными пальцами. Он аккуратно высвободил руку, провел ладонями по матрацу и ушел.

Оставшись одна, девочка затаилась и, притискивая лисицу к животу, исподлобья оглядела присутствующих.

— Ты чего такая пугливая? — спросил ее матрос, читавший на боковой полке журнал «Спутник кинозрителя».

Девочка не ответила.

— Тебя как зовут?

Девочка опять не ответила, только враждебнее наклонила голову.

— Ну, мать, без беседы ехать неинтересно!

— А она и разговаривать не умеет! — проворчала старушка, довольная тем, что в неприязни к новой соседке у нее появляется союзник. — Балованные теперь дети. Все им позволено.

Однако самолюбие матроса было задето. Он привык чувствовать за собой обаяние военного флота, особенно распространявшееся на детей, которым нравилась красивая морская форма.

— Познакомь с лисой! — весело сказал он, приближаясь к девочке. — Патрикеевна?

Но девочка вдруг забилась в угол и заревела.

Несколько секунд матрос общался со старушкой молчаливыми взглядами недоумения, потом досадливо произнес:

— Да не нужна мне лиса!

И торопливо раскрыл свой журнал, делая вид, будто не имеет к слезам девочки никакого отношения.

— Жадная ты! — добавил он под нос.

— Как стыдно! Как стыдно! — наслаждалась старушка, с негодованием глядя на мокрые грязные туфельки, которыми девочка пачкала матрац. — Избаловал тебя папа! Все тебе разрешает.

Девочка не понравилась никому: не понравилась ее внешность, настороженно перебегающие глаза; и то, что она всех боялась, словно бы всех подозревая в чем-то нечестном, и то, что залезла с ногами на полку, не послушавшись замечания, и то, что теперь, в то время как ей желали добра, в искренность доброты не поверила и плакала, тоже очень неприятно, на низкое гнусавое «ы».

Наконец мужчина вернулся с комплектом чистого белья, и девочка мгновенно успокоилась; на ее щеках возле губ образовались две вздрагивающие треугольные тени.

Особенно странна была моментальная смена улыбки и слез. Точно в лицо ее впился десятками щупальцев невидимый осьминог и одним сжатием перестроил мускулы в другое положение.

— Сейчас, Надюш... — сказал мужчина, разворачивая простыню. — Ляжешь... А утром — приехали.

— Весь матрац уделала! Вы ж ей б хоть туфли сняли! — проговорила старушка.

Мужчина, видимо, привык к тому, что по поводу девочки делают замечания, опять виновато улыбнулся и попросил извинения, чем еще больше разозлил старушку. Девочка же, взяв лисицу двумя руками за туловище (так берут игрушки только дети), стала шагать ею по краю стола.

В это время по проходу возвращались из вагона-ресторана трое подвыпивших парней. Желая привлечь к себе внимание и развеселить пассажиров, они заигрывали друг с другом. Проходя мимо нашего купе, тот, что завершал шествие, подставил среднему подножку. Средний споткнулся, неловко ухватился за металлическую стойку лестницы...

— Аркаш, ты никак треху нашел? — гоготнул задира.

Средний картинно выпрямился, схватил «обидчика» левой рукой за грудки и, наматывая его рубаху на кулак, правую руку отвел в гигантский разворот, растопырив на ней толстые пальцы и соорудив страшную рожу, что должно было означать «Ух, вмажу!».

И вдруг раздался яркий отрывистый крик — выронив лисицу, девочка повалилась набок.

Мужчина подхватил ее, стал укладывать на недостеленный матрац. Спина девочки плавно выгнулась, пальцы сжались в маленькие крепкие кулачки, и все ее тело забило частой жесткой дрожью. Агатовые зрачки неподвижно сверкали в невидящих глазах.

У пролета в наше купе сразу образовалось перепуганное, паникующее, вопрошающее полукольцо. Вскочил со своего места матрос, замерли трое балагуров, появились сонные встревоженные фигуры...

«Эй, есть кто-нибудь врач?! Воды принесите! Надо на тепловоз сообщить!» — посыпалось из полукольца.

Всем вдруг стало не по себе. Словно все ощутили рядом смерть, смерть на глазах, в эту секунду, смерть, которую никто не знает, как остановить. И только мужчина не суетился, не кричал, не звал на помощь, а старался подложить под голову девочки толстое ворсистое одеяло и придерживал ее кулачки, чтобы она не разбила их о стенку.

— Не надо... Уж извините. Такая надобность, — повторял он, обращаясь то к девочке, то к присутствующим. — Ничего, Надюш! Сейчас пройдет. Сейчас спать...

И действительно, вскоре припадок окончился, и, так и не приходя в себя, девочка перешла в сон. Мужчина с величайшей осторожностью усадил спящую возле окна и продолжил стелить постель.

Кто-то произнес:

— Это эпилепсия.

Стал рассказывать, как видел такой припадок с одним человеком в молочном магазине, что непременно надо лицо накрыть чем-нибудь черным, иначе не пройдет...

Матрос нервно поправлял ярко-синий полосатый гюйс, старушка охала, вспоминала бога.

Люди начали расходиться. Еще минуту назад они готовы были ради спасения девочки пожертвовать чем угодно. Теперь они расходились разочарованными: их суета и паника были досадны им из-за спокойствия мужчины, и поскольку добрые порывы оказались напрасными, припадок вызвал в них не страдание, а неприязнь.

«В столице во сколько будем?» — затихла чья-то фраза, и ответ: «Около двенадцати, если не опоздает...»

Девочка сидела у окна. Она спала. Мне захотелось рассмотреть ее лучше.

Ей было лет восемь. Облачение составляли кремовые туфельки с полукруглым рядом дырочек, белые гольфы и розовое платье в мелких ромашках, столь неожиданных в сочетании с широкоскулым монгольским лицом. На левой руке были игрушечные часы. Во время припадка часы съехали к кисти, и на загорелой коже светлела полоска. Волосы — густые, черные — были зачесаны назад и по-русски заплетены в одну толстую косу с алым газовым бантом, которая, подрагивая от движения поезда, лежала на ее неподвижном плече. Под мочками крупных ушных раковин блестели сережки.

Девочка спала, однако это не был тот сладкий беззаботный сон, каким мы привыкли любоваться, глядя на спящих детей, это был высший покой, каменный, безразличный, непосильно тяжелый для детского лица, и когда за окном пролетал фонарь путевой будки, по лицу девочки проскальзывал тревожный расщепляющийся луч, на мгновение вспыхивая в сережках ярким желтым огнем. Но, прокатившись, луч гас, а лицо по-прежнему оставалось неподвижным.

Закончив постель, мужчина перенес девочку на середину полки и стал приготавливать ее ко сну. Меня удивило то умение, с которым он выполнял свое дело. Он снял с ее ног туфли и гольфы, обнаружил, что носки у них мокрые, и повесил сушиться на перекладину второй полки; потом платье, под которым забелело, застеснялось обнажившейся худобы ширококостное тельце в синих трикотажных трусиках. И платье так же аккуратно он развесил на перекладине. Он расплел ее косу и расправил волосы. Затем уложил девочку набок, примостил рядом лисицу, обнял плюшевое туловище лисицы девочкиными руками, чтобы проснувшись она сразу ощутила любимую игрушку, и только тогда сел в ногах на свободный край, очевидно, собираясь просидеть так всю ночь.

Ритмично отстукивали колеса, покачивалась в полумраке оконная занавеска, коротко с грохотом пролетали внезапные

встречные поезда, промелькивали редкие огни; вагон засыпал...

И вот теперь, в ранний седьмой час, я пробудился от этих тупых гортанных кличей, особенно поразивших со сна. Я приподнялся и заглянул вниз.

Было совсем светло. За окном дымилось, дрожало и сверкало холодное предосеннее утро. Языки тумана расслаивали черный кустарник, и над ветвями, над тяжелой мокрой листвой горело далекое красное солнце. А девочка стояла на коленях возле окна и тыкала пальцем в яркую стеклянную поверхность. Радость и восторг выражало ее лицо. Оно жило каждой крохотной частицей, как бы впитывая в себя этот огненный утренний свет. За окном параллельно ходу поезда низко летел большой самолет — видимо, шел на посадку.

И вдруг я вспомнил, что уже просыпался, причем совсем недавно, может, несколько минут назад, и то светлое, что приснилось, и было это холодное раннее утро.

Да-да, я уже просыпался, медленно, тяжело, так как с вечера долго не мог уснуть, искурился до хрипоты, выходил в Москве, стоял на ночной платформе, удивляясь тому, что вокруг М о с к в а , огромная, со своим хаосом двухэтажных — купеческих, подпирающих небо эмблемами — сталинских, и стеклянно-небоскребных современных зданий; со своими подземными переходами, станциями метро, ГУМом, ЦУМом, монастырями, церквями, проходными дворами, переулками, часами «пик» и рассветными затишьями; с Тверским бульваром, где меня всегда охватывало ощущение ложной памяти, будто в раннем детстве я был здесь, но почему-то зимой — мне даже казалось, что я слышу, как хрустит под моими подошвами снег; со своим миллионным потоком людей, разговорами, спорами, крамолами, театрами, названиями, звуками, запахами!

Томимый смутными предчувствиями, бродил я вдоль вагонов. Что за бесприютная ночь? Зачем Москва? Какое место отведено мне в этой огромной ночи? Вокзал... Специфический железнодорожный запах... Тусклые огни... Редкие голоса проводников... Все странно, все болезненно.

У края платформы лежала пятнадцатикопеечная монета, я не поднял ее, потому что сверху была решка (плохая примета),

разговаривал с пьяным инвалидом и снова бродил по излучающему жирный блеск асфальту, и взгляд притягивали серебряные нити рельсов, и что-то далекое, неясное манило за собой, и так взахлеб, так ненасытно хотелось любви...

А потом я увидел, как пошел мой поезд, и мелькнула шальная мысль остаться, но повинувшись трезвой силе рассудка, я бросился догонять вагон, запрыгивал на ходу, получил от проводницы выговор, наконец забрался на свою верхнюю полку и в жаре и духоте мучился до четырех часов, не зная, чем унять пульсирующие виски.

Да-да, я уже просыпался, я слышал, как мужчина спрашивал у старушки, где находится институт Бехтерева (он делал ударение Бехтерёва). Старушка не знала, но, чтобы что-нибудь ответить, рассказывала о больнице Эрисмана. Но мужчина твердил про Бехтерёва, что только там есть один профессор, который все умеет излечить... Я объяснил ему, как проехать, вернул тяжелый затылок в жаркую яму подушки и вдруг провалился в сон. В одно мгновение он объял меня, погрузив в этот невесомый, воздушный, царственный свет.

Я посмотрел на часы — было двадцать пять седьмого. А когда я объяснял, как доехать, — была четверть. Я спал всего десять минут. Но, странно, голова не болела. Я испытывал то радостное, присущее детству состояние физической легкости и душевной свободы, которое теряешь с годами, как теряешь невинность и веру в бессмертие.

Самолет поворачивал в нашу сторону, но поскольку мы двигались в одном направлении — создавалось впечатление, будто он наплывает боком. Я стал прислушиваться. Мужчина рассказывал. Начала рассказа я не слышал, но из дальнейшего понял: он — плотник, работает на небольшой мебельной фабрике на том полустанке, где они с девочкой сели, а началась история с того, что из фабричной бригады трех человек послали в подшефный колхоз помочь со строительством телятника.

— ...и учитель этот просит: «Пособите забор поставить. Завалился. Нехорошо, чтоб детишки безразличие к запустению наблюдали», — тихо продолжал он. — «Далеко ли?» — интере-



суюсь. — «Семь километров, но мотоцикл имею с коляской. Подвезу». — «А сколько платишь?» — «С деньгами, говорит, плохо. Только пятнадцать рублей. И яблочку могу дать из школьного сада. Сам бы сделал, нутро подорвано». — «Нет, отвечаем, за пятнадцать целковых поищи кого другого». — Стоит он. Глаза грустные, в лице болезнь. — «А ты пацанов запряги, советуем, один леший без дела носят». — «Да какие, говорит, пацаны! Школа до четвертого класса. И весь четвертый — двенадцать душ. А с этой осени в первый — пять человек. Старики вымирают, молодежь в город норовит податься. Кому, сами понимаете, до школы дело?» Мы молчим. Подождал он еще и прочь направился. Потом вдруг: «Все б вам деньги! А без денег помочь души ни у кого не осталось!». Рукой махнул, поковылял. И такая у него спина, знаете... «Ладно, говорю, со сроком не торопи — сделаю». Назавтра прибывает к концу работы. Поехали. Школа! Дом бревенчатый, не обшитый, будка для нужды на дворе, да забор погнивший. Показал он — где чего, начал я столбы ставить. Вдруг замечаю, вьется поблизости эта вот подружка. — Мужчина ласково потрепал девочку по голове. — Вьется, а подойти стесняется. На другой день — опять, и все «Гы!» да «Гы!». Как раз учитель на лавке курил. Спрашиваю: «Что с ней?» — «А вот, отвечает, пример вам на двух ногах ходит доброты нашей человеческой. С бабушкой тут живет. Надя — ее имя. Только она не слышит, не говорит и припадкам подвержена». Рассказал тогда, что дочка это Анфимовой, но и Анфимовой тоже нет. А случилось на том, что мужа Анфимовой посадили, и много сидел. Пока сидел, заезжал один геолог, не то бурят, не то... кто его ведает! — воду искали. Может, с севера откуда. Был, да сплыл. А впоследствии эта чукча появилась и жила себе не мешала до шести годов. Срок отошел, возвращается муж: «Откуда таковая?». А дуреха ему на шею: «Папочка!». Он жену к допросу, напился погорькому, взял топорик и расчет сводить. Заодно и эту — только со страху запряталась, под кроватью нашли, так не напрямую досталось. И против всей медицины выжила. Какая сила над ней заботилась? Потому что все открестились: жить не будет. Ну а чем, спрошу я вас, птаха эта виновата? Ей что

за дело, от кого она! Она родилась — ей жить хочется! Из больницы выписали, требуется интернат специальный, в тех краях нету. Хлопотать надо, бумаги собирать, справки, комиссии... Организаций много. А кто хлопотать будет? Бабка? Она, кроме что имени своего написать не умеет, еще и на эту злыдней глядит: вроде, как из-за нее все. Пробовал учитель, у самого здоровьишко не тянет в приемных высидывать. И осталось. Словно так нужно. «Вот, говорит, мы с вами беседуем, по космосу космонавты летают, а злобности в людях не убывает. Она еще странно, что близко к вам подходит, а так: чужой — с ходу драпать!». Такую рассказал биографию. На другой день купил я ей конфеток — сластись! Смотрит, улыбается, однако, не берет. Положил на бревно, сам делом занялся, приглядываю. Подошла, конфетки взяла и убежала. На другой еще день приезжаю: ждет поодаль. И на то место цветки кладет и черники горсть — мне в подарок. А сама на полста шагов: приму ли? Взял я эти цветки, а они жаркие еще, держат в стебельках тепло, видать, долго ждала, в кулачке зажимала. «Господи! — думаю. — Какая доброта в пичуге обиженной!» — «Ну подойди! — шепчу. — Подарок даришь, так что же боишься?». Не идет. Сердцем стремится, ан... Кто знает? Убита вера. На смерть убита. Пошел тогда к бабушке: «Чем помочь могу?». Сперва не поняла, а потом прояснилась старуха. «Чем, говорит, тут помочь? Калека и есть калека. Что с ней поделаешь? Денег дай, прикуплю из одежды». Вижу, хитрит, себе на гроб собирает. Сам купил: платьице, рейтузы, бантиков. Привез. В крик бабушка: «Не надо нам! Чего пришел! Говорила, деньгами дай! А на что ей платьицы! Ей сапожки нужно! И вообще, коли так понравилась, дак забирай, не велико богатство!». Думаю, куда ж я возьму! Ее лечить надо, уход особый. Что я про это знаю? Жена воспротивится. Своих двое. Сам как бы себя в историю заманил. Прикончил по-быстрому забор, настал с учителем расчет, и собрался он меня на мотоцикле обратно везти. А эта словно учуяла, словно поняла, что с о в с е м теперь. Первый раз за все время подошла. Слезы, ногами топает, тыкает, а глазищи блестящие, не велики, да такое в них отчаяние, такая обида! Я объясняю: мол, не печалься, приеду, ты жди! И по-

катили. Она стоит средь дороги, пылью занавесило, и знаю, что не вернусь. Такая скверна в душе! Столько ее — дышать нечем! Я ж, получается, хуже всех обманул. Я поверить заставил, а теперь: будь здорова! Приехал домой, размышляю так, этак; две недели не лезет еда, сон нейдет. Наконец не выдержал: устрою, думаю, в интернат, навещать буду. Поехал документы оформлять. А бабка-то говорит: «Выкуп давай! Где такое бывало, чтоб внучку отдавать?» — «Сколько, говорю, тебе выкуп?» — «Тышшу!» — и глазом не моргнула. Ах ты, думаю, ведьма! Тебе про бога думать! И схитрил тоже: раз противишься — не возьму! Дверью хлоп, из дома вон! Слышу, с крыльца хрипит: «Постой!». Вернулся. «Дай, говорит, хоть двадцать пять рублей. Все же родиночка! Я за нее в церкви свечку ставить буду». Дал я ей, и поехали с Надюхой комиссии проходить, бумаги искать, в интернат устраиваться. А одна врачиха подсказывает: ее еще вылечить можно, только надо доктора хорошего. В Ленинград надо ехать. Сами, говорит, понимаете, в интернате накормят, напоят, но если родители настойчивые, любящие, если лекарства найти особые — вылечить можно. А в Ленинграде в Бехтерёва институте хороший имеется профессор по этой болезни. Если возьмутся, возможно, шанс есть.

Он вытащил сложенный вчетверо лист школьной тетради, развернул его и бережно протянул мне.

— Очень известный ученый. Может, знаете?

Я взял лист и увидел, что сижу на нижней полке рядом со старушкой, а на столике на газете разложена еда: помидоры, сыр, кусок сала, крутые яйца, хлеб и в отдельном пакетике соль. И в руке у меня кусок хлеба с сыром. Я даже не заметил, как очутился рядом с ними, как они приготавливали еду и угостили меня, потому что у меня ничего с собою не было. Очнувшись, я обнаружил, что погас тот чистый утренний свет, и одновременно с приближением Ленинграда небо затягивало тучами.

Имя было известное.

— Это хороший врач, — сказал я.

— Значит, вылечат! — обрадовался он. — Она ж еще маленькая.

— Ы-шшш! — закричала девочка, с трудом преобразовывая свое «Ы-ыы!» в шипящее «ш».

В окно ударяли сильные прерывистые струи, и стекло, волнуясь и пlying, затягивалось водяной пленкой.

— Дождь. Надюша! Дождь!

«Кому билеты! Белье собирайте!» — послышался голос проводницы, идущей по проходу.

Мы сдали белье, и мужчина стал одевать девочку.

— Вот тебе и Ленинград! — говорил он, сняв с перекладки гольфики и проверяя, сухие ли они.

— Может, вам остановиться негде? — спросила старушка. — Я у зятя теперь... У меня комнатка есть. На Васильевском.

Металлический грохот моста открыл под нами желтую вспененную полосу Обводного канала. Кирпичные стены привокзальных депо, железнодорожные пути, стрелки, линиялы фасады домов, обвисшие красные лозунги, пустые составы... — мы втягивались в железно-каменный лабиринт огромного города.

Мужчина поправил на девочке куртку, набросил на себя рюкзак, попрощался со всеми, и девочка, прижав к себе одну рукой плюшевую лисицу, другой ухватилась за его локоть.

Люди двинулись к выходу, прислонились к окнам, выискивая встречающих. И наконец медленно поползла бело-разноцветная от полиэтиленовых клеенок, зонтов и плащей знакомая ленинградская платформа.

Я шел по асфальту, ощущая дождь и жарь. Я вдыхал эту жарь вместе с влагой дождя и удивлялся тому, что вокруг Ленинград, что сейчас, выйдя из здания вокзала, я ступлю на площадь, увижу Лиговку, Невский. Промелькнувшая ночью Москва, столь близкая и родная в тот момент, осталась далеко позади.

И вдруг я почувствовал, что мне не хватает кого-то. В одно мгновение меня объяло то тревожное ощущение, которое возникает спонтанно, когда сердцу померещится, что где-то далеко от тебя только что умер близкий тебе человек. Я понял: не хватает мужчины и девочки.

Но напрасно бежал я по сверкающей скользкой платформе. Толпа давно поглотила их.

Я остановился под светлой ребристой крышей, сделанной над перроном у самого вокзала.

Густая человечья река, бурная, разноликая, плещущая мимо-летними фразами, устремлялась к выходу, позади шумел дождь, и кто-то, в суতোлке налетев на меня, буркнул:

— Нашел где встать!

### ИЗ ЗЕЛЕННОЙ ТЕТРАДИ

Полюбить свой путь.

Принять свою судьбу.

Даже когда чудовищная несправедливость.

Даже когда от тоски хочется грохнуться на землю и прокричать последним истошным криком: «Не могу больше! Свыше сил моих!».

Кажется, все чужие пути легче моего, все чужие жизни блаполучнее, всем повезло больше, чем мне.

И понять: не мои те пути!

А мой собственный, как бы труден и мучителен ни был, дан только мне одному. Во всей истории человечества нет повтора моего пути, как никогда не было и не будет совершенно такого лица, глаз, звука голоса, какие даны мне. Их нельзя обменять на лучшие — исчезну!

Вопрос «За что?» — бессмыслен. Не потому, что «нет правды на земле, но правды нет и выше». Нам не известно для чего мы рождены, вдруг для того именно, чтобы испытать эту боль и либо преодолеть ее, либо перестать быть.

Жизнь получена в дар.

Никто не знает, почему именно ему выпала трудная доля.

«Господи, сегодня Ты все забрал у меня, а завтра утешусь в Тебе».

Свет может открыться внезапно.

Безнравственно и неблагодарно примерять к себе чужие судьбы, чужую славу и чужую смерть. А мы только тем и зани-

маемся. Откажемся, и великая часть страданий спадет с нас, потому что они не только от собственной беды нашей, но от сознания несправедливости. Безногому легче стало бы переносить свое увечье, если бы все люди на земле вдруг лишились ног, хотя в этом случае они смогли бы помочь ему куда меньше.

Принять судьбу — значит не замахнуться на свою жизнь, не посметь прекратить ее в минуту отчаяния, а через все страдания пройти путь до конца.

Человек приходит в мир не для того, чтобы испытать счастье или несчастье, познать славу или бесславье, стать богатым или нищим, а для того, чтобы пройти в нем свой путь. Путь же не выбирают, он дается от Бога. Путь проходят.

И если я не смогу пройти свой путь «до конца», значит, я так и не сумел постигнуть своего назначения в этой жизни.

Как просто!

Но как трудно принять судьбу, страдая среди здоровых, плача среди счастливых...

### НА ПЕРЕВОЗЕ

Сколько ни пытался я разобраться в этом чувстве, предугадать его, предупредить, наконец, возбудить в себе искусственно, не сравнимое более ни с каким другим, всякий раз оно являлось внезапно. Его приходу предшествовала короткая, сладостно-мучительная прелюдия, и я знал: сейчас! еще секунда! — оно явится. Властная ликующая сила сдавливала мне горло, сердце начинало возбужденно биться, будто ему тесно становилось в груди, и... долгожданный миг наступал. Необъятный простор раскрывался предо мною. Но то был простор не зрительный, ощущаемый глазами, а душевный. Он разверзался, заманивая, как бездна заманивает жаждущего узнать полет. Мое «я» увеличивалось, теряло границы, заполняло этот простор, пока не сливалось с ним воедино. С этого момента не было страха, не было смерти; все, что ни существовало, — было «я» и было вечно. Словно бы вознесенный на недосыгаемую высоту, невесомый, растворенный, я плыл над миром, вбирая его в себя и окутывая собою...

Быть может, подобное испытывает птица, перед которой впервые отворяют дверцу клетки?

Оно всегда являлось внезапно; эта внезапность поражала. Стоял ли я в очереди в тесной городской булочной, или общий вагон пассажирского поезда нес меня через ночь, шагал ли в колонне демонстрантов или мучился от одиночества и дурных предчувствий в холодном номере незнакомой гостиницы, — ослепительное, как молния, оно настигало внезапно, чтобы залить крохотное мгновение моей жизни иным, неподвластным осознанию светом.

Почему же с каждым годом оно является реже? Все острее рисует вышколенное воображение фантастические картины? И почему именно теперь, когда маленький теплоход перевозил меня с одного берега Волги на другой, оно вдруг вспыхнуло во всей полноте?

Оно было — ощущение единения.

На кинешемском перевозе час «пик». Рабочий день закончен; усталый, обвешанный сетками, сумками, чемоданчиками и потрепанными рюкзаками трудящийся люд возвращается в свой тихий Заволжск. Впрочем, то, что находится на противоположном берегу, — хаотично разбросанные домики, лишь у причала собравшиеся в кривую горбатую улицу. Определить, где начинается и кончается Заволжск, переходя в другое географическое наименование, — невозможно.

Маленький речной трамвайчик с буквой «М» на борту, любовно называемый здесь «Эмочкой», пересекает Волгу. Нагрузился он сверх всех пределов и правил безопасности, сидит в воде тяжело, невысоким волнам не поддается, очевидно, чувствуя себя в такой ситуации большим мощным кораблем. Едущие же на нем совершенно не беспокоятся — убеждены: еще столько погрузить — не потонет. Да и как иначе? Ведь это каждодневная «Эмочка». А она выдюжит. И я еду вместе с ними на открытой палубе и, повинувшись их спокойствию, тоже верю.

Кинешемская пристань отходит все дальше, уменьшается в размерах, берег нарастает вширь; белая балюстрада набережной, церковь, косые линии сходящих к воде деревянных лестниц видятся отсюда как на ладони.

Еще спускаясь по одной из этих лестниц, я начал прислушиваться. Не могу ответить, отчего вдруг возникла такая обостренность слуха, помню только, что до того, как она возникла, я бесконечно брел пыльной улицей, фонари которой были украшены пластиковыми цветами, оставшимися от молодежного праздника. И все, что окружало меня: люди, дома, деревья, машины, — было безмолвным.

Я шел к реке. Меня упрямо тянуло к ней, и чем ближе я подходил, тем неудержимее околдовывала мечта сесть на первый отходящий теплоход, чтобы, позабыв все, отдаться ощущению движущейся воды.

Звуки прорезались с какой-то сломанной ступеньки, пропевшей под ногой особенно жалобно. Я остановился и долго смотрел на стертую от тысяч подошв, треснувшую доску, на проглядывающие сквозь крупинки песка полосы срезанных вдоль годовых колец, расходящихся вокруг почерневшего сука, вытянутого заостренной буквой «О». Потом звуковая палитра расширилась: в нее просочились гудки теплоходов, шорохи трав на склоне, ворвалась трескотня мотоцикла, промчавшегося по верху балюстрады. Потом сделались явственными обрывки фраз, шаги, окрики, голоса — и все это как бы выписывалось на фоне звучания самой реки. Я почувствовал, что слышу ее...

И вот маленькая «Эмочка» перевозит меня через Волгу. Равномерно стучит под ногами дизель, отдаваясь в железной палубе мелким, щекочущим ступни дрожанием. Из капитанской рубки разбитая «Спидола» орет «Косил Ясь конюшину...» Две связанные баржи, толкаемые мускулистым буксиром, приближаются к повороту.

«Воробыхэк! Воробыхэк!» — детский голос не выговаривает «ш».

На краешке угловой скамьи, за которой расположена лишь площадка над рулевым устройством и, поникнув, висит на коротком флагштоке линияльный флаг, устроилась вполоборота молодая женщина. Левая ступня у нее чуть вывернута, из-за полукруглого заднего ремешка некогда бывших голубыми, стоптанных босоножек торчит изрезанная пятка. Прижимая к животу, женщина держит сетку с хлебом и зелеными помидо-

рами, пакет пряников... Подле нее примостился мальчик лет пяти в заштопанных аккуратной штопкою колготках, в штанишках и курточке. Глаза у мальчика бархатисто-карие, что-то в них есть коровье; щеки возле губ темны от размазанных слюней.

— Воробыхэк! Мам! Воробыхэк! — выкрикивает он, машинально покусывая пряник.

По площадке, не привычный здесь для глаза, скачет крохотный серый воробей, комично отталкиваясь сразу двумя лапками.

Хлеб, изношенные туфли, аккуратная штопка на колготках мальчика...

Отчего столь простые, не праздничные для зрения детали повседневного полунищенского быта так отчетливо увиделись? Словно каждая из них имела для меня родственную биографию; словно каждая почувствовалась необыкновенно близкою, какою бывает вещь, принадлежащая любимому человеку и хранящая в себе тепло его жизни.

Я помню.

Нева, поздний вечер, дрожащие отражения в лаковой воде... И мосты. Я стою у парапета, запрокинув лицо в черное звездное небо. И меня поражает его огромность. Но мне кажется, что все оно лежит сейчас на моем лице...

— Ну, видишь?

— Н-нет...

— Не прогляди!

— Я внимательно смотрю, папа.

Прикрывая ладонью, как шторкой, глаза, чтобы электрический фонарь набережной не мешал тому неземному сиянию, я смотрю на звезды. Я ищу среди них одну. Она должна пролететь над нами. Еще с утра передавали по радио, что она пролетит, и вот мы пошли смотреть. А вокруг люди, много людей, но я почему-то уверен, что должен увидеть ее первым и всем сказать. Я настолько в этом уверен, я так вглядываюсь в небо, что от звезд у меня рябит в глазах.

— Ты не замерз?

— Нет, папа. Совсем не холодно.

Заботливые руки поднимают воротник моего пальто.

И вдруг я вижу ее. Вот она! Маленькая, сверкающая, неслышно ползущая среди остальных звезд, обгоняя их, оставляя позади себя.

— Ви-и-жу! — ору я звонким писклявым голосом. — Спутник! Спутник летит!

Я тычу в нее пальцем, приподнимаюсь на цыпочки, словно сейчас достану ее... Я же знал, что увижу первым!

Испещренное звездами небо переворачивается; надо мною проплывает лицо отца, фонарь, карниз крыши... Я и не соображаю, что, ошалев от счастья, верчусь волчком. Дыхание невесткой воды, отчетливые шлепки волн о гранитную стенку набережной, восклицания людей — все сливается, становится тише, словно переходит в иную психологическую плоскость, мерцание звезд усиливается, и я чувствую, как расту, расту до этого сумасшедшего, исколотого звездными огнями неба. Вот я уже огромный... И я вдруг понимаю, что меня нет, нет девятилетнего мальчика, одетого в серое осеннее пальтишко, а есть бесконечный мир, который и называется «я». Мускулы мои становятся воздушными; хочется бежать, прыгать, кувыркаться, беситься — столько в невесомом теле энергии. Я живу! Все что ни есть — «я»!

Сон?.. Неужели мною прожитая жизнь?

Но где та легкость, те желания, те сумасшедшие фантазии, для осуществления которых впереди виделось целое будущее?

Я помню.

Одетый в морскую курсантскую форму, я вошел в комнату.

— Все... — тихо проговорила мать, но и на этом коротком слове голос ее успел дрогнуть и переломиться. Я посмотрел в тот угол, где стояла кровать. Отец лежал мертвый. Темные веки были опущены. Чайное полотенце, охватив голову, неприятно прижимало челюсть. Я приблизился к нему, тронул его лоб рукой, поправил редкие седые волосы.

Он был еще теплый, мой отец, но никогда рука моя не забудет того страшного тепла о с т ы в а ю щ е г о человека.

«Мам! Какой смехной! Воробыхэк! Иди сюда! Не бойся!»

Женщина одергивает мальчику куртку, поправляет сломанную пуговицу на хлястике, не удержавшись от рвущейся из нее к этому мальчику нежности, гладит его по стриженной голове, ласкает плечо, тонкую шейку, вылезавшую из ворота курточки, потом, отломив от пряника крошки, бросает воробью, приговаривая: «Вот как вкусно воробышек кушает! Вот как вкусно!» — и, не удержавшись, снова ласкает мальчика.

А горло сдавливает все сильнее, и все яростнее рождается во мне непонятное ощущение счастья...

Кто они? Почему мне так спокойно, так радостно с ними рядом?

Склеывая крошки, воробей скачет дальше, пока не оказывается на узкой полосе борта за сеткой перил. Там у торца боковой скамьи, опустив полные плечи, понурясь, стоит пожилая татарка. Она очень устала за день, вдобавок тяжелые сумки оттягивают руки, а места сесть ей не хватило. Прямоугольные блики на ее пожелтевших глазных белках неподвижны. Поток ветра, подняв, держит над затылком седую прядь.

— Тащится, как на похоронах! Ах, наказание, господи! — твердит татарка сама себе. — Ну, что прискакал? Без тебя тошно!

Вспорхнув, воробей делает короткую дугу, но так как лететь через Волгу ему нет охоты, усаживается на такую же полосу с другой стороны.

— От, ядреная птица! Везде живет! — произносит сидящий на поставленном на попа чемоданчике смуглолицый мужичок, кивая на воробья. — Куда ж ты залетел? Дура!

Поплевав на палец, он склеивает сломанную сигарету, прикуривает и, с удовольствием выпуская дым через ноздри, щурит яркие голубые глаза. Окружающая панорама отражается в них...

Вот оно!

Звуки замирают. Солнечный блеск притушивается. И чудный, неподвластный осознанию свет заливает пространство. Он словно выхватывает самое главное, оставляя в тени все ненужное, лишнее.

...Волга, пристань, мальчик, заштопанные колготки, руки матери, усталое лицо пожилой татарки, яркие голубые глаза мужичка...

«Это было когда-то?..»

А счастье душит меня, хочется взлететь над этой вечерней рекой, хочется закричать всем:

— Я ЛЮБЛЮ ВАС!

Но оно уходит, меркнет, гаснет... Выявляются, выныривают из глубины шлепанье волн, перестук дизеля, голоса... Я поворачиваю голову. Берег совсем близко. Даже видна скособоченная зеленая доска с надписью «Заволжск». Все вокруг обретает реальность: вещи, звуки, запахи. Лишь странный томительный вопрос остается мне на прощанье:

«А может, все еще случится? Если оно живо во мне?».

Подруливая к дебаркадеру, «Эмочка» сбавляет ход. Перерезанная сверкающей рябью плоскость реки разворачивается: баржи и буксир съедаются поворотом...

Почему так дороги мне эти люди? И эти берега, на которых я не родился? И этот маленький городок, в котором никогда раньше не был? Какая связь между мной и ними, видящими меня в первый и, может быть, в последний раз? И не потому ли щемит во мне это тревожно-сладостное чувство родства, что, как и они, я способен к состраданию, что, как и они, подвластен счастью и смерти?

А ранний вечер прозрачен. Дышать в такие минуты наслаждение: зной спал, прохладный воздух напоен тем необъяснимым запахом влаги, дыма и овечьего ветрами поржавевшего металла, каким обладает лишь большая судоходная река. Этот запах будоражит уснувшие детские мечты о пространствах, горизонтах, далеких странах и будущей жизни, и не знаешь, радоваться ли воскресаемым крохам, плакать ли о них?

### ИЗ ЗЕЛеной ТЕТРАДИ

Простые честные люди, вечные трудяги — к ним, сколько я себя помню, тянулась моя душа, словно именно они были та

соль, о которой говорил Христос. Мне всегда чувствовалось, что им известна истина, которая во главе угла. Они не походили на счастливых людей, но когда они принимали меня в свое многочисленное братство, когда доверяли мне какое-нибудь дело так, как доверяли любому из своих членов, я был по-настоящему счастлив. Каждый из них порознь был смертен, но все вместе они были гигантская волна, которая катилась из очень далекого прошлого, из той темной сияющей глубины, края которой наше зрение достичь не может. И как только я чувствовал себя частицей этой волны, малой каплей, воедино слитой с нею, — я жил полным дыханием и страха не знал. Страх смерти появлялся лишь тогда, когда я пытался отделить себя от волны.

Великий из великих, Лев Николаевич Толстой, когда смерть подошла совсем близко, произнес тихо, и не для слушателей, не для потомства, а потому что иначе не смог: «От Тебя пришел, к Тебе и возвращусь. Прими меня, Господи!». Что же может быть значительнее? И проще! А целую жизнь ходил вокруг этой фразы, не желал поверить ее правде, все философские течения изучил. И вот, в результате произнес: «Прими меня, Господи!». Ведь это любая крестьянка знает, за всю жизнь не прочитавшая и двух книг. Зачем же было столько кругов ходить, страдать, мучиться и других мучить? Ведь и то ясно было, и сразу, что «Во многотрудности много печали, а знания умножают скорбь». Зачем же было, зная наперед, все же умножать? Зачем карабкаться, срываться, биться? Ради гордыни своей? Ради того, чтобы все человечество разом ахнуло «Вот каков!». Неужели ради этого аханья? А потом, в конце концов, понять, что как бы безмерно ни был ты велик, даже при всей этой безмерности, даже при том, что все человечество ахнуло, ты всего лишь мельчайшая пылинка, и едва показавшись на горизонте тьма, поспешить скорее за спасением в общий ряд: «От Тебя пришел, к Тебе и возвращусь. Прими меня, Господи!».

Нет, разумеется. И он быстро понял, что любая слава, как бы огромна ни была, — всего лишь искра: вспыхнула и погасла. «Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останет-

ся памяти у тех, которые будут после». Но поверил, что сумеет иную познать истину. И какую работу проделал! Но кто скажет: «Зря!». Кто скажет, что работа была бесполезна? Ведь и эта многотрудная изнурительная работа была предсказана. «Это тяжелое занятие дал Бог сынам своим, чтобы они в нем упражнялись».

Вот и я упражняюсь, совершаю свои круги, мучаюсь, тоскую, вношу нелегкую свою плату за то, что усомнился, не захотел признать, что не я, человек, центр вселенной, а Творец, что я не сам по себе, но тоже сотворен, тоже творение, как муравей, птица, трава...

Вера тем сильнее знания, что она не пользуется доказательствами, они не нужны ей. Доказательства нужны знанию. Никогда не признает разум существования Бога, душа не признает смерть. Вот — грань! И грань эта: сомнение. Ничто с такой силою не ведет человека к вере в Высшее Начало, как сомнение в этом Высшем Начале. И не пустая это работа — совершать мучительные многотрудные круги все вокруг одного и того же «От Тебя пришел, к Тебе и возвращусь».

Я спросил одного человека:

— Как вы думаете, почему роды у женщины проходят в тяжелых страданиях? Ведь это дано ей самой природой, это не противоестественно, не насильственно. Все, что дано человеку самой природой: еда, питье, сон, соитие, — не только безболезненно для него, но приятно ему, доставляет удовольствие. И только акт рождения нового человека сопровождается муками.

Он подумал и неожиданно ответил:

— Для того, чтобы мать любила свое дитя. Ведь она заплатила за его жизнь своим страданием.

## СВЕЧИ

Свечи горели.

Бесчисленные ряды свечей.

Прозрачные от света, с черными иглами фитилей, с блестящими жемчугами упругих колеблющихся огней...

Передо мной сияла сплошная огненная лава.

Вздымаясь и опадая могучими волнами, она двигалась на меня, окружила низенькую мою фигурку, сомкнулась за моей спиной... И я оказался в ее центре.

И я знал, что это не свечи, а человеческие жизни.

Мне было четыре года. Я не понимал цифру «четыре», как не понимал остальных чисел.

И мне было достоверно известно: длинные свечи у тех, кто будет жить долго, — это маленькие дети; короткие у тех, кто скоро умрет, — это старики.

Но я был свободен от понятия «смерти», как был свободен от чисел.

Один, одинокий, я стоял среди миллионов сияющих свечей в холодном, циклопических размеров зале, представлявшем неясный синтез церковного и вокзального помещений, и меня поражали в первую очередь не свечи, а исполинские своды зала, его пустота и объем.

И все же, помню, страстное, непреодолимое желание охватило меня: найти ее!

Зачем?

Ведь я знал наверняка, что она самая длинная, что всегда будет ярко гореть над нею вытянутый кверху сияющий язычок пламени — Я!

---

## ВРЕМЯ И МЫ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛА  
ЗА 15 ЛЕТ ИЗДАНИЯ, С № 1 ПО № 108

На страницах журнала печатались такие выдающиеся современные писатели, как Сол Беллоу, Артур Кестлер, Олдос Хаксли, Эфраим Кишон, А.Б. Иошуа и многие другие.

Среди его авторов — известные писатели современной России и русского зарубежья: Василий Гроссман, Лидия Чуковская, Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Семен Липкин, Инна Лиснянская, Юз Алешковский, Владимир Марамзин, Александр Зиновьев, Аркадий Львов.

В разделе публицистики выступают: Андрей Синявский, Ефим Эткинд, Дора Штурман, Лев Наврозов, Амос Oz, раввин Адин Штейнзальц, Борис Шрагин и др.

С именем журнала «Время и мы» связано появление в русской литературе целого созвездия талантливых имен: Фридриха Горенштейна, Бориса Хазанова, Зиновия Зинника, Юрия Карабчиевского, Феликса Розинера.

Большой популярностью у читателей пользуется раздел «Из прошлого и настоящего», где были опубликованы воспоминания о Бунине, мемуары Марии Иоффе (бывшего секретаря Л. Троцкого), Самуила Микуниса (в прошлом генерального секретаря компартии Израиля), письма Лескова, переписка Николая Милюкова, дневники Ольги Берггольц.

Журнал высоко ценится среди либеральной интеллигенции современной России, откуда редакция постоянно получает письма и рукописи.

Стоимость полного комплекта журнала — 1186 дол.

Для подписчиков — скидка 15%

Тот, кто приобретает комплект журнала, в качестве подарка получает полный комплект книг издательства «Время и мы».

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We  
409 Highwood Avenue,  
Leonia, NJ 07605, USA

---





*Борис НОСИК*

## ОСТРОВ

Весь первый день после приезда она неприкаянно бродила по дому, цепляясь за каждый предмет, который мог бы и должен был бы ее порадовать и разогнать тоску, навеянную поездкой в Ленинград. Конечно, и повод для поездки был не слишком радостный — она ездила хоронить брата. До этого она почти десять лет не была в Союзе... Ну а теперь и вовсе неизвестно, когда поедет, потому что после смерти брата у нее там, в сущности, никого не осталось. Когда-то она не поехала на похороны матери и долго терзалась потом угрызениями совести (хоть и вина была не ее — телеграмма тогда запоздала, да и консульство было закрыто целых два дня, а все же можно было тогда проявить побольше настойчивости), так что теперь, получив телеграмму от невестки, она собралась сразу же, не мешкая, слетала в этот полузабытый Питер и вот уже она снова здесь... Когда-то в таком возвращении после поездки в Союз бывало много прелести: слетав туда, она по-новому глядела на свой со вкусом обставленный дом во вполне рес-

пектабельном парижском предместье, сравнивала его с питерскими квартирами, сравнивала свою жизнь с их жизнью. Две большие разницы, как говорят знатоки русского языка из бойкой новой эмиграции. Да и самая исключительность ее судьбы, перемещение в столь непохожих мирах — все это еще волновало тогда, подумать: еще вчера она была на Сенной, прошлась по Невскому, потолкалась в «Сайгоне», где сегодняшняя молодежь, невзирая на черствые ватрушки, все так же ощущает свою хипповую чужестранность, и вот она уже в аэропорту Руасси, она в Париже, она в своем почти аристократическом предместье — все та же она, Наталья, девочка из Питера, дамочка из Сен-Клу... Ну да, раньше это волновало...

Она решила сгонять в супермарше. Когда-то и первый после возвращения визит в супермарше (как-то их там называют, в Ленинграде, эти пустынные стойла — кажется, универсамы, наподобие универмагов, в которых, видимо, тоже нет ни черта) был приятным: она вертела в руках всякие баночки, пакетики, выбирая, чем бы это себя побаловать в честь возвращения. Хотя в те времена в Ленинграде мама копила к ее приезду и стряпала все самое любимое (что уж и разлюбила давно)... Мама. Снова укололо в сердце. Впрочем, теперь эти уколы уже глуше. А после Колиной смерти будет еще слабей. Хорошо, что мама не пережила Колю, она его так любила...

Хотя машин на стоянке было много, лабиринты огромного супермарше казались пустыми. Наталья вертела в руках пакеты, упаковки, банки, бросала их в корзину на колесиках — может, потом захочется, съем — сейчас ничего не хотелось. Когда же она взяла в руки тоненькую, стеклянную банку с корнишончиками, она ощутила вдруг острый приступ тошноты и сразу вспомнила — так уже было, за столом в Ленинграде, когда она столь неразумно увлеклась венгерскими огурчиками, самый жуткий момент за всю поездку. Вообще поразительно, что она не отравилась там, ведь чего они только не едят. И все жирное. Все сладкое. Все мучное. Неудивительно, что женщины у них стареют раньше времени, раздаются вширь. С другой стороны, выбора там нет, конечно, никакого, не до выбора, ешь, что достал. Она сама видела на яйцах штамп месяч-

ной давности: они ведь не смотрят, наверное, когда покупают. Она показала эти яйца невестке, та пожала плечами и сказала: «Ну и что, они же все равно диетические». И гости при этом как-то косо взглянули на нее, идиоты. Как будто она виновата в том, что у них ни яиц, ни сыру. Вообще, наверное, лучше перечислять, что у них есть, — хватит пальцев одной руки.

...В конце концов Наталья купила фруктов, всяких, всего понемножку, неожиданно взяла сухой колбасы (сколько там разговоров об этой колбасе, в Ленинграде, да и повсюду в России — что уж в ней такого, в колбасе?), купила жареную курицу, а также замороженную пиццу, *тоже, чтоб не возиться...*

Дома она закусила наскоро и без особого аппетита, а потом поднялась наверх, в свой небольшой, но уютный кабинет. Во время недавнего ремонта она особенно много стараний вложила в этот кабинет, и казалось, что вот теперь она начнет здесь работать — читать, писать... Почти вся ее библиотека, во всяком случае, все любимые и все необходимые книги уместились на этих полках — приятно было видеть их вокруг себя, стоящими в таком безупречном порядке в уютной элегантности ее кабинета. Работать она, впрочем, еще не начала... А, собственно, что такое работа?

Раньше, когда Дидье был жив, оба они преподавали в Германии, в университете. Когда он умер, она вернулась в Париж и долгое время даже не начинала поиски преподавательской работы. А когда начала искать, очень скоро убедилась, что такой работы в Париже нет. На счастье, и острой нужды в зарплатке у нее пока не было: были еще кое-какие сбережения, кроме того, она продала их немецкий дом. Здешний же дом, стоявший в парижском предместье, они купили уже давно, сразу после того как поженились. А все-таки жаль — она ведь еще могла работать, ее когда-то очень ценили в Германии, как-никак она была знаток русского языка и литературы, знала европейские языки, могла бы даже писать, в конце концов, — и стихи, и прозу. Ко всему еще она прекрасно читала стихи. Когда-то она еще пела и танцевала, только это уже, пожалуй, в прошлом, да пение ее и не было никогда профессиональным. Вот декламация...

Она купила стереосистему и стала начитывать на кассеты свои любимые стихи. Она сама отбирала лучшие стихи любимых поэтов, и мало-помалу составила недурная антология русской поэзии. Одна дама подала ей идею отнести этот цикл поэзии в русский книжный магазин — оставить там на продажу. Это была прекрасная идея — ведь столько французов изучает русский язык, и для них такая антология будет настоящей находкой.

Наталья отдала на перепись первый десяток кассет своей антологии и понесла их в магазин. Юный продавец русской книжной лавки охладил ее энтузиазм. Он сказал, что десяток кассет ему не продать и за год. К тому же сразу стало ясно, что предприятие это будет филантропическим, так как ей не удастся окупить даже расходы на перепись и на покупку чистых кассет.

Тем не менее она продолжала делать все новые записи. Это было воистину прекрасное занятие — записывать на пленку стихи, а потом слушать свой голос, с волнением читающий великолепные, полновзвучные русские строки. Когда она записывала стихи, у Натальи было такое ощущение, что она их пишет.

Четверть века уже за границей,  
И надеяться стало смешным...

Она давала слушать свои записи двум или трем подругам. Они говорили ей, что это прекрасно, да она и сама это знала. Как жаль все-таки, что это здесь никому не нужно — проклятая страна...

Нет, конечно, надо продолжать, надо работать, несмотря ни на что, в конце концов, не только в заработке смысл работы... Зарботок ей, впрочем, не помешал бы, пусть хоть небольшой, потому что сбережения ее не росли, а таяли. Если так будет продолжаться, думала она иногда, на сколько лет может ей хватить того, что у нее осталось? На десять лет, на пятнадцать? Ну а дальше? К тому же стоимость жизни растет, растут и расходы...

...Наталья опустила в низкое кресло у столика, привычно пробежала глазами по книжной полке, той самой, где у нее

стояли новые, недавно купленные книги. Это вот надо проглядеть — «Святая Русь»... Она вдруг снова почувствовала неудобство, какой-то укол воспоминания и не могла вспомнить, с чем это связано.

— Дискомфорт, — повторяла она, — дискомфорт, — так, будто слово могло не только объяснить ее состояние, но и снять боль.

Все это было как-то связано с ее мучительной поездкой в Ленинград, с похоронами, поминками (что за варварский обычай: тратить огромную кучу денег — это при их-то бедности, — закупать и готовить такую гору еды — это при их-то нехватках — и есть, и пить, и есть, и пить, так, будто покойнику именно это было бы приятно, ему, или кому бы то ни было, кроме, может, совсем чужих людей!). Вот там, на этих поминках, кто-то сказал ей, кажется, это был двоюродный то ли троюродный брат свояченицы, а может, и еще чей-то родственник (поначалу он даже показался ей забавным, этакий огромный плечистый блондин, настоящий русак) — он ей сказал по какому-то поводу: «Да вы-то, какие вы русские? Вы уже не настоящие русские...» Это ей он имел наглость сказать, уж кому-кому, а ей... Она ему неплохо, кажется, ответила, однако он упорствовал и говорил очень громко, может быть, от выпивки, а может, просто поднаторел на собраниях, этакий записной оратор: «Как правильно говорит писатель Василий Белов, право дает только место проживания, а вы там живете, не у нас». Она ответила (и даже, кажется, все засмеялись), вся эта чухна, которая тут у них теперь живет, все эти грузины-евреи, они тогда тоже могут по праву проживания претендовать на истинно русское... Отчего-то все же засело в памяти это его глупое замечание. Любопытно, что как раз об этом они говорили с продавцом книжного, близ храма на рю Дарю, когда она покупала «Святую Русь». Об истинно русском духе. Да уж, продавца-то этого, с его парижским акцентом и с его фамилией, они бы и вовсе там понесли, все эти хамы. Однако если кто-нибудь сегодня и представляет уцелевшую Святую Русь, то это как раз мы, именно здесь, а не в Ленинграде же с его деревенскими жителями, с его колбасно-автомобильными разговорами...

Наталья нажала на клавишу. Она даже не сразу узнала свой собственный голос — так глубоко он звучал и проникновенно:

Мы умираем по порядку,  
Кто поутру, кто вечером...

Что это, вообще, значит — писать? Разве все эти картины и образы, ею переживаемые в уюте своего кабинета, в ночной тишине предместья, нарушаемой только дальним гулом автодороги, — разве это не есть тоже творчество? И разве ее сопереживание всему прекрасному и творцу прекрасного не есть сотворчество? И что пользы умножать книги?.. Кто это говорил? Кто-то такой... Ну да, апостол Павел... Тем более, умножать их здесь, где всего слишком много, в том числе и книг, где так мало читают, к тому же... «И четыре великих княжны... И четыре великих княжны». Красота и томление раздирали ей сердце.

Спать она легла, как всегда, поздно, засыпала с таблетками, сразу и наглухо. Таким же резким было пробуждение. Наталья долго трясла головой, без цели бродя по дому, потом приняла душ. Надо было поехать в банк, справиться о делах. Плохи, наверно, дела, и непонятно, на сколько лет удастся ей растянуть то, что осталось... Экономить и растягивать она не умела.

И все же, несмотря на малоутешительные выкладки, она любила ездить в банк: здесь было так чисто, тихо, красиво, и они все были так предупредительны, эти люди, которые привыкли не удивляться чужим миллионам и всегда были готовы терпеливо выслушать жалобы клиента на дороговизну, на расходы, налоги, правительство ( «О да, это уж слишком!»). Вот и сейчас прекрасно одетый молодой человек — «бэ-сэ-бэ-же», как говорит современная хипня («бон стиль, бон жанр») — минут десять терпеливо слушал ее рассказ о расходах на ремонт, на поездку в Россию (здесь он даже вставил какое-то одобрительное слово, кажется, «горбатщюф»), о борьбе с бессонницей. Потом он ввел ее в курс дела. Если все будет продолжаться так же, ей хватит еще лет на десять, но если даже хоть чуточку сократить расходы, то... Конечно, в другое время он посоветовал бы ей купить акции, но теперь, после недавнего биржевого кризиса и падения доллара, следует, вероятно, по-

дождать — тут она должна решить сама...

Она вышла ободренная и твердо решила сократить расходы. В конце концов, много ли ей нужно? Прежде всего надо прекратить эти долгие телефонные разговоры с подругами, живущими в других городах и странах — уйма уходит денег зазря. Что еще? Да вот, все эти непредвиденные наезды друзей в Париж... Как и большинство русских, они предпочитают жить в гостях, а не в отеле... Если не знать, что хороший отель обойдется в тысячу, а то и две тысячи франков, то можно было бы подумать, что в этих людях просто живы еще воспоминания о русском усадебном гостеприимстве! Да и самой надо быть экономной...

Приняв столь разумное решение, она вдруг зашла в антикварный магазин. Она любила этот маленький магазинчик на рю Жакоб, где как бы в беспорядке, но с таким неподражаемым вкусом, были разбросаны удивительные предметы старинного искусства (похоже, что в те неторопливые времена в каждый предмет обихода мастер вкладывал немалую толику истинного искусства). Сумев отыскать что-нибудь достойное в этом хаосе предметов, Наталья бывала горда собой, и элегантная хозяйка, хорошо ее знавшая, заговорщицки ей подмигивала, одобряя ее вкус: «Это кольцо... Где вы его отыскали? Это — да!». Они были две элегантные женщины из элегантного города Парижа, знающие толк в прекрасных вещах. Потом хозяйка подыскала ей для покупки старомодный футлярчик, настоящее ретро. А потом вдруг сделала ей скидку. Как любимой покупательнице. Может, и пустячную скидку, но такое признание было все же приятно. Тем более, что где-нибудь на Риволи то же самое кольцо обошлось бы раз в пять дороже...

— Вот я и сделала себе подарок, — сказала Наталья с горестно-веселой улыбкой. — Сама себе. С приездом, Наташа!

— С приездом! — сказала хозяйка, и дверной колокольчик прощально звякнул.

Наталья посидела немного в русской чайной на рю Эперон, потом зашла в книжный к Каплану и порылась в русских журналах и книгах. Эти новые эмигранты заполнили прилавки своими изданиями, одно это уже заставляло относиться к ним с

большой сдержанностью. В конце концов, кто они были такие, все эти герои и непризнанные гении? Вот она, например, не была эмигранткой. Она уехала по браку, по большой любви, которой она была верна и теперь, после смерти Дидье. Поэтому она настоящая русская, которая всегда останется верна традициям настоящей русской культуры. А кто эти люди, присвоившие себе право называться русскими?.. Все же она купила пяток журналов и сборник рассказов Лейкина. Лейкина она выбрала потому, что его любила старая эмиграция, ей самой этих рассказов еще не доводилось читать...

Наталья со вздохом выписала чек, вырвала его из чековой книжки и вышла на улицу. Как длинны все же весенние вечера... Она решила поехать в русский ресторан. К Людмиле, конечно. Не в эту же пошлую «Шехерезаду» или в польско-русскую «Анну Каренину» ей ехать, или в какую-нибудь новоявленную «Балалайку» и Бог знает откуда взявшуюся «Матрешку» (русские рестораны растут здесь теперь, как грибы после дождя). «У Людмилы» сохранялась (не переступая рамок бонтонности) русская атмосфера раскованности и лихости — та самая, за которую любит русские рестораны здешняя публика, воспитанная на кинематографическом «а ля рюс» застольном битье бокалов. Путешествуя однажды с Дидье по Союзу (через «Интурист»), Наталья с удивлением отмечала, что в России эта атмосфера сохранялась, пожалуй, только в каких-нибудь тбилисских или, скажем, душанбинских ресторанах... «У Людмилы» мужчины расслабляли узел галстука и вешали пиджак на спинку стула. Здесь можно было поорать и побисировать. Здесь случались необычайные встречи. Наталью в ресторане неплохо знали, и черный цейлонец-гардеробщик в русской косоворотке приветливо улыбнулся ей у входа. Наталья вычитала недавно в какой-то французской газете, что именно цейлонцы осуществляют в Париже самую интенсивную торговлю наркотиками, и с тех пор (несмотря на все ее презрение к наркотикам) добродушный цейлонец в косоворотке был окутан в ее глазах ореолом преступной тайны.

Наталья села за свой привычный столик и одним глазком заглянула в меню — цены не выросли, «блиниз» с икоркой сто-

или все те же сто двадцать франков... Что ж, необязательно с икрой, можно взять за шестьдесят или за восемьдесят, с рыбкой, с вареньем... Наталья подумала, что она одна из многих в зале знает, что это, собственно говоря, и не блины вовсе, то, что они подают в русских ресторанах Парижа, — это всего-навсего оладушки. Но так уж здесь их называли. Откуда это, интересно, пошло — может, от какого-нибудь первого русского ресторана, где еврейская семья из Белоруссии или из Польши делала свои «латкес»? И прижилось. Тем более, что настоящие блины невыгодно схожи по форме с французскими «креп», которые продают на каждом углу (и в десять раз дешевле), да и печь ведь блины хлопотней... В конце концов, в каждой стране свое представление о том, что такое «русское», — где «блиниз», где «сигарет рюс» (сроду их в России никто не видел), где донские папахи и битые бокалы (этаким шикарным жестом, через плечо!), где салат рюс и «пироги русски»... Ах, матушка Россия!

Меню все еще лежало открытым, и Наталья вдруг поняла, что кроме страха перед долгим одиноким вечером ее пригнал сюда этот призрак предстоящей экономии, собственное ее решение сократить расходы. Вот тогда уж у Людмилы сидеть не будешь... Во всяком случае, не часто, так что пока... И она заказала «блиниз» с икоркой.

Уютный зал рестораника, между тем, заполняли посетители. Попадались и знакомые лица. Сама Людмила подошла поздороваться с Натальей, и это ей было приятно. Еще и потому, что Людмила нравилась Наталье — за умение сохранять вполне приличный вид в ее очень уже преклонные годы, за умение одеваться, даже за лихую дерзость ее косметики. И, конечно, за ее пение. Людмила знала какие-то очень сентиментальные романсы (иногда она пела их с французским переводом), которых Наталье до того даже не доводилось слышать. Бог знает, в каких уголках земного шара были они придуманы — может, в Харбине, а может, и в Буэнос-Айресе, во всяком случае, не в Москве, не в Казани и не в Козлове. И не на нынешнем нью-йоркском Брайтон Бич, хотя ведь и там иногда рождаются теперь «русские» шедевры — вот хотя бы это, про

поручика Голицына и корнета Оболенского: «Не па-адайте духом, поручик Голицын...» Может, все же где-нибудь в довоенном еще Инкермане, во Владикавказе, в Ревеле...

Одинокий француз попросил разрешения сесть за ее столик. Ради Бога... Потом подсел еще молодой русский пианист из Ленинграда.

— Будете играть? — спросила его Наталья.

— Не знаю... — он кокетливо пожал плечами. — Выдался свободный вечер, шел мимо — зашел...

Наталья вспомнила старую пародию на телевизионный репортаж: «А вот как удачно — в кустах случайно оказался рояль». Впрочем, молодой пианист был на фоне новой эмиграции еще не худший из людей. И, судя по всему, жалеет уже — читает все, вплоть до «Правды», изучает перестройку и гласность... Будет играть, конечно, куда он денется? Людмила даром кормить не станет, деловая женщина. Где-то он даже концертировал в свое время в России. Впрочем, говорит, что и теперь где-то выступает, как знать?

Наталья вдруг почувствовала дурноту... Когда она очнулась, все еще плыло и покачивалось у нее перед глазами. Пианист исчез. У француза было испуганное лицо.

— Вам уже лучше? — спросил он. — Выпейте воды.

— Нет, нет, ничего... — проговорила она с трудом.

— Отдохните еще немножко и я вас подвезу... Вы с машиной?

— Без.

— Это хорошо... Вам все равно было бы нельзя вести в таком состоянии...

— Я вам испортила вечер, — сказала Наталья.

— Ничего, ничего... Отдыхайте. И не надо говорить... Скоро мы поедем.

«Среди них тоже попадают хорошие люди», — подумала Наталья. Потом спохватилась: «Что значит — попадаются? А Дидье? Лучший из людей...»

Потом она почувствовала, что может идти. Порция блинов с икрой стояла нетронутой. Француз, кажется, все-таки доел свой борщ, несмотря на невзгоды. Маленький цейлонец подал ей сумку, и они вышли.

Француза звали Жерар. Он был представителем чего-то, какой-то фирмы, продавал что-то замороженное или замораживающее, очень ходовой товар, значит, на жизнь хватает.

Он довез ее, помог войти в дом и даже довел до кушетки. Потом он все-таки стал собираться. С утра ему надо было что-то продавать, кого-то уговаривать, что-то замораживать. Вот такая жизнь. Еще б тут не обледенела душа...

— Я ваша должница, — сказала ему на прощанье Наталья. — За мною блины с икрой. Икру я только что привезла из Ленинграда.

— О да, я слышал об этом, — сказал он.

Он слышал о русской икре. О чем он еще слышал — о гласности, о перестройке, о Сахарове? Он обещал позвонить — справиться о ее здоровье.

Она осталась наедине со своим страхом. Что это было с ней? А может, все-таки ничего особенного не произошло? Просто съела что-нибудь такое — там, здесь? «Бывает», — сказал Жерар. Да, бывает. Вон с Дидье было, его уже нет. И брата нет. Но брат жил там, разве можно сравнивать условия их жизни? Нет, нет, обойдется, должно обойтись...

Назавтра ее навестила русская подруга, ленинградская редакторша, которая только недавно поселилась в Париже и кормилась здесь грошовой работой в каком-то русском издании — то ли корректурой, то ли уборкой помещения.

Они поговорили немного о Святой Руси и гибели императорской фамилии. Ясно, что гибель эта была бесповоротной, утрата невозполнимой. У Святой Руси нет будущего. У подруги, кажется, тоже...

— Но у тебя все будет в порядке, — сказала подруга. — Ты просто переутомилась. Я, например, даже не представляю, как я могла бы хоть на день вернуться в Ленинград...

Она задумалась и подтвердила:

— Нет, нет... Просто не представляю... А тебе просто нужно как следует отдохнуть. Посидеть дома — или еще лучше поехать в дом отдыха. Как они тут называются?

— По-разному...

Жерар побывал у нее как-то вечером в конце недели. Она

чувствовала себя гораздо лучше и смогла приготовить для него борщ и «блиниз» с икрой. Для полного «амбьянс рюс», то бишь, русской атмосферы, она поставила какую-то кассету с цыганщиной, не московской даже, а здешней, самой что ни на есть кабацкой. Он, кажется, не ожидал такого приема, да и дом, судя по всему, произвел на него хорошее впечатление.

Жерар спросил, как ее здоровье, и она объяснила, что она, конечно, нуждается в отдыхе. Тогда он сказал, что настоящий отдых может быть только на острове. Что касается его самого, то он все заработанные деньги (ну, почти все) тратит на острова. В мире так много прекрасных островов, всех, конечно, не объездить, но он уже побывал на Азорских, Канарских, Соломоновых, был на острове Мэн и на Гебридах, на Мадагаскаре, на Фиджи, на Бали, на Стромболи, на Черней, на Эльбе... Перечисление было еще долгим, однако не утомительным, названия островов звучали заманчиво.

— Остров... А почему остров? — спросила Наталья растерянно.

Несмотря на продолжительную жизнь на Западе, она все еще не могла окончательно привыкнуть к ходу здешней мысли и здешней ахинеи. Наша русская ахинея была также непредсказуема и абсурдна, но у нее были свои накатанные, известные нам пути, а здесь...

— Остров, — сказал Жерар, — это последняя попытка отгородить себя от других, создать замкнутый круг на этом разломанном мире. Попытка отстоять необщность культуры, сохранить необщее выражение лица — этим меня волнует остров. Представьте — к 92 году исчезнут границы Европы, недолго осталось ждать, и, может, оттого всеми народами Европы, как, впрочем, и всеми народами мира, владеет сейчас жажда разъединения. Каждая нация, группа, племя, наконец, род намечает для себя новые, незримые границы. Идет новое огораживание, всесветное огораживание душ... Так вот, остров — это идеал, символ...

Она подумала, что, может, это было не глупей и не абсурдней всего, что она слышала за последнее время, но, конечно, лучше было бы, если бы он просто сейчас протянул руку к ее

груди (в своем черном свитерке она сегодня, право же, не так плохо выглядела). Речь шла, может быть, даже не о сексе, просто о протянутой руке. Ну и о груди, конечно, тоже...

Однако он будто и не замечал свою собеседницу (а еще говорят о европейской способности к диалогу, где ж она?). Наталья же слушала невнимательно и даже не заметила, когда он перешел к политике (а может, они тут всегда говорят о политике?). Он говорил теперь об этом грубияне, министре внутренних дел по имени Пасква (кажется, прямо от острова Пасхи он и перешел к министру). Да, конечно, это отрицательный персонаж, но он сейчас совсем неплохо прижал Ле Пена с его развязным заявлением по поводу газовых камер...

О боже, что они дались им, все эти лепены, все эти министры? Неужели им до сих пор еще не все равно, кого они выберут и кто что скажет по телевидению, кто что напишет... Нет, русские определенно умней, в этом хотя бы смысле, им все до фени, до лампочки, и если какой-нибудь деревенский дурак рассуждает о политике, как тот мужик у Шукшина, так на то он и есть дурак, и это все рассказано для смеху. Но как переведешь ему Шукшина? Что он поймет?

Жерар все же догадался в конце концов, что он не во французской компании. Так что он завязал с политикой, и они поговорили чуть-чуть о любви и одиночестве. Потом он все же протянул руку, а в конце концов остался у нее ночевать. Однако от предложения дать ему ключ от дверей отказался, боялся, видно, брать на себя какие бы то ни было обязательства. Вообще, он оказался просвещенней, чем она думала. Он знал не только имя Сахарова, но слышал также про загадочную славянскую душу («ам злав»), про Тургенева и про «тургеньевскую женщину». Было время, они тут все женились на загадочных тургеньевских женщинах — и Пикассо, и Арагон, и Дали, и Роллан, и Леже... Впрочем, Жерар был скромного мнения о своих возможностях и потребностях: то, что по зубам Пикассо, того не осилит скромный морозильщик...

Потом выдался один неплохой день и было два дня изнурительной слабости, в результате которых определились две как-то вполне приемлемые, связанные между собой идеи —

отдых и остров. Отбор происходил в телефонных разговорах, в том числе и междугородних. Сперва отсеялась Корсика, потом другие, еще более дальние. Из двух островов: Иль де Ре и Олерон — оба на Атлантике и совсем близко — она в конце концов выбрала Олерон, может, за благозвучие.

Когда выбор был наконец сделан, сразу началась спешка и нервотрепка — узнать расписание, выбрать способ передвижения. Сборы. Хотя, казалось бы, спешить ей было некуда, а все же, раз уж решено ехать, то надо решать — когда, как. Потом собрать вещи, приготовить дом к отъезду...

\* \* \*

В день приезда ей все не нравилось на острове. И окружающий пейзаж, и те полдома, которые она сняла (вовсе не так дешево) на краю деревушки, вернее даже, между двумя деревушками, недалеко от моря. Не понравилось и то, что остров соединен с материком длинным легким мостом (уже как бы и не остров). Не понравилось и то, что поутру кто-то заводил у нее под окнами машину (вдруг это будет продолжаться каждое утро?). Кафе, в котором она завтракала, было как две капли воды похоже на кафе у них в предместье — стоило ли забираться в такую даль, на Атлантику, за полтыщи километров от Парижа? И главное, у нее вдруг появилось сомнение в том, что это простая усталость, что ей достаточно будет отдохнуть... А вдруг это не усталость, а что-нибудь другое?..

Так же тревожно провела она и второй день на острове, однако на третий она вдруг почувствовала себя лучше и отважилась совершить дальнюю прогулку через какие-то засоленные пустоши, изрытые каналами и прудами. Ей сказали, что в этих прудах когда-то выпаривали соль. Теперь одни из них были заброшены, а в других разводили моллюсков, устриц и рыб. И пахло повсюду рыбой, солью, полынью, морем...

Аисты нехотя взлетали с заболоченных прудиков, волоча за собой ноги. Земля белела от соляного налета и лишь иногда, точно посланница другой, более благодатной, земли, среди этой протестантской скудости вдруг поднималась роскошная

пиния... Протестантской, ну да, конечно, — это она уже сама припомнила: здесь ведь, как и по всему берегу к югу от Лярошели, жили протестанты, гугеноты, те самые, которых резали в Варфоломеевскую ночь и против которых так доблестно сражались Атос, Портос, Арамис и юный карьерист Д'Артаньян... Это было, конечно, не парижское, а ленинградское, еще школьное воспоминание. В этих же местах томилась в ссылке Алиenor Аквитанская...

Мало-помалу Наталья забыла, что мост соединил их с французским материком. Могучие стены форта в Бойярде (может, даже не такого уж древнего и никогда не служившего своей грозной цели) все же напоминали о каких-то романтических сражениях, а по-южному беленый дом с зелеными ставнями, где жил некогда сочинитель экзотических романов, точно намекал на ее, Натальину, причастность к тайнам этого острова и литературе.

Океанский берег был подчинен неумолимому ходу времени. В часы, точно обозначенные в расписании на стене местной булочной, океан вдруг уходил, выпрастывая огромные просторы убитого, мокрого песка, по которому так приятно было бродить босиком. Печально мелели каналы, обнажая ил и грязь, в которую погружались опрятные лодчонки и белые яхты. А потом потихоньку, исподволь начинался прилив — исчезало танцевальное пространство прибитого песка; чаша наполнялась до краев, до прогретых дюн; яхты гордо красовались на воде... Главное было — никуда не спешить и верить, что вода вернется — океан учил терпению.

Еще через день она решила пойти на дальний пляж — Сомонар. Это была длинная полоса песчаных дюн, отороченных сосновым лесом. В пору отлива из воды выступали столбы, облепленные моллюсками, — это был один из олеронских промыслов. Пляж был натюрлистский, для тех, кто обнаженную натуру предпочитал фиговым листкам синтетических плавок. Семьи, парочки и гордые одиночки ходили, сидели, купались, читали и закусывали здесь совершенно голые и, по всей видимости, уже не замечали этого уравнения в правах с прародителями, еще не совершившими первородного греха. Освоив-

шись немного, Наталья тоже освободилась от трусиков и почувствовала себя молодой и прекрасной. Потом она огляделась и отметила, что француженки сильно выигрывают от своей наготы. У большинства из них была большая, великолепной формы грудь. Неудивительно, что в прошлом столетии, когда длинноносость не портила, вероятно, женского лица, они пользовались на Руси таким шумным успехом. Может, даже и самые эстетические мерки приходили отсюда. Откуда же тогда пришла эта слабость к курносеньким простушкам? Неужто из американских фильмов?..

Что-то сверкнуло на дюнах среди сосен, и, приглядевшись внимательнее, Наталья различила мужчину. Он был в костюме, кажется, даже при галстучке, и он внимательно разглядывал пляж в подзорную трубу. Преодолев побуждение прикрыть интимную часть тела ладонями, Наталья подумала, что это довольно странное занятие — подглядывать в подзорную трубу. Ведь мужчина этот может преспокойно спуститься вниз, на пляж и расхаживать здесь среди голых. Для этого ему даже не нужно раздеваться самому... Почему же он все-таки этого не делает?.. Наталье пришло в голову, что так, издали, через стеклышко старинной трубы, да еще тайно, из укрытия — все выглядит интересней и привлекательней. Может, и красивей тоже — в медном обрамлении, расплывчато, в дымке, с отсветами солнечных лучей на стекле... Так же, как Россия в здешних романах и фильмах, в рамочке литературной традиции, в размывах памяти, с отблеском старых эмоций, с неразборчивостью деталей — много привлекательней, чем в ясном свете реальности, лицом к лицу... Наша Святая Русь... Все еще святая?

Наталья раскрыла эмигрантский журнал. Опять новый, такого ей еще и не приходилось видеть. Она полистала его, впрочем, без особого любопытства, искала знакомые фамилии, потом начала читать. У нее вообще было ревнивое отношение ко всему напечатанному, да и ко всей современной литературе — как бывает у людей, которые хотели бы печататься, однако так и не отважились пуститься в эту утомительную тяготию, а порой не собрались даже и записать все, что празднично витает у них в мыслях. Даже если отвлечься от вечных



склок, борьбы амбиций, от печатно выраженных обид в эмигрантских журналах, чтение их было занятием утомительным, ибо журналы эти настойчиво требовали от вас сочувствия к тем, кто жил в России, — так, словно те, кто с большим или меньшим трудом сумел пристроиться здесь, давно обрели тем самым полное довольство и счастье и более в сочувствии не нуждались. Журналы эти с таким постоянством критиковали бывшее и нынешнее русское неустройство, словно для авторов, людей, уже много лет проживших за границей, одно это неустройство и было на свете важно. Это раздражало, поскольку нетрудно было догадаться, что всех этих людей, подобно их французским и американским коллегам, главным образом занимают неустройства французские или, скажем, даже американские. Видимо, таковы были правила игры (иначе — условия издания). Хотя все пишущие отлично понимали, что читать их будут все-таки здешние друзья и поклонники, а также скукающая дама (как сказал бы классик, «скукающая героиня») из парижского предместья (у одесской мадам с Брайтон Бич не найдется на это времени), обращались они все к той же жаждущей знаний советской аудитории, которая и самое-то название этого журнала услышит (вместе с бранью) от дотошного обозревателя московской «Литгазеты», имеющего доступ в спецхран...

Наталья со вздохом закрыла дорогостоящий русский журнал и обратилась к недорогим, но столь утешительно-кровавым книжкам Сименона. «Непонятно, — подумала она, — отчего так утешительно читать про все эти чужие драмы? Может, оттого что и на этот раз убили опять не тебя?»

Солнце стало опускаться, и Наталья пошла домой через нагретый за день пахучий сосновый лес.

Она рано поужинала и, проспав час или два, вышла погулять по ближайшему городку (здесь их называли деревнями, но для нее до сих пор эта веселая роскошь ресторанов, магазинов, набережных и отелей никак не вязалась с русским понятием о деревне).

Выйдя из проулка к Порту де Плезанс, элегантно заводи, где стояли яхты, Наталья не стала пересекать мост и присела

на скамейку под деревьями. Здесь, на этой стороне, было пустынно и тихо, а на той стороне, за мачтами яхт, горел огнями корабельный магазин, светились окнами кафе и пиццерия, играл ресторанный оркестр. Слушать и наблюдать все это было лучше издали...

Оркестр заиграл вдруг что-то очень знакомое и томительное, и Наталья пыталась вспомнить, где это с ней уже было — то ли эта музыка, то ли это самое настроение, то ли вообще все это... Может, на танцверанде в Репине, где она познакомилась со своим первым мужем? А может, уже позднее, в Венеции, в ресторане, у дворца дожей, где оркестр вечно играет какую-нибудь ретруху. Там оба они любили бывать, и она, и Дидье, и там тоже ей было хорошо. Как в Репине... Она вдруг поняла, что дело даже не в самом месте или в названии, а в том, как нам было, — оттого они и вспоминаются, все эти места, где было нам хорошо... Так может, и самая это наша ностальгия — это просто тоска по тому времени и по тем местам, где было нам хорошо?

Репино... Ха, да знает ли тут кто-нибудь на целом острове, что она из Репино? Знают ли, где это Репино и кто такой Репин? Она усмехнулась... Это что же, и есть то пленительное ощущение тайны, которое таскал за собой по Европе юный герой Набокова? Нет, конечно, у тех эмигрантов эта болезнь ностальгии была сильнее, пронзительней: увидеть и умереть — мечтали они. А она вот съездила, она поглядела еще раз...

Ей больше не хотелось идти на общий пляж, пусть и не слишком людный, а все ж обитаемый, и оттого с утра она отыскала глухой уголок побережья, куда вряд ли занесло бы хоть одну живую душу, уголок между морем, свалкой и стойбищем старых, то ли поставленных сюда на ремонт, то ли вовсе ненужных судов. Она подумала, что наше представление о глухих уголках планеты меняется: в лесу и на песчаной полосе побережья теперь безлюдья ждать не приходится, зато в этой полосе отчуждения оно отыскалось. Земля тут была иссохшая, и все же кое-где попадались цветы и кустарники, и серые кролики бесстрашно резвились на безлюдье, и птиц было множество.

Наталья долго бродила между морем и свалкой, потом, утомившись, выбрала на берегу уголок почище и села читать письма Чехова.

Это были письма той поры, когда он уже сильно болел, жил то в Ницце, то в Баденвейлере и вечно чувствовал себя покинутым этой кобылой-актрисой (он называл ее, впрочем, лошадка, пусть будет лошадка). Наталья наткнулась на письмо, в котором он восхищался Золя и благородством французской интеллигенции, бескорыстно вступавшейся за невинного Дрейфуса, потом на письмо, в котором он расспрашивал про паромный маршрут Кука, чтоб плыть назад в Россию. Маршрут ему, впрочем, не понадобился, потому что он умер еще до возвращения, на том же курорте... Ну хорошо хоть, что расспрашивал, значит, не предчувствовал...

Наталья закрыла книжку, прилегла на вытянутую руку и стала смотреть вдоль песчаной полосы. Сперва видела какие-то черточки на мокром песке. Ракушки. Камни... Потом увидела чьи-то сапоги с подвернутыми голенищами и длинную удочку, чертившую след по песку... Сапоги вдруг встали в нескольких шагах от нее, и мужской голос сказал — она даже не поняла вначале, что это был реальный голос, а не продолжение ее разговора с собой, — сказал совершенно чисто по-русски:

— Вы меня простите, если я ошибся... Ну да, стало быть, пардоне муа... Но я сильно дальнорский, и мне показалось, что на обложке там по-русски написано — Чехов. Это что ж, вы, значит, по-русски читаете?

Она быстро подняла голову, потом села. Сапоги принадлежали невысокому, аккуратному старику с удочкой и с ведерком. Она сказала:

— Да, по-русски. Я русская, и вы, я вижу — как это ни удивительно. Я из Ленинграда, из Питера...

— Да уж, действительно, можно сказать... Я-то не из Питера, но были мы там, были с отцом... Только когда ж это было, не упомню. Да ведь и когда я по-русски в последний раз говорил, тоже не упомню.

— Садитесь, — сказала Наталья. — Или я встану.

— Лежите, что ж, отдыхайте, я сяду.

Он ловко перевернул ведро и присел на него.

— Лет двадцать не говорил, это точно. Вот как на этом острове поселился, с тех пор и не говорил... А видишь, не забыл все же.

— Разве забывается... — сказала Наталья с серьезностью.

Она разглядывала старика — толстый, красный уже, нос картошкой, глаза-щелочки, выражение лица от этого лукавое, но добродушное. Конечно, если бы не заговорил, сроду б не признала бы в нем русского, но теперь видела, что нельзя не признать. Хотя, честно говоря, и немецкий старик, и голландский, и французский выглядят так же, а все же ей казалось теперь...

— Значит, вы из первой эмиграции, из настоящей, — сказала Наталья.

— Из самой что ни на есть. Родители увезли, а им уж податься было некуда, отец — офицер... Да-а-а... Ну и что же он пишет, Антон Палыч? Что хорошая, мол, наступит жизнь лет через пятьдесят?

— Конечно, — Наталья усмехнулась, отметив, что у старика есть и чувство юмора и кое-какие познания. — Надеется на прогресс, восхищается дрейфурсарами...

— Да, да... — кивнул старик, без особого стеснения потирая поясницу. — За что боролись, на то и напоролись. И Дрейфус нам свой боком вышел...

— Вот именно, — оживилась Наталья. Старик был свой в доску, одно слово — первая эмиграция.

Он вдруг встал и снова потер поясницу.

— Стоять плохо, сидеть плохо, лежать хуже, — сказал он. — Что делать? Остается все время менять положение тела. К тому же ходить, оно и полезнее.

— Я вас провожу, — сказала Наталья, поспешно кидая в сумку очки, полотенце, брюки, рубашонку и томик Чехова.

Они пошли рядом вдоль кромки океана, усыпанной раковинами моллюсков и устриц, отмытыми добела, до дыр. Потом прошли вдоль длинной улицы пустующих вилл.

— Вот так вот, — сказал старик. — Дома стоят пустые. Хозяева в Париже, зарабатывают на покупку нового дома... За-

то им приятно — стоит дом, пустой, но свой. Когда захотел — приехал. Только приехать чаще всего уже некогда...

— И все-таки это красиво, — сказала Наталья. — Роскошно, пустынно. Нет толпы... — и добавила: «Люблю богатых!».

На Цветаеву старик никак не откликнулся, и Наталья тут же вспомнила все ранние и поздние грехи Марины Ивановны перед эмиграцией. Что ж, он прав.

Они вышли к прогулочному порту, к той самой вчерашней ее скамейке, и присели отдохнуть. Через сетку мачт снова доносилась музыка, теперь это была какая-то запись. Наталье удалось разобрать варварски произносимые имя и отчество — да, именно так — Владимир Ильич. «Владимир Ильич, — пел битовый певец по-французски. — Приди на землю и погляди, как нерадиво исполняют твои заветы и какой у нас тут бардак».

— Это еще что? — спросила она изумленно.

— Это ихний знаменитый певец, — оживился старик, снова со вкусом потиравший поясницу. — Мишель Сарду называется. Он у них тут сперва какой-то фашист был, а теперь вот заклиняет дух. Что ж, они тоже свой путь должны пройти. Но к чему они придут, боюсь, мы уже не увидим... Да и не жаль. Я-то много такого помню, чего и во сне не приснится.

— Просто поразительно, — сказала Наталья. — Что же, ваш опыт, наш уникальнейший опыт не может служить ничему?..

Старик смотрел на нее с любопытством, молчал.

Потом заговорил неторопливо:

— Вот после той войны, после Первой, которая у нас-то забыта, а им тут никак не забыть, не в пример второй, так вот после Первой тут в Европе был страшный грипп, людей унес видимо-невидимо, как война. А к тридцатому году, когда уж народ был сильно от этого ослабевший, — новая беда, летаргический энцефалит. Знаете, когда человек умер — не умер, а в непробудном сне — в летаргическом.

— Слышала... — кивнула Наталья.

— Так что вот спали, кому было где спать, и двадцать лет спали иные, и тридцать, и Вторую войну проспали — только позавидовать можно... А в конце шестидесятых годов ученый один, Сакс его звали, он лекарство изобрел, Допа-эль, чтобы

им будить спящих... И вот тут-то началось. Они в такие глубины погружались эти разбуженные — во времена фараонов и дальше... Так вот и вы вроде того Сакса... Это все давно для меня уснуло — все эти русские споры-страсти. А теперь вдруг вспоминается во всех подробностях, всплывает из египетской тьмы.

Наталья не поняла, были ли эти его слова выражением неудовольствия или просто размышлением, попыткой понять свое собственное состояние.

— Извините, — сказала она на всякий случай. — Как у нас один шутник говорил в Детском, пардон, в Царском селе, в дом-отдыхе: «Извините за компанию». Я, между прочим, снимаю полдома вон там, видите крышу? Если вы будете свободны... — Нет уж, лучше вы ко мне заходите, — сказал старик. — У меня есть настоящий самовар, чай будем пить. Я вам не представился — Силуянов Василий Маркович. А вас?

— Гренье, по мужу. Наталья.

Он откланялся. Ушел. Наталья сидела и думала о том, какие невероятные вещи с ней все-таки случаются. Только с ней может быть такое: Робинзон и Пятница встречаются на острове — и оба русские. Это ж надо — за полтыщи километров от Парижа, на каком-то острове...

Она увидела автомат возле стоянки автомашин на той стороне порта, подошла, набрала парижский номер. Подруги дома не было, она в поте лица добывала свой хлеб. Да, перво-родный грех все-таки имел место, и райский пляж Сомонар не отменял проклятий... «Я что же, я тоже потрудились на своем веку», — подумала Наталья. Впрочем, университетские годы в Германии вспоминались ей безоблачными: ее так любили студенты. И был Дидье. Она подумала, что можно набрать ленинградский телефон. Но звонить было больше некому. Да и расходы...

Она дошла до пиццерии, села за столик и, сделав заказ, вспомнила русского старика. Двадцать лет он проходил мимо этой пиццерии, видел хозяина-итальянца, видел туристов — голландцев, немцев, французов и ни разу не видел ни одного русского лица — это просто невероятно...

Внезапно она ощутила слабость и тошноту. Неужто все начинается снова? Нет, просто она переутомилась вчера — нельзя было идти на пляж. Сегодня она отлежится, а завтра пойдет в гости к красноносому земляку — как его? — Василь Маркычу...

Вечер она провела в какой-то странной полудреме. Проснувшись ночью, снова читала письма Чехова и удивлялась его розовой наивности, его оптимизму. Потом вдруг вспомнила, что он писал это незадолго до смерти. Неужели он не догадывался? Ей вспомнился последний фильм Тарковского, мучительный, как агония. Этот, наверно, все знал. Какой замечательный художник. Только все же не надо ему было нашего Рублева — это уж наши дела...

Назавтра она пошла в гости к старичку — как и звал, звал к чаю — к четырем часам. По дороге она купила пирожных в булочной.

Старик суетился, заваривал чай, стелил чистую скатерку (сам ведь, небось, стирает). Домишко у него был маленький, трехкомнатный, с небольшим садом и цветником. Одну комнату он сдавал отдыхающим.

Наталья внимательно осмотрела его гостиную. Никаких русских предметов. На стене большая фотография какой-то женщины, видимо, покойная жена. Хорошее русское лицо.

Наталья принесла ему почитать русские журналы и заранее за них извинилась — все это последняя эмиграция, еврейская и диссидентская, а стало быть, склоки, споры, в общем, не надо слишком доверять их ностальгии, по-настоящему, духом они этого ощутить не могут. Духом...

— Это да. да. — соглашался Василий Маркович. — Вам с молоком или без? Это конечно. Хотя, конечно, тоже, всякого тянет на родное пепелище, где родился, там и пригодился. Меня в тридцать шестом в Марокко доктор один лечил, из петербургских евреев. В кафе мы с ним познакомились случайно, в Фесе, мятный чай пили рядышком, сладкий-пресладкий... Ну вот я возьми и скажи что-то по-русски, уж не помню чего — то ли «тьфу», то ли еще чего, а он так обрадовался, как будто я его одарил чем.

«Идемте, говорит, ко мне, я только вчера новый самовар купил, тульский, попьем от души, не эту гадость...» Там их, этих русских самоваров в Марокко пруд пруди... Потом уж, когда я приболел, он же меня и лечил, бесплатно. Там их, между прочим, целая улица была евреев в Фесе, главная улица, до самой Медины идет, но то были сефарды, чего ему с ними было — у них язык другой, обычай и чай, и судьба, и книги другие. Он-то петербургский был столичный либерал, да и потом — в русском рассеянии, в русской диаспоре, он себя таким и чувствовал...

— Вы, значит, и в Марокко были? — спросила Наталья, чувствуя, что она теряет нить его мысли.

— Э-э-э, золотая моя! Где мы только не были! Только, может, в брюхе у кита не были. И в Турции, и в Греции, и в Марокко, и в Алжире... А брат у меня в Венесуэле жил, потом в Канаде, потом в Мексике, а похоронен в Аргентине — это все теперь русские места. Жену он себе привез из Австралии, тоже русскую.

— А это, на фотографии, ваша жена? Конечно русская?

— Нет, эта француженка. У меня первая была русская, но давно не имею известий, лет уже пятьдесят. Тоже, скорей всего, уже там...

— Так вот вы и живете, кругом одни французы...

— А что? У нас отношения добрые. Они мой французский хорошо понимают... Юмор мой не всегда понимают, так ведь и меня их шутки не больно смешат. У меня вон там сосед-пенсционер, так я как что-нибудь скажу в шутку, он мне сразу: мон шер Базиль, разве можно этакое сказать про себя? А над кем тогда и пошутить, как не над самим собой?

— Автоирония? — с сомнением проговорила Наталья. — А я вот с трудом приживаюсь во французской среде. Хотя муж мой был француз, редкий человек, удивительный человек, широкой души... Но в целом, знаете, — их практицизм, их скаредность...

— Вот и у меня так же, — сказал Василий Маркович. — Первая, по молодости, русская была жена. Она от меня в Марокко ушла. К другому. Я так считал, что из корысти. Время пона-

чалу выдалось трудное... А вторая за меня вышла из бескорыстия. Француженка. Наполовину бретонка, наполовину эльзаска. Считай, что и немка отчасти...

— Что же вы там делали, во всех этих странах? — спросила Наталья растерянно.

— Все делал. И строил, и шоферил, и торговал. В Фесе у меня торговля была, там все торгуют, весь город. Почти что уже разбогател под конец, но потом разорился. В Алжире мы ресторан держали, но нас оттуда поперли, как известно. Уже не как русских, а того хуже — как белых. Еще и такой расизм бывает. Стали мы «пье нуар», черноногие. Жена это тяжело перенесла. А когда она умерла, мне так все опостылело, что ушел я бродить. Опустился, можно сказать, до самого дна... Или поднялся, это как считать. Я вот давно заметил — у многих русских людей такая мечта была, и даже зависть была к нищему: брось все, ни о чем не думай, ничем не владей — вот она свобода, не нынешняя, не здешняя... Отец мне рассказывал: дед у него был из «даниловцев», из «бегунов» — иду без документов, не знаю куда, будет день — будет пища...

— Да, да, «бегуны» или «странники». Это такое исконно русское, — сказала Наталья. — Эта тяга у Толстого тоже есть.

— У многих. Даже, поверите, у Зоценки встречал эту зависть к нищему...

— Да, да, бредут и бредут взыскующие Града... Истинно Святая Русь. Какая была страна!

— Страна была удивительная... Я ведь успел самую малость и под Архангельском помяться, и в Крыму — чего у нас только не было... Насчет того чтоб святая... Не знаю. Грешная была страна, как и прочие, — не было в ней справедливости. Чего-то же в ней не хватало честным людям — как и везде. Наверное, все же справедливости. Бывает она, нет ли, а хочется...

— И все же — мистическое тело России...

— Это да, конечно. Но вот справедливости не было, это даже и я помню. Конечно, и нынче ее нет в помине, но ведь и тогда тоже — одни на скромный ваканс в деревню ездили, в избу, другие куда-нибудь в Парголово, третьи — на остров Олерон...

— Вы шутите — сюда? В такую даль?

— А что ж — и сюда, прямо на наш с вами пляж Бойярд. Там и тени-то их бродят, наверно... Стойте! Я вам сейчас кое-чего покажу. А вы чай пейте, остыл. Да вы сама из самоварчика погорячей, Наталья, как вас по батюшке. Или просто Наташа...

— Можете звать так, — сказала она.

Он рылся в каких-то своих ящиках, ворошил бумаги. Наталья налила чаю себе и ему, подумала: «Станный старик. Но забавный. Идеальный путаник».

— Вот! — старик с торжеством извлек из ящика затрепанную открытку: какие-то дамы и дети на пляже — белые блузки с оборочками, с широкими воротниками и галстуками, шляпы с широкими полями, украшенные фестонами и бонбоньерками. И полосатые шатры — чтоб укрываться от солнца, чтоб не дай Бог не загореть, чтоб сохранить белизну кожи. Зачем тогда пляж, интересно?

Наталья прочла французскую подпись: «Начиная с 1910 года у русских семей вошло в обыкновение приезжать на лето в Бойярд, и здесь составила таким образом русская колония...»

— Значит, мы здесь не первые русские? — спросила она.

— Нет, — сказал Василий Маркович, — и Бог даст, не последние...

...Дома она вдруг почувствовала себя совершенно разбитой и сразу легла в постель. «Слишком много впечатлений, — подумала она, засыпая. — Буду спать, и ужинать не пойду...»

Мысль о еде вызвала у нее отвращение, и это ее встревожило. Все же ей удалось быстро уснуть. Она проснулась не рано, и это ее обрадовало. Сейчас главное — отдохнуть. После завтрака она отыскала тот же тихий уголок пляжа и прилегла с тем же томиком Чехова. Она думала про своего нового знакомого, русского старичка... Надо будет его еще навестить...

Он объявился сам, незадолго перед обедом. Как и в первый раз, ловко перевернул ведро, присел на него и вынул из кармана аккуратно завернутые в полиэтилен русские журналы.

— Спасибо, — сказал он. — Много отсюда почерпнул интересного, не то чтобы нового, но как бы забытого. Все те же

споры... И конечно — вы все такие нетерпимые. Все ищете, кто из вас прав и кто лучше, в чем между вами разница... Нас-то жизнь была, была — так, что приучила нас хоть в чем-нибудь сходства искать, на чем можно сойтись, как ужиться...

— Я же вас предупреждала... — сказала Наталья, чувствуя, как обида поднимается в ней, — предупреждала, что я не из этих. Я ведь и не эмигрантка вовсе...

— Ну, извините уж, — сказал он. — Я сказал — вы, в том смысле, что вы, советские...

Увидев ее резкое движение, сказал еще больше виняся:

— Ну вроде бы которые недавно из России. Все же новые люди, и речь у вас уже другая, не как у нас... Но, выходит, я неправ. И тут тоже разницы искать нечего, незачем... Вот как это... — он ссыпал мелкий и светлый пляжный песок с ладони. — Каждая песчинка тоже, наверно, про себя по-особенному думает, что она другая, может, даже лучше. А волна их носит, намывает, сносит, океан их миллионами ворочает... Да и похожи они, на наш взгляд, правда?

Он помолчал, с сожалением глядя на ее обиженное лицо, спросил:

— Ну что, чай будем нынче пить? У меня варенье припрятано ежевичное, сам варил. И мед свой.

— Что-то совсем плохо себя чувствую, — сказала Наталья, с трудом остывая от нежданного, такого обидного сравнения. — Может, завтра.

— Вот и хорошо. Завтра жду обязательно. А то ведь тут — одиночество. Вы-то уедете скоро...

Он ушел. Она больше не вспоминала ни про свой советский акцент, ни про обидное сравнение. Она думала про это страшное слово, которое он выговорил так просто. Одиночество. Одиночество чужбины и одиночество старости. Вечное одиночество творческого человека, такого, как она, непохожего на других. И здешнее, заграничное, островное одиночество, еще лютее, наверно, чем в России, где столько все же от детства еще наберется и своих и ближних...

Ночью она вдруг ощутила страх. Да, она больна, она серьезно больна, и незачем делать вид, что ничего серьезного нет,

что все еще обойдется. Никакой отдых ей уже не поможет. Вообще, наверно, уже ничего не поможет. Отчего же она не догадалась об этом раньше? Скажем, после Колиных похорон. Ведь страх уже тогда нависал над ней, а она так старательно загоняла его куда-то в подсознание, пыталась с ним жить. Все еще суетилась по поводу банковского счета, дома, автомобиля. Может, она и правда давно уже стала француженка? Но теперь... Теперь ей предстояло самое жуткое, чего она, кажется, боялась больше, чем смерти. Нужно было идти к врачу, идти по врачам, лечиться, болеть, терять последние силы, превращаться в немощную, больную старуху и ждать смерти, потеряв в жизни всякую радость, не надеясь больше ни на что...

Она перетерпела еще один день. Полдня сидела дома, потом вышла на прогулку, сразу ее утомившую. Хотела пойти в гости к старику, но не собрала духом — идти, о чем-то говорить, может, даже о болезни, выслушивать соболезнования и видеть в глазах жалость.

Назавтра она поехала к врачу в маленький Сан-Пьер, украшением которого была башня-фонарь, моровой столб, увековечивший мор и чуму. Она уже видела раз эту веселую площадь близ рынка, а издали, с засоленной пустоши не раз видела эту башню, но тогда она еще не казалась ей напоминанием о смерти. Но теперь... Теперь, наверно, все будет служить напоминанием о ней. И мост. И река. И корабль. И черный цвет. И белый. Отчего же раньше она, никогда не замечала этих символов преходящести бытия? Она тоже думала, что она бессмертна?

...Врач был немолодой, очень серьезный. Он не отсылал ее к дорогим электронным аппаратам, как делают теперь деловые парижане, выслушивал, расспрашивал обо всем. Она отвечала, и рос ее страх... Потом он сказал, что все-таки нужно сделать рентгеновский снимок.

— Может, лучше сделать в Париже, когда вернусь? — спросила она.

— А когда вы вернетесь? — спросил он.

Она умоляюще вглядывалась ему в лицо.

— Это очень срочно?

— Лучше все же сделать быстрее... Так что, возвращайтесь сейчас.

Она с трудом добралась до дому. Все так, как она и думала. Но это значит, что спешить ей некуда. И мучить себя она не станет. Да она и не может сейчас спешить. Она полежала немало. Потом ей вдруг стало легче, и она пошла на пляж, в тот самый закуток за свалкой, где лежала вчера и третьего дня. Она пошла без книги — читать она не могла, мысли мешали ей читать. Дорожка к морю была выложена устричными раковинами — сотнями и тысячами раковин. Они еще хрустели под ногами, напоминая о тысячах жизней, которые они обороняли когда-то. Дорожка была устричным кладбищем и кладбищем был пляж — миллионы чистых, промытых океаном песчинок. Чем они были раньше — моллюсками, рыбами, костями людей и животных?

Пригревало солнце. Наталья погладила свою стройную ногу. «Ее ноги были лет на двадцать моложе ее лица», — вспомнила она вдруг. Откуда это? Что-то из юности. Только в юности запоминаются любимые фразы, любимые авторы. Может, это классика? Нет... Тогда Аксенов. Нет, скорее Сароян или Сэлинджер... Ноги балерины из Кировского Дома культуры. Ноги любимой жены. Ноги молодой вдовы. Трудно было представить себе, что эти стройные ноги, уже тронутые здешним загаром, тоже превратятся в песок, в песчинки. Может, когда-нибудь через тысячу лет... Но сперва они будут гнить, издавая трупный запах... Неужели нельзя обойти все это — и болезни, и старость, и муки умирания? Ну а чего же ты хочешь, Наталья, вознесения без распятия? Да. Ну да, хотя б забытья...

Думать обо всем этом стало невыносимо, и она испытала облегчение, почти что радость, увидев перед собой зеленые сапоги и белое пластмассовое ведро.

— Добрый день! — сказал старик. — Вы вот ко мне не пришли, и я забеспокоился. Думаю, вдруг чего случилось. Скорей всего, конечно, гуляет молодежь, а все же беспокойно. Вдруг что...

— Расскажите, как вы были бродягой, — попросила она.

— Что ж в нем привлекательного, в бродяге? Грязен, невымыт и небрит. Но думает лишь о нынешнем дне, а то и об утре только, до обеда — где взять кусок, как выпить стакан. Вот такая воля... Муки, конечно, терпишь — то холод, то голод, однако свобода... Так что когда я узнал, что жены родственники мне домишко этот свой на острове по завещанию оставили (больше им, видать, было некому), я и не сильно обрадовался... В конце концов я пришел сюда перезимовать — холода были и кости ломило, когда спал на земле... Ну а с домишком, как знал, заботы пришли — отремонтируй его, деньги ищи, чтоб налог заплатить... А свобода ушла...

— Вот у меня теперь свобода, — сказала Наталья. — Но что с ней делать?

— Да-а... — протянул он. — Свобода хороша вовремя. Потом уж и не знаешь, куда ее заткнуть.

— Вот эти ваши предки — «бегуны» или «странники», они ведь чаще всего из дому умирать уходили...

— Это правда. А вот я не ушел — все продлеваю жизнь. Но вам-то еще что — рано про это думать?

— В самый раз... — проговорила она с трудом. — Я была у врача утром. И я знаю, что дело плохо. Время пришло...

Она смотрела на него искоса и видела, что он не был ни потрясен, ни озадачен.

— Прийти оно должно, деться, конечно, некуда... Завтра ли, на той ли неделе, а только все пролетит как сон, и оно придет. Как прилив, как отлив — жди спокойно, не суетись, он придет... И вокруг нас тоже — и мертвые жизни и едва рожденные. Бабочка вон летит — на сезон родилась, а ворон на триста лет... А мы — не нам знать об этом, не нам судить...

— Разве это не страшно? — спросила она.

— Страшно. Иной раз так страшно бывает. Но это все глупый страх. Вроде бы как бояться осени — листья, мол, опадут. Что ж, новые народятся. И новые люди рождаются тоже. А если б поговорить с умершими, то они, наверно, примирились уже со своей смертью. Как мы примирились с тем, что юность ушла и что радостей ее больше нет... Только не поговоришь с ними. А мы, которые здесь остались, мы так сильно себя жа-

леем, их жалею. И, видать, напрасно. Потому что самая справедливая эта закономерность. Вот уж она где — социальная-то справедливость. За нее и бороться не надо, она для всех одна... Как у вас там в России теперь говорят — живая очередь.

Наталья слушала, ворошила песок... Она не заметила даже, когда исчезли из виду зеленые сапоги. Наш приход. Наш уход. Просто подошла очередь. Сидите, гражданка, вас вызовут. Ох эти русские, они так суетятся в очередях — все боятся, что кто-то пройдет первым, или, наоборот, последним. А французы стоят спокойно — и в булочной, и в мясной, и в кино... Знают, что будет сеанс, никуда он не денется. И что всем хватит хлеба...

Наталья отдернула ногу. Холодная волна прилива дошла до ее ступни. Она оделась, пошла прочь. Уже вечерело.

Есть ей теперь уже не хотелось вовсе. Можно было, впрочем, выпить кофе на набережной.

Зажглись фонари над маленьким Порт де Плезанс. Как-то люди копошились на яхте у стенки. Может, они отплывали в Испанию. Или в Англию. Она отплавалась. Она пришла в свой порт. Нельзя даже сказать, чтоб плавание было таким уж коротким, просто любые сроки пролетают устрашающе быстро. Как сон.

Заиграл оркестр на той стороне, в ресторане. Какая-то старая, сладостно-горькая музыка. Кажется, из какого-то кинофильма. Вот так они сидели с мужем в кафе «Ореанда» в Ялте, и море было спокойно, а в кафе в тот вечер царило веселое возбуждение, «Ленфильм» что-то крутил в Ялте, и у нее было много друзей в группе, и муж ревновал чуть-чуть... А потом таким же вот вечером в Портофино... Нет конечно, было уже не так весело и разгульно, как в «Ореанде», но тоже было море, были огни в воде, были яхты, ресторанный оркестрик... Дидье был совершенно счастлив, слушая, как она говорит за столом по-английски, по-немецки...

Наталья присела на скамейку — издали и набережная, и яхты, и музыка были еще прекраснее. Ей стало жалко себя и она заплакала. Потом, когда погасли огни в пиццерии напротив, она поднялась и пошла домой. Тьма обступила ее на до-

рожке, хрустели под ногами устричные раковины, пахло солью, рыбой. И во мгле шелестел прибой.

Неужели нельзя сейчас же, вот так, из мглы острова, без мук и боли перейти в ту самую, вечную, обступающую нас мглу? В вечный океан мглы? Впрочем, откуда известно, что это все-таки мгла?

**АЛЕКСАНДР СУКОНИК**

**«ОДЕССА - МОСКВА - НЬЮ-ЙОРК»**

**Книга рассказов периода с 1960 по 1990 г. 224 стр.**

**Издательство «Вся Москва», СССР. Цена с доставкой \$10.  
Заказы по адресу: ZOLOTAJA RUCHKA, 124-16 84th  
Road, Apt. 5K, Jamaica, 11415.**

*Мариэтта Чудакова: «Неумеренная и постоянная мысль литератора о России, о её судьбе и собственном опыте как неразрывной части этой судьбы, её редкостная честность анализа и самоанализа, свобода от оглядок — совершаемых нередко из самых лучших побуждений, но всегда сковывающих духовный опыт личности, — то есть, самое ценное, что может принести литератор в свою культуру, — всё это с первых же прочитанных страниц очень расположило меня к автору: я верю в него и надеюсь на него».*

*Георгий Гачев: «Чем далее вчитываешься в книгу рассказов А. Суконоика "Одесса - Москва - Нью-Йорк", тем более доходит до тебя, насколько это серьёзно... Сквозь волшебный фонарь и калейдоскоп множественности неустанно в нём вопрошение о простом, тоска по подлинному. Это он ищет — и находит».*





А. ЛЕИН

## ВРЕМЕНИ ГИМН — ВРЕМЕНИ ХРУСТ

**5 ФЕВРАЛЯ 1990 ГОДА**

Неожиданно и под дых...  
Зачастила к нам смерть-судьба,  
Я теперь живу за двоих —  
За тебя живу, за себя.

В облака улетел самолет,  
Растворился, исчез, пропал.  
Опустили в земли живот  
То, кем ты, отстрадавши, стал.

Отмечтал, отлюбил, отпил,  
Что теперь твои сыновья?  
День для вечера путь открыл,  
Ну, а он — похоронка дня.

## ВРЕМЕНИ ГИМН — ВРЕМЕНИ ХРУСТ

Со стаканом сажу вина.  
Все гадаю: и «да» и «нет» —  
Может, есть и моя вина,  
Что тебя уж на свете нет.

Отлетал, отзвенел самолет.  
Он подбитою птицей упал  
Прямо в землю, в ее живот,  
Только что вот он был — не стал.

Поминальные колокола —  
Ты не слышишь — гудит февраль,  
И не верится — жизнь была.  
Как была щекокрасной заря.

Без тебя забурлит весна,  
Закружится цветенья бал...  
Со стаканом сажу вина —  
За тебя пью и за себя.

## СВЕТЛАНУШКЕ

Время прошло отчужденности, стуж,  
Время пустого горенья,  
Как мне воспеть всю твою красоту  
Скупостью стихотворенья?

Грач на заре шаловливо поет —  
Случая выраженье,  
Как мне постигнуть величье твое  
Музыкой воображенья?

Белые нежности зиму хранят,  
Дождь ли идет безразличья,  
Как мне возвышенность, гордость понять  
Существованьем обычным?

Мне не понять тебя и не постичь  
Бледностью обыкновенья,  
Как не поймет утомленная тишь  
Радостный крик удивленья.

\* \* \*

Растаяли дымы  
Навязанных отчизн,  
И вот с тобою мы,  
Как вольные грачи.

Летим, куда хотим.  
Куда задумал глаз,  
Наш путь не запретим  
Ни под какой указ.

Сбываются мечты  
С годами тяжелей.  
Итоговость черты,  
И ничего за ней.

Ах, милая земля!  
И жизнь сплошных чудес,  
И грусти тихий взгляд.  
И счастье нигде.

Границы берегов  
Нрав сдерживают рек,  
Обмеряна любовь,  
Что носит человек.

И что там впереди  
В судьбе удач, тревог,  
И только ты один  
В узлах своих дорог.

\* \* \*

Ночь вечер дня казнит.  
Ветер осенний жгуч.  
Тонет пятак луны  
В хляби холодных туч.

В душу дождь наплевал  
Города и людей.  
Катится голова  
Наших уже потерь.

Днем журавлей косяк  
Неба задул свечу.  
Ах, как дожди хрустят  
Или суставы чувств.

Ржавый висит платок —  
Свет фонаря и тьмы.  
Вырвал у дали бок  
Белый медведь зимы.

\* \* \*

Губы метели.  
Окон распятыя.  
Наши потери,  
наши ненастья.

Ветры губасты  
Пьют свежий воздух.  
Мечут на счастье  
Снежные звезды.

Веселы брызги —  
Радость метели.  
Дерзко по-рысьи  
Белое тело.

Белым забвеньем  
Осень омыло.  
Прошлые веры —  
Наши могилы.

\* \* \*

Мы птицы. Нам крылья ломает усталость,  
Напиться на отдыхе нам размечталось.

Но не отдыхать нам, а дальше и дальше, и дальше  
Лететь от тоски и от страсти умершей вчерашней.

Дожди, и снега, и ветра наши топчут дороги,  
Надежды одев в платья белой и черной тревоги.

Мы птицы. Мы знаем, что есть у людей день: суббота.  
Мы птицы все время, все время, все время в полете.

Мы птицы. И ночи и дни мы все время в заботах,  
Нам крыльями небо бить — каторга, жизнь и работа.

Птенцы наши рядом. Их крылья совсем не окрепли.  
Но вот и они вместе с нами летят не по ветру.

\* \* \*

Ветер курлычет.  
Небо, как жуть.  
Грустные птички  
Стаи уже.

Холод картечи  
Щедрых дождей.  
Зимних предтеча  
Снежных дней.

Красною медью  
Клены горят.  
Солнце, как лебедь.  
В тучи кудрях.

Небо как небо,  
Туч-лохмотье.  
Осень, колебля  
Ветви, идет.

Падают бронзово  
И, шелестя,  
Листья березовы  
В пчелах дождя.

\* \* \*

Осенних дней стоит загадочность,  
Что раньше спала вдалеке,  
Доверчивая, как порядочность,  
Красивая, как лань в прыжке.

Дождь серебристый, переменчивый,  
Восторженный, в обилье слез,  
Срывает желтую застенчивость  
Капризный ветер у берез.

И каплями земля обклевана.  
Неутомимый лес-плясун.  
И ветви, празднично кленовые,  
Флажки листвы еще несут.

Вся откровенье, не обманочна,  
Тебе ли, осень, и краснеть.  
Доверчивая, как порядочность.  
Красивая, как лань в прыжке.

\* \* \*

Огненный шар солнца в море погас.  
Вышел на берег крылатый Пегас.

Волны бегут белопенной гурьбой,  
Грива его опустилась в прибой.

В небе рассыпалась звездная дрожь,  
В облако врезался месяца нож.

Дальше и дальше, совсем далеко  
 Резвый, крылатый, летящий огонь.  
 Волн непрерывный у берега пляс,  
 Был или не был здесь белый Пегас.

\* \* \*

День перестал  
 Быть уже днем,  
 Снега кристалл  
 Лунным огнем

Тихо горит.  
 Белые сны,  
 В дёснах горы  
 Корни сосны.

Совьи глаза  
 В небе блестят,  
 Звездный базар  
 Звездных гусят.

Рядом шаги,  
 Совесть грусть,  
 Времени гимн —  
 Времени хруст.

\* \* \*

Тепло вина не для души:  
 Для грусти сладкой, для веселья,  
 Когда, как в быстрой карусели,  
 Буквально все спешит, спешит.

Смиранный тишины приют  
 На тихом кладбище зеленом,  
 Где лишь забвения живут  
 У ног великодушных кленов.

И радостей когда-то бег,  
 Мечта насущная, как смелость. —  
 Обрубленная окаменелость —  
 От родственников привет.

И, тихий слыша разговор  
 Про отстрадившиеся страсти,  
 Монеты листьев, как на счастье.  
 Бросают клены на забор.

\* \* \*

В спальни вечер день уже упрятал,  
 Солнца тоже спать ушел бизон,  
 Золотые локоны заката  
 По лицу рассыпал горизонт

Вот и звезды — золотые козы  
 Разбрелись по выпасам ночи,  
 Ваза облаков с луной, как роза,  
 Будто одиночество кричит.

\* \* \*

Звезды, как брызги  
 Вечера плесени,  
 Облако вгрызлось  
 В яблоко месяца.

Льется обкусанность  
 Холода в небе,  
 Ползет гусеница  
 Черного снега.

Пьет необузданность  
 Вина желаний,  
 Судьбы над музами  
 наших исканий

Спят оттревоженно.  
 Ночь, как кудесница,  
 Облако ножиком  
 В яблоко месяца.

\* \* \*

Стихнул дождя напев,  
 Выплакавшись до дна,  
 Вечер — рассерженный лев  
 Лапой по горлу дня.

И горизонт багров,  
 Ливня испив каскад.  
 Кто-то сказал: «Кровь!»,  
 Кто-то сказал: «Закат!».

Неба щека в звезде,  
 В щедрой улыбке луны,  
 Вот и фонарь в узде  
 Нищенства и тишины.



Леопольд ЭПШТЕЙН

## СРЕЗ

На всякое мужество может быть найдена должная пытка —  
 Как в играх, где покером кроют любого туза —  
 И с плотью живой и с душевной субстанцией пылкой  
 Все сделают, что захотят, ибо руки сильнее, чем глаза.  
 Едва ли крысиный народ вдохновится примером крылатым.  
 Едва ли кентавра в наставники выберет чернь.  
 Но если нам чудом удастся спастись, убежать от расплаты —  
 Скажи, на кого мы покинем несчастных своих палачей?

\* \* \*

Лес не ищет контакта. Он — сам по себе.  
 Он бесцелен, внепамятен и внелогичен.  
 На поваленном старом квартальном столбе  
 Мы распили бутылку с лесничим.

Пили чинно. Азарт комаров нарастал.  
 Тело ныло, зудело, канючило: «Баньки!»  
 А лесничий, привычно верша ритуал.  
 Сообщал нам неспешные байки —

Как служил, как сидел, как сюда занесло,  
 О волках, о начальстве, какая зарплата.  
 Я расценку в уме умножал на число  
 Кубометров, кося виновато

На стволы, на укывшую корни траву.  
 Было тихо в траве, было сонно и влажно.  
 Но казалось — вдали кто-то дует в трубу  
 Мягко, неотвратно, протяжно.

Звук катился над лесом, как медленный шар,  
 В неприветливых, серых высотах,  
 Чтобы мы не забыли: любовь — это дар,  
 Соответствовать — наша забота.

\* \* \*

Дождь льет с отчаянья. Троллейбусы стоят.  
 Река распухая ворочается грозно.  
 Какая музыка! — И жить бы, но стократ  
 Все передумано; вдобавок — поздно.

Дымит алхимия из дьявольских реторт.  
 Растет в стекле варфоломеевская ночь.  
 Хана всем демонам! — и разум устает  
 Тягаться с ужасом. Так гангстер-одиночка,  
 Зажатый, взмыленный, с простреленной ногой,  
 Пытаясь спрятаться в рассветной дымке серой,  
 Бежит — и падает. Под вольтовой дугой  
 Лягушка корчится. В каморке пахнет серой.

Мы в тигли брошены. Мы варимся в смоле.  
 Но плоть не ведает ни ужаса, ни жара.  
 Мой разум раненый, прошу тебя, смелей  
 Лети куда-нибудь, а я тебе не пара.

Пари и радуйся. Грядущий мой двойник  
 Рискнуть реальностью захочет и посмеет —  
 По черной магии из запрещенных книг  
 Приворожив тебя, тобою завладеет.

Он заклинания из тьмы далеких дней  
 Магнитом вызволит. Над новыми веками  
 Возвысится. Он станет жить ясней.  
 И он отыщет философский камень.

Темно и ветрено...

\* \* \*

Смыкают кольцо окаянные годы,  
 Стальным громыхая крылом.  
 И нет в атмосфере любви и свободы —  
 А только разлад и разлом.

И дождь, ненавязчивый мой собеседник,  
 Мой слушатель, друг и слуга,  
 Внушает подспудно, что в страхе — спасенье,  
 А дружба не столь дорога.

И те же идейки — у мрака и стужи,  
 Что жмутся с опаской к домам,  
 О том же талдычат подмерзшие лужи  
 И низкий тяжелый туман.

И ветер долдонит в нервической спешке,  
 Подножная вякает слизь...

Душа, не ищи у природы поддержки —  
 Сама на себя обопрись.

*Пью, опершись на копьё.  
 Архилох, VII в. до н.э.*

Мы пьем, опершись на копьё, Архилох,  
 И капли бегут по губам, не старея,  
 И снова зима нас застигнет врасплох,  
 А наши накидки смешны для Борея.  
 Мы пьем, и столетья проносятся над  
 Блестящей струей нескудеющей влаги,  
 А что до сатиров и юрких менад —  
 Они, как и прежде, в зеленом овраге.

Мы пьем, Архилох, опершись на копье,  
И солнце садится за дальние горы,  
И слушает нимфа, склоняясь над ручьем,  
Непуганых птиц восхищенные хоры.  
К чему нам стремиться? Зачем нам страдать? —  
Тиран одряхлел и притихла проказа,  
Погода прекрасна, и осень щедра,  
Арес утомился и дремлет вполглаза...

Мы пьем, Архилох, на копье опершись,  
И солнце за дальние горы садится,  
И влага бежит — невозвратна, как жизнь —  
И тело с душой составляет единство.  
А все остальное — смещение эпох,  
Земель и народов — теряет значение.  
Мы пьем, опершись на копье, Архилох,  
И здесь невозможно иное прочтение.

### АРАГОНСКАЯ ХОТА

Наступай, не робей, Карменсита!  
Все в порядке, атака отбита.  
Резкий взмах, черный пламень волос.  
Хорошо веселились испанцы,  
Превращая трагедии в танцы  
И любовь принимая всерьез.  
О — как мечутся протуберанцы,  
Побуждая: прыжком — и взасос.

Но отлажены ритм и рисунок.  
Все зависит от времени суток.  
Добродетельность — не предрассудок,  
А одна из сильнейших страстей.  
Арагонские строги уставы,  
Но послушны гитаре суставы —  
О, союз кастаньет и кистей!  
Ты вольна, Карменсита, как слово —  
Ничего не случится дурного.  
Ты свободна, как ветер с полей.  
Ровно в полночь ты будешь моей.

Пенье струнных, вторжение ударных,  
Повторенье чудес благодарных,  
Воскрешенье забытой игры...  
Никаких объяснений кошмарных,  
Никаких вообще — до поры.  
Ты уходишь все дальше от рампы,  
В темноту убегая от лампы  
(небо сумрачно, тени прочней),  
В твоих быстрых, капризных изгибах —  
Обещанье ошибок счастливых,  
В ритме талии, плеч и бровей.  
Как черно твое длинное платье,  
Как длинно будет наше объятие —  
Ровно в полночь — ни часом поздней!

\* \* \*

Время сродни затяжному подъему. Сколько я раз еще в жизни смогу утром проснуться и жить по-другому? Сколько я раз задохнусь на бегу?

Счастья — тебе, твоим детям и дому! — я остаюсь на своем берегу.

Каждый живет в своем собственном мире, скроенном жизнью как раз по нему — речка меж нами все шире и шире — голос я слышу, а слов не пойму. Ты надрываешься, но — бесполезно! Лед раскололся, и черная бездна грозной воды между нами... Весна.

Что же ты хочешь? — весна наступила. Знали же оба, что ходим по льду...

Ты никогда ни о чем не просила, ты приходила и мне приносила лампу и спички, питье и еду. Легкий твой шаг шелестел на морозе. Я добавлял в свою печь уголька...

...Может ли кто-нибудь выразить в прозе — как она выглядит — эта река?!

Нам не вернуть своего островка. Самодовольство в свирепой угрозе темной и страшной весенней воды. С треском сшибаются черные льды, эти осколки сияющей сказки — льда, по которому шли без опаски, льда, охранявшего нас от беды...

Кончилась наша зима, раскололась. Дай тебе Бог на твоём берегу!.. Так и останется в памяти: голос! Голос! — а слов разобрать не могу...

\* \* \*

Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.  
Газетный стенд. Портрет генсека.  
Среда. Октябрь. Двадцатый век.  
Вой ПМГ. А ну их всех!

Неужто после смерти снова  
Все повторится образцово —  
День, месяц, год, такой-то век,  
Генсек товарищ Имярек?

\* \* \*

Этот год одарил настоящей зимой —  
Снегопадами, вьюгами и холодами.  
Вырастали сугробы и веяло тьмой,  
И простое величье стихии немой.  
Как всегда, поражало, и в ней пропадали

Неурядицы, страхи, печаль и тоска.  
Снег скрипел при ходьбе, и следы засыпало.  
Засыпало дороги и кучи песка.  
Двери, скамьи, балконы, и боль у виска  
Успокаивалась, и волненье стихало.

Буксовали машины, не шли поезда,  
Лихорадило почту, и, честное слово,  
Трудно было понять — торжество ли, беда —  
В том, как оцепенело звенят провода.  
Как сурово звучит пенье ветра ночного.

Говорить, что мы прожили зиму тревог,  
Было б несправедливостью. Разве иные  
Отличались от этой? Пусть милует Бог  
Тех счастливых, кто смог не пустить на порог  
Лихорадку души. Мы с тобой — остальные.

Наступает пора собиранья камней,  
Составленья букетов, принятия мира,  
Наступает весна (и вода от корней  
Поднимается к почкам). Найдется ли в ней  
Место — душам продрогшим — среди общего пира?

Время движется, не замечая обид.  
Современники времени временной жути,  
Мы отравлены им. И оно в нас болит.  
Истощаются недра. Надвигается спид.  
Это — новое время: по виду, по сути...

Здравствуй, новое время!





ПУБЛИЦИСТИКА,  
ПОЛИТИКА, КРИТИКА

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

## МОЖНО ЛИ ОБУСТРОИТЬ СЕГОДНЯШНЮЮ РОССИЮ?

*Полемические заметки*

Злосчастная судьба у этой страны: сколько людей сложили головы за ее свободу, сколько покинуло Родину, не выдержав сталинско-брежневского рабства. И вот наступила свобода, но какой странной она обрела лик! Настолько странной, что иные из ее жителей все чаще задаются вопросом: а так ли уж плохо было при Сталине?

В дни, когда наблюдается в СССР невиданный развал, трудно избежать соблазна бросить в очередной раз камень в русский народ: де по самой своей природе он не способен жить без железной руки, подлинная демократия западного типа вообще не для него. Но подобное объяснение российских несчастий столь же наивно, сколь и попытка объяснить их привнесенными, иноземными влияниями. Лишь в потоке истории, в ее конкретных обстоятельствах возможно понять, каким образом народы СССР попали в западню, из которой сегодня не видно выхода.

Со страниц литературы мы все чаще слышим, что история остановилась в 1917 году, что коммунизм бросил народ во тьму, и потому, предав анафеме сталинщину, необходимо вернуться назад, к ценностям дореволюционной России. Эмоционально нетрудно понять эту ностальгию по прошлому. И в частности, желание русских людей вернуть исконные российские имена своим городам и весям, переименовать Ленинград в Санкт-Петербург, выбросить из энциклопедии Сталина, пятiletки, стахановское движение. Но есть одно жестокое обстоятельство, мешающее перечеркнуть прожитые 70 лет. Теперь всем уже ясно, что на этом поле сталинизм проделал самую зловещую работу, и неизвестно, сколько понадобится поколений, чтобы избавиться от ее следов. Надеюсь, читатель уже догадался, о ком и о чем речь. Да, я говорю о человеке, рожденном социализмом: о нем слагались легенды и песни, он объявлялся гордостью новой эпохи, — и вот он, гордость, творец и демиург, оказался неприспособленным к жизни в условиях свободы. К человеку этому мы еще вернемся, а пока давайте трезво и объективно взглянем на происходящее в СССР. Трудно переоценить сдвиги, происшедшие в годы горбачевского правления. Но во что они обратились сегодня? Свобода слова обернулась всенародной говорильней: бесплодные словопрения на всех уровнях, начиная от колхозных собраний и кончая заседаниями Верховных Советов. Главной ареной этого советского Гайд-парка стала печать. На ее страницах все подвергается изничтожению — чем чернее, тем лучше! — что в свою очередь порождает у населения депрессию, упадок морали и как следствие разгул преступности. Или взять политический плюрализм, за который так беззаветно сражались. К чему привела отмена монополии КПСС? Сотни и тысячи движений, партий и организаций разваливаются с такой же скоростью, как и создаются. У большинства нет и подобия политических программ, зато все митингуют, обличают, громят, проявляя при этом полную неспособность к политической самоорганизации. Не случайно, что до сих пор не появилось политической партии, способной противостоять КПСС. Из КПСС бегут, партий в стране много, но ни одна не в силах

предложить альтернативный путь в будущее. Оттого и решения на заседаниях Верховного Совета СССР проштамповываются почти единогласно, так же, как во времена Сталина. При всеобщем согласии была принята экономическая программа Горбачева, сулящая народному хозяйству дальнейший развал. Не потому ли, что не предлагалось альтернативы, у депутатов даже не возникло желания воспользоваться свободой голосования?

Многое из происходящего можно объяснить трудностями роста. Не сразу Москва строилась. Не сразу сталинская Россия способна преобразоваться в демократическое общество. Да, не сразу. Но тут чрезвычайно важны тенденции и перспективы.

Рыночное хозяйство — это будущее страны. То, что путь к нему усеян трудностями, стало расхожим местом в выступлениях советских авторов. Однако трудности какого рода? И как вообще будет выглядеть этот процесс в условиях советского общества, если отвлечься от утопических мечтаний?

Историческая заслуга Горбачева в том, что он развалил социалистическую систему. Но что явилось совершенно не предсказуемым — страна при этом была подведена к катастрофе. Нет смысла обсуждать, было ли возможным ее избежать. Общество идет в будущее таким, как оно есть. И потому при анализе ситуации происходящее следует принять как данность — и неподготовленность населения к реформам, и его политическую инфантильность, и развал экономики, и разгул анархии, и саботаж аппарата. Перед нами целый ряд заданных параметров, в рамках которых и будет осуществляться переход к новому социальному устройству. Как и в каком направлении пойдет этот процесс? Что от него ждать населению?

В своем недавно опубликованном обращении «Как нам обустроить Россию?» А. Солженицын предлагает на этот счет ряд не лишенных интереса рецептов. У его обращения нет адресата, но по своему духу оно исполнено традиционной российской веры в реформаторскую силу верхов. Тогда как на самом деле верхи утратили контроль над происходящим, а страна уподобилась судну, несущемуся без руля и без ветрил в трудно предсказуемое будущее.

В мире нет или почти нет опыта перехода от тоталитаризма к демократии. Понятно, что этот переход будет происходить стихийно, со множеством катаклизмов, по никем не изученным законам. Последнее не мешает, однако, выделить основные общественные силы, которые, со знаком плюс или минус, будут вовлечены в этот сложный и болезненный процесс. Я вижу, по крайней мере, четыре таких основных силы: это сам Горбачев и окружающее его центральное правительство, это реформаторские круги, объединенные вокруг Ельцина, это население, и в первую очередь рабочий класс, руками которого будет строиться новая система, это, наконец, зарубежные деловые круги, значение которых будет все более возрастать с развитием рыночных отношений.

По-видимому, в нормальной стране эти силы пошли бы на объединение. Угроза катастрофы требует национального консенсуса. Но в условиях очнувшегося из тьмы советского общества они пребывают в состоянии противоборства, по существу, войны всех против всех. И в этом, может быть, главная трагедия страны, способная обернуться тяжелыми и необратимыми последствиями.

## **БЕССИЛИЕ ВЕРХОВ**

В демократических кругах СССР стало правилом хорошего тона изничтожать Горбачева. На него обрушиваются за его склонность к компромиссам, за центризм, за постоянную готовность к уступкам правым. Однако, оглянувшись назад, необходимо отметить, что осторожность Горбачева, как политика, может быть, и стала тем его качеством, которое помогло ему выжить, и следовательно, выжить гласности и демократизации. Не случайно он стал кумиром Запада и даже удостоен Нобелевской премии. Но абсолютные оценки мало пригодны, когда мы говорим о государственных деятелях: слишком часто их недостатки становятся продолжением их достоинств. Центрист Горбачев, проделавший ряд блестящих маневров, чтобы нанести сокрушительный удар партии и вывести режим из-под ее контроля, стал захлебываться в собственном оппортунизме.

Предложенная им программа перехода к рыночным отношениям — яркий тому пример. Известно, что незадолго перед утверждением этой программы на Верховном Совете Горбачев договорился с Ельциным о совместных действиях. Их основой должен был стать план 500 дней Шаталина — Явлинского, противостоявший программе Рыжкова, призванной сохранить командную экономику. Судя по некоторым данным, Горбачев все перерешил в последний момент. Вынесенная им на Верховный Совет программа напоминала дурно приготовленный коктейль, в котором догматические рецепты Рыжкова были замешаны на чисто словесном согласии с отдельными положениями Шаталина — Явлинского. Я намеренно касаюсь закулисной кухни советских верхов. Без этого трудно понять расстановку сил в стране. Как и то, чего обществу ждать от своего лидера, наделенного к тому же почти диктаторскими полномочиями. Каковы же причины этого шага Горбачева, возможно, судьбоносного шага, речь ведь идет о выходе из самого тяжелого в советской истории кризиса? Если послушать «Нью-Йорк Таймс», склонную, как и вообще западные газеты, придавать решающую роль политическим заговорам и интригам, Горбачев отступил под давлением трех противостоящих ему лиц: премьер-министра Рыжкова, председателя КГБ Крючкова и министра обороны Язова. Не исключено, что в этих спекуляциях и присутствует доля истины. Уменьшив роль партии, Горбачев объективно усилил влияние правительства, КГБ и армии. Но отступил он скорее всего потому, что в последний момент испугался непредсказуемых последствий рынка. Командная, плановая экономика хоть и отжила свой век, но в ней все знакомо. Рынок — это джинн, который, вырвавшись из бутылки, может смести на своем пути все. Питомец партаппарата, президент, возможно, почувствовал в атмосфере запах гари. Ведь запас народного терпения на исходе. И потому не лучше ли повременить и не рисковать возможностью массового возмущения, в любой момент способного перерасти в бунт? И не делать врага из Рыжкова и заручиться поддержкой КГБ и Язова... Словом, Горбачев остался самим собой: не деятелем большого масштаба, способным бросить вызов истории, но политиком маневров и

компромиссов. Остался даже тогда, когда эта политика несет стране да и самому Горбачеву смертельную угрозу.

## ОППОЗИЦИЯ

В каком-то смысле в оппозиции к власти находится все население, разочаровавшееся в ее политике. Хотя эта оппозиция, разглагольствующая на митингах, на кухнях и в очередях, вряд ли представляет собой политическую силу. Но что верно: это растущее озлобление масс рождает климат, в котором набирает силу настоящая оппозиция, стремящаяся к реальному обновлению общества. Парадоксальным образом, несмотря на отсутствие второй партии, эта оппозиция превратилась во влиятельную силу. В ее рядах мы видим мэров обеих столиц, членов президентского совета, редакторов центральных изданий, многих ведущих экономистов. И что важнее всего: у оппозиции появился свой лидер, возглавляющий высшую власть в России и потому представляющий грозную опасность для рыхлой и колеблющейся правящей верхушки.

В глазах населения Ельцин выглядит как полная противоположность Горбачеву. Подозреваю, что не столько в силу своих личных качеств, сколько из-за обстоятельств, благодаря которым он оказался на гребне политической жизни. Ампула народного избранника оставило ему единственную роль — бунтаря и радикала, обязанного насмерть отстаивать интересы масс. Но это же ампула таит для него большую угрозу. Оказавшись у власти, он не может теперь оставаться в роли популиста, ибо имеет практическую возможность показать себя на деле. Если он проиграет, то потеряет все. Если выиграет, то станет реальным претендентом на пост первого человека в государстве. При этом единственным полем, на котором он может проявить себя, является рыночная экономика. Программой действий он объявил план 500 дней и таким образом сам для себя определил границы испытательного срока. Итак, ситуация как бы поставила Ельцина в положение смертника. Отступить некуда — позади Москва, которая, стоит ему оступиться, не преминет столкнуть его в пропасть.

Ельцин не один, его окружение столь же решительные реформаторы, как и он сам. Его правая рука, заместитель председателя Совета Министров РСФСР Григорий Явлинский, — один из авторов программы 500 дней. В отличие от плана Горбачева, направленного на сохранение устоев, в этой программе есть все, чтобы в течение короткого срока перевести на рыночные рельсы экономику СССР: приватизация госсобственности, образование акционерных компаний, развитие рыночных связей, создание фондовой биржи.

Первого ноября 1990 года республика приступила к реализации этой программы. Но одно событие омрачило начало работы: после того как Горбачев выступил со своим планом, в котором не осталось ничего от проекта Явлинского, последний заявил о своем желании уйти в отставку. И более всего омрачала аргументация сподвижника Ельцина: если Союз отказывается от перехода к рыночным отношениям, то это обрекает на провал и усилия Российской Федерации. Опубликовавшая это заявление «Нью-Йорк Таймс» не расшифровывает опасений Явлинского, но о них нетрудно догадаться: почти все ведущие предприятия, расположенные на территории РСФСР, союзного подчинения, при существующей системе они и пальцем не могут пошевелить без согласия Центра. К компетенции республики в основном отнесены предприятия местного значения. Трудно представить, как в этих условиях избежать неразберихи и анархии, когда в пределах одной республики начнут параллельно функционировать две системы — социалистическая и капиталистическая.

Находясь в Москве, я слышал, как Гавриил Попов делился своими планами превратить столицу в образцовый капиталистический город (как бы в насмешку над прошлым, когда Москва боролась за звание города коммунистического труда). «Почему бы, рассуждал Попов, тому же, например, Интуристу не перейти в ведение Моссовета и не приносить нам колоссальные прибыли в валюте?» «Поразительно, какие люди приходят к власти! — думал я. — Если Москва — капиталистический город, то что же говорить о провинции, да и о стране в целом». Однако союзное правительство, кажется, не спешит навстречу

реформаторским идеям мэра. В столице стало лишь больше анархии, когда никто никому не подчиняется, а это вряд ли характеризует здоровую капиталистическую экономику.

### **А ЧТО ЖЕ РЯДОВЫЕ ТРУДЯЩИЕСЯ?**

И все же переход к рынку уже ощущается. Правда, пока не в экономике, а... в языке средств массовой информации. Со страниц газет и телевизионных экранов мы слышим о «приватизации собственности», об «акционерных обществах», о «фондовой бирже», словно журналисты хотят приободрить население: де вожделенный капитализм уже рядом, за углом — стоит протянуть руку, и он уверенно войдет в жизнь страны. Но все это мало соответствует реальной жизни: во всяком случае, на местах не наблюдается никакого рвения к рыночным отношениям. Какая там приватизация, когда куска мяса в магазинах не купишь, чинарики на улицах приходится собирать! В голове советского труженика весь порядок вещей поставлен с ног на голову: пускай вначале дадут, что положено, а потом уже рынок вводят. Но правительство физически ничего дать не может, а изверившиеся люди не хотят проявлять инициативу, ибо опасаются, как бы не стало хуже, хотя хуже, кажется, некуда.

Известно, например, что Нью-йоркская биржа решила оказать Москве помощь в создании фондовой биржи. Дело, однако, не сдвигается с места: тормозят руководители Минфина, ссылаясь на то, что рабочие не проявляют никакого интереса к приобретению акций. И все разговоры, что они будут участвовать в прибылях, их мало волнуют. Инициатива-то идет сверху, а раз сверху, ничего хорошего не жди. Провалятся, как это было всегда, на протяжении 73 лет: с обещаниями коммунизма, с пятилетками в четыре года, с посулами догнать и перегнать Америку, с займами — да с чем только не проваливались!

«Может, капитализм — дело хорошее, но не с нашими мудакми!» — объяснял мне один московский таксист. Примерно то же, разве лишь с соблюдением протокола, я слышал из уст многих. По призыву начальства трудящиеся не хотят вклады-

вать даже «деревянные» рубли-юани, которые ничего, кроме презрения, у них не вызывают.

Трудно сказать, чего жители СССР ждут от рынка, но и им известно, что капитализм — это всегда риск, это ответственность, это большое напряжение. И ожидаемые превратности судьбы их ничуть не вдохновляют.

Некоторое время назад московское телевидение, кажется, программа «Взгляд», провело интервью с группой учредителей фондовой биржи.

— Будущие миллионеры? — тоном бодрячка начал беседу репортер.

— Будущие инфарктники! — последовал исполненный черного юмора ответ.

В другой раз телерепортеры решили выяснить отношение к рынку человека с улицы.

Вопрос: «Верите ли вы в успех рыночных отношений в нашей стране?».

Ответ: «Если Запад поможет, то, может, что-то и получится».

Вопрос: «А если не поможет?».

Ответ: «Если не поможет, то сомневаюсь».

Происходящее в СССР чем-то напоминает последние дни Римской империи, когда массы хотели лишь хлеба и зрелищ. По части зрелищ перестройка, возможно, даже переплюнула Рим: страна, как никогда, напоминает гигантский театр, представления которого не сходят с телевизионных экранов. Благодаря телевизору тут интересно жить — вы можете услышать на каждом шагу в Москве. Но и самые искусные зрелища не могут заменить потребности в хлебе. И в переносном и, судя по сообщениям с периферии, уже в прямом смысле слова. Ради ее удовлетворения общество и взялось себя перестроить, но, кажется, мало преуспело на этом пути и потому все более ждет помощи извне.

### **ВСЯ НАДЕЖДА НА РАСТЛЕННЫЙ ЗАПАД**

Восхваляя Запад, советские авторы впадают в какой-то извращенный экстаз. В связи с чем я с трудом подавляю жела-

ние процитировать газету «Правду» или «Литературку» за 1948-49 годы. В те славные годы космополитизма не было такого ругательства, которое не посылали бы в адрес растленного Запада. Сегодня с ним связывают все надежды: западные инвестиции, западные кредиты, западная пшеница и даже западные сигареты, без которых, как выяснилось, Советский Союз также не в состоянии прожить. Одно за другим создаются совместные предприятия. И западные партнеры все более становятся движущей силой экономических преобразований — не правительственные органы (которые в душе как огня боятся свободной экономики) и не советские хозяйственники (и по сей день не ведающие, как работать в условиях рынка), и тем более не рабочий класс, о настроениях которого мы говорили выше, а прежде всего Западный капитал, свободный от всяких идеологических, моральных и иных предрассудков. Возможно, руководители страны тешат себя надеждой вывести с его помощью страну из кризиса. Вряд ли это входит в геополитические планы Запада, который совсем не жаждет иметь конкурента в лице восставшей из пепла России.

Для западных фирм СССР — это гигантское и мало распаханное поле бизнеса. Дешевая рабочая сила и запасы сырья кружат им голову, толкают на довольно рискованные предприятия. Многие из-за советских неурядиц терпят крах. Но и это не останавливает ищущий новых рынков бизнес, который, по-видимому, окажет двойное влияние на экономику страны. С одной стороны, рано или поздно, СССР преобразует под его воздействием свою экономику. Но привязанный к колеснице чужих интересов Советский Союз вряд ли выйдет из отставания. Ибо будут развиваться одни стороны его экономики, выгодные западным вкладчикам, в ущерб другим, не представляющим для них интереса, хотя и важным для национального развития страны. Последнее, впрочем, не помешает развиваться демократии. Возможно, даже повысится уровень жизни населения. Но в целом это не изменит сути исторического процесса: превращения коммунистического гиганта в страну третьего мира. Вывод прискорбный, но история мало считается с нашими эмоциями.

Кстати, черты этого невеселого будущего проглядываются уже в сегодняшней Москве, где одна жизнь у иностранцев, имеющих все, и совсем другая у аборигенов-москвичей, вынужденных влачить жалкое существование. За витринами ресторанов и отелей — прожигающие жизнь интуристы. И на каждом шагу — нищие и бродяги. И в дополнение — мафии и рэкет. И рок-н-ролл и валютные проститутки: Сингапур, Гонконг, Кейптаун, но не сверкающие многоцветием огней, а погруженные во тьму из-за нехватки в Москве электроэнергии.

Но это лишь один из возможных путей. Описывая его, я сожалею, сколь рискован соблазн прогноза, когда столько факторов погружены в неизвестность. Сегодня даже трудно представить, в каком виде сохранится СССР и какие из его национальных окраин обретут государственную независимость. Я уже не говорю о том, что в обществе, погруженном в хаос и утратившем гражданский идеал, вполне возможен военный переворот, хотя вероятность его вряд ли велика. Ссылаются на происходящие то там, то здесь переброски армии, но их не следует драматизировать, в стране бушует анархия, и цель этих передислокаций скорее оградить режим от непредвиденных случайностей, чем перекроить его на новый лад и поставить у власти диктатора или какую-то военную хунту. Свергнуть Горбачева — возможно, задача и не очень мудреная, но что делать с этой властью? Куда направить страну? Как накормить народ? Худо-бедно, но накормить-то его надо. Тогда как переворот — это холодная война, это потеря доверия Запада, к которому страна во всех отношениях слишком привязала себя. Конечно, пока в распоряжении ее руководителей оружие массового уничтожения, даже ослабленную Россию трудно представить в виде гигантского Таиланда или Камбоджи. Но что делать с этим оружием? Бросить его на другие страны? Развязать мировую войну? Таковы вероятные и не очень вероятные пути развития, но, кажется, ни один из них не дает ответа на солженицынский вопрос: «Как нам обустроить Россию?». Потому хотя бы, что выход из кризиса не в великомудрых проектах, пусть и выработанных знаменитым изгнанником, а в работе общества, которое в силу несчастных

исторических обстоятельств все более утрачивает к ней способность. Вопрос теперь в том, найдет ли оно силы возродить себя. Без чужой помощи, но перед опасностью гибели и еще в силу осознания долга перед будущими поколениями. Возрожденное к новой жизни и созиданию, оно, конечно же, сумеет себя обустроить.

---

**ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ**  
**ВОЗНЕСЕНИЕ**  
**ПАВЛИКА МОРОЗОВА**

Первое независимое расследование зверского убийства подростка, донесшего на отца, и процесса создания из мальчика самого известного советского героя, проведенное через пятьдесят лет после трагических и загадочных событий московским писателем, который рискнул сопоставить официальный миф с историческими документами и показаниями последних очевидцев

Правда о Павлике Морозове, официальном пионере-герое № 1, убитом кулаками, противниками колхоза за то, что мальчик разоблачил своего отца, врага советской власти, тщательно камуфлировалась в течение полувека. Писатель Юрий Дружников отправился в Сибирь, на родину Павлика, а затем объехал одиннадцать городов в поисках оставшихся в живых родственников, очевидцев, свидетелей. Он фотографировал места, людей, документы, сохранившиеся в частных архивах, и записывал показания свидетелей на пленку.

Оказалось, что герой-доносчик не был пионером, колхоза тоже не было. Сын донес на отца вовсе не ради советской власти. И убит мальчик был не кулаками. Их в деревне вообще не существовало. Автору книги удалось разыскать и сфотографировать подлинных убийц, нити от которых тянулись к начальнику Особого сектора личного секретариата Сталина.

264 стр., 75 фотографий, цена 6 дол.

Книгу можно заказать в издательстве OPI

8, Queen Anne's Gardens, London W 4 1TU, England

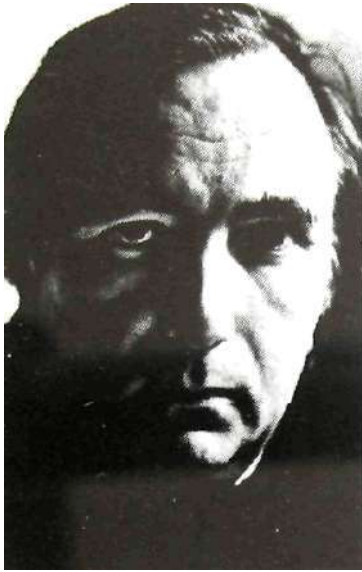
или в книжном деле

A. Neimanis

28 Bauerstrasse

8000 Munich 40, West Germany

---



Лев НАВРОЗОВ

## ЗАПАДНЫЙ ОБЫВАТЕЛЬ НА ПУТИ В НИЧТО

Карл Маркс почти что выброшен Кремлем на свалку истории за ненадобностью. Пролетарии всех стран, которые должны были привести Кремль к мировому господству еще в 1918-1920 годах, так и не соединились. Поэтому можно начать с высказывания Маркса, не опасаясь прослыть бывшим профессором марксизма из Рыбинска. Так вот: Маркс считал культуру классовым явлением. В известном смысле он оказался более чем прав, как стало ясно в конце XX века. Европейская, а тем более российская культура была дворянско-аристократической. Мещанская же культура, вроде кинематографа или бульварных романов, была для нее не культура, а пошлость и глупость. Мещанин, обыватель, филистер, буржуа: в своем дневнике Блок выражал к нему ненависть, граничащую с паранойей.

Буквальное название пьесы Мольера, переводимое как «Мещанин во дворянстве», — «Буржуазный дворянин». Буржуа — это разбогатевший мещанин, а потому лишь еще более смешон в глазах Мольера или его зрителя Людовика XIV. Но пьеса

Мольера это не только насмешка. Сам Мольер был мещанин, получивший дворянско-аристократическое образование и ставший, по мнению ряда французов-знатоков, величайшим французским писателем. То есть некоторые буржуа успешно одворянивались. Да и «вождь пролетариата» Маркс (женатый, между прочим, на аристократке) был, как он бы выразился, представителем дворянско-аристократической культуры.

Некоторые представители этой культуры считали себя близкими народу, потому что в их художественном воображении народ или пролетариат был противоположностью мещанства. Граф Толстой уверял, что крестьянский мальчик Федька (именно потому, что он крестьянский мальчик, сочетающий в себе детство и крестьянство) пишет лучше его, Толстого, а возможно, и лучше Гомера, и уж конечно лучше Шекспира. С другой стороны, граф Толстой дает понять, что квартира дворянина Ивана Ильича («Смерть Ивана Ильича») отдает мещанской пошлостью (Федька куда аристократичнее). Толстой и Маркс ошибались: аристократы духа среди незнатных и неимущих также редки, как и среди графов и миллиардеров; остальные незнатные и неимущие, достигнув благополучия среднего москвича времен Сталина, стали такими же обывателями, как и те, о которых Блок писал с такой исступленной ненавистью. Никакой пролетарской, крестьянской или народной культуры не возникло. Наоборот, то, что Толстой или Маркс считали мещанской пошлостью, превратилось во всеобщую культуру конца XX века, в то время как культура стала стариной, антиквариатом, музейно-академической классикой. С умиранием класса дворянства-аристократии умерла культура. Она была классовой. Маркс был нужен хотя бы крупному буржуа во дворянстве Энгельсу. Ни Толстой, ни Маркс мещанству не нужны. Ему нужен... Я хотел назвать имя, но имени у «этого» нет. Собирательное имя «этого» — пошлость, или глупость, или то и другое. Мещанская пошлость безлична, безлика и бессмертна. Она, как жадность, голод или зубная боль.

Слова «пошлость» не существует в английском языке, и в моем первом напечатанном на Западе эссе я объяснил значение русского слова на таком примере. У Чехова рассказчик (от его

имени ведется рассказ) убивает выстрелом из револьвера обывателя, когда тот сказал: «Смотрите, какой закат! Если б художник изобразил такое, никто б не поверил, что такое бывает». Далее я объяснил, используя русское слово «пошлость», что каковы бы ни были достоинства и недостатки «советского строя», он, ко времени моей сознательной жизни, изжил все, что не есть *poshlost*, и даже то, что говорится в советской печати о пошлости, — тоже *poshlost*.

Опять же, некто вне дворянско-аристократической культуры может спросить: «А почему рассказчик в рассказе Чехова совершил убийство? Что же было пошлого в замечании о закате? Да и существует ли вообще пошлость?» Дело в том, что на Западе я прочел о Чехове такие дремучие пошлости в трудах западных профессоров (например, эмигранта первой волны Карпинского), что я понял: для них пошлости больше не существует. Лица, не понимающие, что такое пошлость, находятся вне культуры как она существовала в среде читателей Чехова при его жизни. У них своя культура? Что ж, и у советского или западного уголовного мира — своя. А у Главного разведывательного управления (ГРУ) тоже своя. Но это не культура читателей Чехова при его жизни.

## В ОДНОЙ ЦЕНЕ

Моя цель — отнюдь не разделить человечество на аристократов духа и чернь, буржуазию, мещанство, охлос, чем занимались некоторые аристократы духа на протяжении всего XIX века и первой трети двадцатого. Мне неизвестно человеческое качество, на основании которого разделение было бы возможно. Ум? Но на всякого мудреца довольно простоты. Умный Маркс уже смолоду верил, что зло — и в частности мещанскую пошлость — можно устранить в мире с помощью насилия со стороны неквалифицированных рабочих, которые якобы аристократичны, ибо обретаются в нищете и поэтому у них в доме нет клеток с канарейками. А умный Толстой на склоне лет верил, что зло — и в частности насилие — можно устранить в мире с помощью непротивления злу насилием. Чехов не ве-

рил ни тому, ни другому, уж до чего был мудр, прямо как Бог. Но у него была чахотка. Если строить единую иерархию человечества по достоинствам и недостаткам, то и это ведь недостаток. Разумеется, Чехов был в нем не виноват, но разве виноват был Маркс или Толстой в своей политической безграмотности или неумеющий писать, как Чехов, в своем неумении писать, как Чехов?

Ушедшее навсегда господство европейско-российской аристократии было несправедливым, ведь многие дворяне-аристократы были вполне заурядны. В детстве я наблюдал две дворянские семьи: семью моего русского отца и семью, которая покровительствовала моей матери-еврейке и ее родителям до 1917 года (мама ходила на прием к главе этой семьи в Зимний дворец). Про своего сводного брата Юру мой отец говорил с ужасом: «Его учили гувернеры и гувернантки четырем языкам». Дядя Юра женился в 1930 году на цыганке, с которой у него была связь еще до 1917 года (вполне в духе «Воскресения» Толстого), и вообще опростился, причем стал заводским пролетарием (вполне в духе Маркса). Самое ужасное было то, что дядя Юра вскоре стал и выглядеть, как истый пролетарий, забыл все четыре живых и два мертвых европейских языка и, разумеется, пил, а если б его жена-цыганка вздумала приобрести клетку с канарейкой для мещанского уюта, то он бы ее тут же и пропил по-пролетарски. Что же касается семьи, глава которой принимал маму в Зимнем, то они пережились на советских обывателях и, как говорили советские пошляки о пошляках Чехова, утонули в тине мещанской пошлости.

Тем не менее есть некая зыбкая связь между классом дворянства-аристократии и аристократами духа, на которых жила культура. Праздный и утопающий в роскоши класс дворянства-аристократии желал доказать свою богоподобность, а когда «Бог умер», свою надчеловечность. Его бесконечное иерархическое тщеславие выразилось, в частности, в поисках бесконечных и неповторимых сокровищ, в том числе духовных. Культуру можно определить как создание духовных сокровищ. Духовные сокровища или сокровища духа — вполне газетное клише в Нью-Йорке или Москве. Но вопрос в том, есть ли за-



казчики на создание таких сокровищ в конце XX века?

В 1990 году в США книга по медицине продается за 300 долларов экземпляр, а книга вне подобной области, полезной для обывателя, продается лишь за 10 долларов. Такова ее цена, если она в мягкой обложке, независимо от того, является ли эта книга новым творением гения, который рождается единожды в целом поколении всех стран и народов, или обывательской болтовней. Если же книга в твердом переплете, цена подсакивает до 30 долларов.

Новая книга стихов Блока стоила в России начала века в сто раз больше, чем очередной выпуск приключений Шерлока Холмса. Это значит, что в конце века книга стихов, равноценная книге стихов Блока, должна стоить 1000 долларов в мягкой обложке и 3000 — в твердой. Но подобная цена представляется на Западе конца века нелепостью. Ведь это же не книга по медицине, полезной для здоровья.

Пришвин пишет, что он был вторым писателем в России после Чехова. Как он это доказывает? А очень просто. Чехов получал за строчку высшую ставку писателя в стране, а он — вторую после Чехова. В конце века на Западе это кажется далеким золотым сном человечества. Ныне на Западе создатели приключений Шерлока Холмса (или как он там теперь называется?) и бульварных романов исчисляют свои доходы сотнями миллионов долларов, а Чехов умер бы с голоду, если бы он упорствовал в создании своих литературных сокровищ.

Упорствуя, все великие писатели и мыслители умерли бы в конце XX века с голоду. Нет рынка для духовных сокровищ. Богачи в конце XX века несопоставимо богаче, чем они были в его начале. Но богач конца XX века не пытается доказать свою богоподобную или неповторимую сверхчеловеческую природу. Он есть цена его собственности, включая доход. Жизнь — это игра с целью выиграть больше денежных знаков. В остальном богач не отличается от своего шофера. У него те же вкусы и, по существу, тот же образ жизни, хотя последний может стоить ему раз в сто дороже, ибо то же самое платье можно купить за 50 и за 5000 долларов в зависимости от ярлыка на нем. Он не мещанин во дворянстве, а игрок. В

остальном же он мещанин во мещанстве, буржуазный буржуа, цифра в денежном исчислении.

Писатель или мыслитель в конце XX века должен рассчитывать сразу же на миллионы читателей. Но ведь это невозможно. В некоторых западных странах никогда не было ни одного писателя, мыслителя, композитора или художника, которого хотя бы помнили вне пределов его страны. Повезло Финляндии: у нее был Сибелиус! Если творцы и мыслители столь редки, то почему же их ценители должны составлять сразу же бесчисленные миллионы — вроде читателей походов Шерлока Холмса?

Виктор Луи был в 60-х годах одной из ранних ласточек нового советского всемирного нэпа. Лицам, заявляющим, что Луи агент КГБ, я посоветую прежде всего помнить, что западные правительства приносят больше вреда Западу, чем приносили бы, если бы они состояли сплошь из агентов КГБ, ибо последние хотя бы опасались разоблачения. Однажды Луи услышал, как я говорил, что мир принадлежит тому, у кого наука и техника. Когда у Запада, начиная с Ренессанса, была монополия на науку и технику, Запад господствовал над миром. Вопрос заключается в том, какая из тираний быстрее овладеет западной наукой и техникой: советская империя, Китай или будущая мусульмано-африканская империя? Запад же, возможно, лишь временно уцелеет как лоскутное одеяло их научно-технических колоний, помогающих им в беспощадной войне против друг друга. Луи пожелал, чтобы я написал для него об этом книгу. Он купит текст. Издаст его на Западе, а в каком виде — это уж меня не касается. Сколько я хочу за рукопись? Я запросил 20 тысяч долларов. Цифра его ошеломила. Выйдя из нашей дачи, он подошел к автомобилю «Лэндровер», на котором приехал. «Вы хотите больше, чем стоит вся эта машина!» Он пхнул ногой огромную шину, дабы доказать ее вещественность. Я хочу за бестелесные мысли в своей голове больше, чем стоит «Лэндровер»! Он желал заплатить мне за труд — вождение пером по бумаге. Я же решил взять с него плату за мысли! «Вы торгуете воздухом», — деловито сказал он. Нет, даже не воздухом, ибо воздух полезен для дыхания

обывателя, а какая же польза обывателю в мыслях о судьбах мира? Обыватель озабочен лишь своей личной судьбой, причем настроен он обычно жизнерадостно.

К своему последующему сожалению, Солженицын дал своему английскому биографу разрешение записать на пленку свои воспоминания о том, как когда его арестовали и везли на Лубянку, он полагал: его везут в Кремль для того, чтобы он поучил Сталина жить по-марксистски, по-ленински. Когда президента США или, например, магнатов Уолл-стрита будут везти в зоны уничтожения (советские? китайские? мусульманские?), они наверняка будут убеждены: их везут для того, чтобы они поучили диктаторов жить по-деловому, по-западному.

#### ОТ СВЕРХ-ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ К СВЕРХОБЫВАТЕЛЮ

Олигархия, захватившая власть осенью 1917 года на территории бывшей Российской империи, рассчитывала на мировую пролетарскую революцию, а революция должна была привести олигархию к мировому господству. Посему коммунизм вводился немедленно. Главное было уберечь Федьку от мещанства. Предполагалась, что мужчины и женщины будут носить одинаковые хитоны (вроде одеяний афинян Золотого века культуры или современных американских костюмов юнисекса) и ночевать в спальнях кабинах, но до этого не дошло в силу хозяйственной немощи. Но уж конечно — никакого «законного брака», от которого так страдала Анна Каренина, никакой собственности, денег и прочей мещанской пошлости. Никаких мещанских развлечений. Только науки и искусства. Сверх-Ренессанс. Всеобщее творчество освобожденного человеческого гения. Федька становится Аристотелем XX века и Бетховеном в одном лице, то есть сверхгением, таким сверх-Леонардо да Винчи.

Словом, культура дворянско-аристократическая по форме и стремящаяся к мировому господству Кремля по содержанию. Пролетарий должен был стать пролетарием во дворянстве, сверхгением сверх-Ренессанса. Тем самым он становился и воином всемирного освобождения человечества во имя миро-

вого сверх-Ренессанса. Как Мейерхольд, который расхаживал с маузером, дабы расстреливать мещан на месте. Этот сверх-Ренессанс обретал некоторое правдоподобие оттого, что ведь российская дворянско-аристократическая культура продолжалась. Часть аристократов духа эмигрировала, но часть осталась. А главное — осталась культурная среда. Каким бы духовно аристократичным ни был Чехов, Платонов — сын слесаря и сам слесарь, а затем инженер — еще аристократичнее. Чехов был аристократической противоположностью Мопассана, предтечи западного обмещанивания культуры, которое началось задолго до российского\*. Но по сравнению с Платоновым пол, или как теперь говорят в Москве, «секс», даже в лучших вещах Чехова тяжеловат, а в худших («Дама с собачкой») и вовсе смахивает на Мопассана. У Платонова же — в «Чевенгуре», например, — как бы антипол: вспомним антироман Сербинова и Сони, после которого любовные истории в «лучших американских романах», которые я получал на рецензию в 80-х годах, представлялись мне скабрёзными анекдотами, грошом чтивом прошлого века.

Нэп принес мещанскую пошлость, но после нэпа российская дворянско-аристократическая культура не возродилась. Наоборот, она угасла. Не из-за запрещений и преследований. А в силу всеобщего государственного обмещанивания. Поэзия Пастернака первых двадцати лет его творческой жизни (1912-1932 годов) — это высота, к которой ни один западный поэт XX века даже не приблизился. А последние двадцать лет его жизни (1940-1960 гг.) — это посредственность или вторичность, с провалами в пошлость, которую пошляки-профессора литературы дружно принимают за гениальность.

При Сталине, ставшем диктатором в 1927 году, произошло первое всеобщее государственное обмещанивание советского населения. Теперь нужны были не воины мировой пролетарской революции, вероятность которой зигзагообразно уменьшалась, а обыватели-строители кремлевского глобального во-

\* Джон Стюарт Милл писал уже 130 лет назад, что творческой свободе угрожает «тирания масс», «конформизм», «засилье посредственности», а в России вся культура мирового значения была еще впереди.

енного могущества. Вспомним у Платонова комнату Сони, наладчицы станков, в конце нэпа: «Комната была порожняя, словно в ней человек не жил, а лишь размышлял. Назначение кровати обслуживали три ящика из-под кооперативных товаров, вместо стола находился подоконник, а одежда висела на стенных гвоздях...» Соня, наладчица станков и аристократка духа, говорит, что хотела бы рожать цветы. Московское мещанство конца 30-х годов уже мало отличалось от западного. После всеобщего государственного обмещанивания возник всеобщий обывательский быт, всеобщие разговоры о продвижении по службе, всеобщие кинокомедии, не отличающиеся от американских. Нет воска мягче в руках диктатора, чем мещанство, умеющее думать только о своем обывательском быте и ради него способное на все.

Однако обывателя 30-х — 70-х годов все еще приобщали к коммунизму — на тот случай, если вдруг, скажем, европейские коммунистические партии придут к власти и дадут Кремлю неограниченный доступ к европейской науке и технике, то есть ключ к мировому господству. В действительности же, итальянские или французские Федьки обуржуазились и в 1990 году дали Кремлю неограниченный доступ к европейской науке и технике, то есть ключ к мировому господству, без всякого коммунизма. Соответственно, Горбачев пожелал ввести нэп — не для того, чтобы выжить, как в 1921 году, а для того, чтобы всосать науку и технику всех стран, ну и конечно, сотни миллиардов долларов вложений, а также повысить эффективность всей экономики, чтобы освободить миллионы рабочих рук для своей военно-промышленной монополии. Но ведь москвичи и жители других подобных городов, находившихся на особом снабжении за счет остальной страны, не захотели бы горбачевского капитализма: им и при брежневском социализме-коммунизме жилось, как у Маркса за пазухой. Как же быть? Горбачев снял эти города с особого снабжения. После чего обыватели-москвичи стали дружно уверять мир, что в стране наступил «глубокий экономический кризис», конец советской экономики, чуть ли не всеобщая советская смерть от голода, что Горбачеву и было нужно для введения нового всемирного нэпа, да и продвижения своей диктатуры.

Если москвич-обыватель 1935 года рассказывал о растущем изобилии (и в Москве изобилие, действительно, начало расти за счет всей страны), то москвич-обыватель 1990 года рассказывает — столь же однообразно и бездумно — о растущей нищете. Даже бананов нет! Он не замечает, что зато в 1990 году бананы появились в Рязани, в первый раз за шестьдесят лет. Что ему было до Рязани, когда Рязань голодала? Москва живет в 1990 году не так плохо, как жила Рязань с 30-х и до середины 80-х годов. А Алма-Ата в 1990 году живет почти так же хорошо, как Москва жила с конца 30-х и до середины 80-х годов. Но «Правда» продолжает твердить в каждом номере о росте нищеты с той же обывательской тупостью, с которой она некогда твердила о росте изобилия.

Главное событие 1990 года — приход Горбачева к диктатуре. Но об истории движения Горбачева к власти с 1978 года советский обыватель знает и говорит меньше, чем в 1927-1934 годах знали и говорили о «технологии власти» Сталина.

После нынешнего государственного обмещанивания советский обыватель уже вообще ничем не отличается от обывателя западного, кроме того, что советский обыватель раб, но свобода и рабство вне сферы интересов того и другого. Раб и свободный могут жизнерадостно обнять друг друга, наговорить с три короба всемирных пошлостей и вместе следовать в светлое будущее. Советский обыватель, как правило, беднее, но ведь второй нэп на носу. Достаточно взглянуть на Китай сияющими глазами «Правды». Там в 1990 году полагается — чего «Правда» не замечает — смерть за показ или просмотр недозволенной видеопленки. Экие пустяки. Зато какая капиталистическая роскошь! Пекин — это теперь, как Нью-Йорк: «Правда» захлебывается от восторга, хотя был и другой цветущий город, совмещающий рабство с капитализмом: Берлин 1938 года.

### НА ЧТО РАССЧИТЫВАЕТ ЗАПАД?

От советского обывателя ничего не зависит. Вне его частной жизни за него думает «лидер», как «Правда» называет Гор-

бачева, ставшего диктатором. Конечно, игра в демократию теперь куда как живее, чем при Сталине в 1936 году. Ибо диктатор, простирая над Америкой совиные крыла своих самых быстроходных в мире бомбардировщиков и крылатых ракет, может позволить даже Красной Пресне провозгласить суверенитет. Обыватели Финляндии воображают, что она суверенное гоударство. Чем Красная Пресня хуже? Обыватели Красной Пресни, Восточной и Западной Европы, а также Японии, забывают, что суверенность всех стран держится на способности военного противостояния США Кремлю. Чем более эта способность уменьшается, тем больше уменьшается суверенность Западной Европы или Японии, но тем большую «суверенность» даже Красной Пресни может себе позволить Кремль для стратегического обмана обывателей всех стран.

И дело не меняется от того, является ли советский житель или житель Восточной Европы мыслителем, понимающим, что происходит, или обывателем, ничего не понимающим вне сферы своих личных интересов. Ибо власть у диктатора. Другое дело — житель США. От большинства избирателей США все еще зависят судьбы мира.

Я возьму в качестве примера избранного президентом США на два срока Рональда Рейгана, поскольку я встречался с ним и с его первым советником по национальной безопасности Ричардом Аланом.

Рейган провел жизнь в «художественном кино» в качестве киноактера. Мне неизвестен недокументальный фильм, который стоило бы смотреть или рецензировать. Мне неизвестен также ни один выдающийся представитель дворянско-аристократической культуры, который бы назвал какой-либо фильм художественным произведением или творением мыслителя. У Мандельштама есть рецензия на фильм 1928 года, весьма похожий на советские фильмы 1990 года. Но, во-первых, в советское время Мандельштам занимался презируемой им поденщиной, чтобы не умереть с голоду, а во-вторых, рецензия — издевательская.

Когда на экраны вышел в 1981 году американский фильм «Красные», не появилось ни одной отрицательной рецензии.

Американское посольство в Москве устроило просмотр фильма «для всего советского бомонда». Президент Рейган устроил просмотр-чувствование фильма в Белом доме. Мед лился на фильм в таком изобилии, что Северно-американское газетное объединение (НАНА) предложило мне посмотреть и отрецензировать фильм за 300 долларов, ожидая от меня хотя бы единственной в стране ложки дегтя.

Фильм — о Джоне Риде, который находился в 1917 году в Петрограде, а затем восславил в своей книге олигархию, уничтожившую российскую демократию во имя коммунизма. Выступая по радио с возлюбленной Джона Рида, которая была в восторге от фильма, я сказал ей, что Рид один из основателей коммунистической партии США. Почтенная американка (ныне издатель газеты) задохнулась от гнева: «Он был американец!». «А разве члены КП США — не американцы?» — спросил я. «Разумеется, нет!». «А кто же?» — «Русские!».

Рид же был не русский и, следовательно, не коммунист, а свой, хороший американский парень. Отчего же он так любил русского Ленина? Мне объяснила это жена нашего американского знакомого-мультимиллионера, которая тоже была в восторге от фильма. Ленин отменил крепостное право, свергнув царя. Он же — «вождь русской революции».

В своей рецензии я написал, что школьный учебник истории времен Сталина — это сокровищница исторических знаний и мыслей по сравнению с этой широкоэкранный макулатурой, стоившей 40 миллионов долларов. Я также написал, что от первого до последнего кадра фильм представляет собой *poshlost*, и все создатели фильма неспособны ни к какой умственно-творческой деятельности, а пригодны лишь к физическому или умственно-механическому труду и, возможно, также к работе в розничной торговле\*. Но разве не то же самое можно сказать о Рейгане, который варился всю жизнь в этой макулатуре и который был в восторге от фильма «Красные»? Разве

\* Президент НАНА мне грустно заявил, что не пошлет мою рецензию ни в одну газету, да никто ее и не напечатает. «Но вы же хотели отрицательную рецензию!» — сказал я, давая понять, что об отказе от 300 долларов не может быть и речи. «Отрицательную, да, но не настолько, — еще более грустно сказал он. — Чек мы вам выслали».

не то же самое можно сказать о членах западного политико-культурного истеблишмента за исключением тех, которые не имеют значения, ибо их голоса тонут в его миллионноустой печатно-электронной мещанской пошлости?

Возможно, в сфере своих личных дел Рейган и любой другой член западного истеблишмента хитрее Сталина или Горбачева. В сфере своей личной собственности или карьеры, в интригах дома или на работе, обыватель может быть гением, дьяволом хитрости, сверх-Стапиным или сверх-Горбачевым. Но дело в том, что земной шар не входит в сферу личных интересов обывателя, а в сферу личных интересов кремлевского диктатора он входит. Это его возможная будущая личная собственность, а мировое господство — его личная карьера.

Земной шар входит в сферу личных интересов и сумасшедших вроде меня, но не с целью его приобретения в свою личную собственность, а с той же бессмысленной, с точки зрения обывателя, целью, с какой несколько сумасшедших в XVI веке (например, некто Томас Диггс) доказывали, что земной шар вращается вокруг солнца, хотя ничего, кроме личных неприятностей, это им не сулило. Я использую слово «сумасшедший» потому, что мне позвонил эмигрант в газету и попросил совета. Стоит ли ему меня читать и слушать? «Да вот в эмиграции говорят, что вы сумасшедший». Мол, потратишь время и деньги, а на что?

Понять, скажем, в 80-х годах, что произошло в бывшей Российской империи в 1917 году, задним умом несопоставимо легче, чем понять, что происходит в ней на данный день и час. Но Рейган и создатели фильма «Красные» не удосужились даже прочесть хотя бы то, что говорит о событиях 1917 года советский школьный учебник сталинских времен, который переведен, между прочим, на английский язык. Не потому, что они не могут читать на английском текст на уровне советского школьного учебнике. А потому, что это вне сферы их обывательских интересов, вроде здоровья, собственности, дохода, развлечений и так далее. Они ничего не знали, не знают и не желают знать о советской империи, кроме невольно усвоенных пошлостей, никогда не приводящих ни к каким личным

неприятностям. Поэтому по сравнению со Сталиным, Горбачевым или преемником Горбачева, неким Пупкиным, они в области геостратегии более чем бесконечно глупы. В том, что лежит вне сферы его интересов, и любой человек более чем бесконечно глуп — он просто не желает ничего ни знать, ни понимать. Вне своих личных дел обыватели более чем бесконечно глупы, и обвести их вокруг пальца в геостратегии кремлевскому диктатору ничего не стоит. Ибо сам вопрос, обводит ли он их вокруг пальца или нет, представляет для них не больше интереса, чем для обывателя XVI века вопрос о том, вращается ли земной шар вокруг солнца.

Рейган называл в 1983 году советскую империю империей зла. Почему? Как почему? Ведь там правят коммунисты, безбожники, которые стремятся к достижению мирового господства, чтобы установить свою безбожную веру повсеместно. Слово «коммунисты» было для Рейгана, как для советского обывателя слово «фашисты». Источник зла на земле. Советскую победоносную войну в Афганистане все советские, западные и эмигрантские обыватели дружно представляли как неслыханный советский разгром. Но когда она началась, в 1979 году, Рейгану было столь же ясно, что коммунисты начали войну за мировое господство для установления во всем мире своей безбожной веры, и на этом антикоммунист Рейган дважды въехал в Белый дом. В качестве антикоммуниста Рейган в свое время участвовал в преследовании деятелей кино, имеющих или имевших хотя бы какое-то отношение к коммунистической партии США. А в 1981 году он устроил торжество в Белом доме по случаю фильма, восславившего ее основателя. В чем же тогда смысл жизни Рейгана?

В 60-х годах советские туристы привезли с Запада западное изречение: «Советские люди живут для того, чтобы работать, а западные — работают для того, чтобы жить». Цель обывателя — жить, к чему призывают все рекламные объявления, передаваемые всеми средствами массовой информации, а также выставляемые по всей стране и присылаемые по почте. Жить — это значит, выражаясь словами библейского Эклезиаста, «есть, пить и веселиться (ибо завтра мы можем

умереть)». Работа же — это лишь средство получения денег, известности, престижа, званий, постов и прочего, чтобы жить. Рейган ж и л. А президентство было его очередной работой — в данном случае временной бюрократической службой с постоянным окладом. На прежней работе требовалось отстранять от работы в кино актеров по подозрению в симпатиях к «коммунизму». А на этой работе надо было устраивать прием в честь восхваления — с помощью киномакулатуры — основателя коммунистической партии США. И в то же время называть советскую империю империей зла. Уж такая работа! Чтобы не потерять работу, надо всегда говорить и делать то, что на данное время является пошлостью. Но пошлости меняются или сосуществуют, противоречия друг другу. Только какое же это имеет значение? Ведь цель — жить.

Меня пригласили в числе тридцати пяти «наиболее антисоветских» членов Конгресса и журналистов в Москву. Все расходы оплачены. Это и называется жить. Есть, пить и веселиться. Номер в «Национале» — 500 долларов в день. Русская экзотика на инвалюту, роскошь для нуворишей нового, мирового нэпа, шикарные интердевочки для желающих. Нас лично примет Горбачев, ибо ведь мы — «наиболее антисоветские». Почему ж это часть веселья? До 1939 года обыватели западных демократий жили тем, что их лично принимал Гитлер. Это было частью шика, успеха, престижа того времени. А ныне — Горбачев; возможно, будущий владелец мира.

«Спасибо, но я не поеду». Зачем же я тогда работаю? Я заработал себе у «Правды» звание самого экстремистского журналиста США. Теперь надо свою работу продать для того, чтобы жить. Разве я работаю не для того, чтобы жить?

Рейган поехал в Москву позже — и в индивидуальном порядке. Высказал все пошлости, приличествующие новому всемирному нэпу и купался в его роскоши. То есть жил.

Слово «утопия» прилагалось обывателями к советской империи бесчисленное число раз. Но что же в ней утопического? Это деспотия, наподобие тех деспотий, которые существовали тысячелетия. Она всасывает западную науку и технику, чтобы достичь необратимого глобального военного превос-

ходства, то есть мирового господства. Верно, что советский бронированный кулак больше не грозит Западной Европе непосредственным военным вторжением. Западная Европа и так распахнула свою науку и технику, а это все, что Кремлю пока надо для достижения необратимого военного превосходства над Соединенными Штатами. Поэтому бронированный кулак будет отныне вежливо спрятан в кремлевский карман за Уралом, в самом центре Евразии, откуда он может быть вытащен для удара и по Западной Европе, и по мусульманскому востоку, и по Китаю, и по Японии. Но где бы кулак ни находился, он растет. В 1989 году, например, произведено 5700 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, в то время как США произвели их 650. С другой стороны, советское глобальное оружие разворачивается по всему миру, включая океаны у побережья США, причем более бурно, чем когда-либо ранее.

В 1988 году началось советское серийное производство самых крупных в мире бомбардировщиков дальнего действия, чья скорость превышает скорость американского Б-1Б в 1,6 раза. Производство крылатых ракет дальнего действия, запускаемых с подводных лодок, увеличилось при Горбачеве более чем в пятеро. Сами подводные лодки определенного класса производятся уже с 1978 года из титана, о чем Пентагон не смеет и мечтать, а благодаря этому дорогостоящему металлу, они быстроходнее западных и погружаются глубже. Новый советский транспортный самолет АН-255 поднимает пять танков, а самый большой американский — два. Советский вертолет Ми-26 поднимает втрое больше войск, чем самый крупный американский вертолет. Число советских мобильных межконтинентальных ракет многократного заряжания возросло в 1990 году вдвое, в то время как на Западе таких ракет вообще «пока нет». Кремль при Горбачеве превосходит США в войне против спутников и вообще космической войне, противовоздушной и противоракетной обороне и множеству новейших военных направлений.

Но ведь это только начало. Разъезжая по миру, Горбачев добивается теснейшего «сотрудничества в области науки и техники» в каждой стране, а кто же может отделить тут граж-

данские направления от военных? Впрочем, соглашение на этот счет с Германией является секретным. Ясно, что тут не идет речь о детских колясках. Не за жалкие миллиарды долларов продал Горбачев Восточную Европу, а за весь мир. Буржуазия, капиталисты, богачи-обыватели сами подносят ему земной шар на серебряном блюде в обмен на прибыль и другие личные выгоды, ибо всемирная диктатура Горбачева или его преемника лежит вне сферы личных интересов западных и советских нэпманов так же, как вне ее лежала местная диктатура Сталина.

История последних сорока лет напоминает русскую сказку о бесе, который сам никогда не боролся с балдой, а выпускал против него своих бесенят. Бесенята советского беса — это Северная Корея, потом Северный Вьетнам, а ныне Ирак. Балда, то есть США, борется с бесенятами, не замечая, что это лишь крошечные бесенята, в то время как глобально-космическое военное превосходство самого исполина растет с каждым годом. На что рассчитывает Запад? На мещанскую болтовню миллионов Рональдов Рейганов, желающих жить и поэтому не желающих замечать рост глобального военного превосходства Кремля? Но ведь это и есть утопия, причем та самая, которая всегда вела жизнерадостных обывателей XX века в светлое будущее, то есть в рабство или смерть.



*Елена ГЕССЕН*

## **ПИСАТЕЛЬ НА ЗАВТРА, ИЛИ ПРИМЕР МАКАНИНА**

Минувшим летом в «Литгазете» появилась статья, незамедлительно вызвавшая яростный и раздраженный отпор, что по нынешним бурным временам весьма удивительно — поскольку посвящена эта статья была не переходу к рынку, не политическим или национальным проблемам, но теме более или менее безобидной и, во всяком случае, далеко не столь животрепещущей, как перечисленные выше. Называлась она «Поминки по советской литературе», принадлежала самому, пожалуй, интересному из ныне пишущих литературоведов Виктору Ерофееву, и утверждалось там, что часы советской литературы пробили, выжить она не способна ни в какой своей ипостаси — ни в официозной, ни в деревенской, ни в либеральной, а потому пора отрясти ее прах с наших ног и приняться за создание новой литературы, которую автор предварительно обозначил как альтернативную. «Счастливые похороны, совпадающие по времени с похоронами социально-политического

маразма, — писал критик, — дают надежду на то, что в России появится новая литература, которая будет не больше и не меньше, чем литература». Это, в общем, довольно логичное построение вызвало, как уже говорилось, отпор и досаду: достаточно перечислить названия статей «быстрого реагирования» — «Во чьем пиру похмелье», «Панихида с кнутиком», «Да здравствует литература» и др. Раздражение отвечавших на ерофеевскую статью вызвало и перечисление автором примет грядущей, завтрашней литературы: она «противостоит старой прежде всего готовностью к диалогу с любой... культурой для создания полисемантической, полистилистической структуры с... опорой на опыт русской философии начала XX века, на экзистенциальный опыт мирового искусства, на философско-антропологические открытия XX века, оставшиеся за бортом советской культуры, на адаптацию к ситуации свободного самовыражения и отказ от спекулятивной публицистичности».

Между тем, похоже, что пример такой литературы уже дан — и не только в произведениях вчерашнего подполья, лишь недавно получивших доступ к печатному станку, он дан у Владимира Маканина, одного из самых печатаемых и самых противоречивых сегодняшних писателей. И одного из самых непонятных — хотя попытки понять предпринимаются постоянно. За двадцать пять лет его работы в литературе (первый роман «Прямая пиния» датирован 1965 годом) не найти, пожалуй, ни одного сколько-нибудь заметного критика, правого, левого ли толка, который хоть раз не высказался бы относительно маканинской прозы: Лев Аннинский, Владимир Бондаренко, Игорь Дедков, Наталья Иванова, Алла Марченко, Инна Соловьева, дуэт Пискуновых — называю лишь самых приметных. Не обойден он и эмигрантской критикой, вообще-то довольно ленивой и нелюбопытной. Мне известны по крайней мере три статьи, появившиеся в эмигрантских журналах. В одной ему пытались приписать антисоветчину — вовсе ему несвойственную, в другой утверждалось, что в человеке писателя интересует лишь его биологическая природа, в третьей, полной мало разъясненного захлеба, его проза сравнивалась

с концертом в Малом зале консерватории и серым московским днем. Что ж, каждый пишет, как он слышит, — только проза Маканина этим отнюдь не исчерпывается.

Разнобой и пестрота критических мнений вокруг Маканина объясняется, среди прочего, и тем, что начинал он, как многие, с ростиньяковской ноты, с оглядки на собственный опыт юности, приехавшего в Москву из уральского захолустья и ошеломленного большим городом, который подлежал завоеванию и предназначался победителю. При этом щемящая тоска по оставленным местам, по «старому поселку» создавала абстрактно-противоречивый фон, придававший «городской прозе» начинающего Маканина оттенок некоторого своеобразия. Так создавалось клише социально ориентированного писателя, в творчестве которого ставятся и решаются «нравственные проблемы наших дней», даются «психологически и социально достоверные портреты современников», и довольно долго критика все им написанное заносила по этому разряду — до тех пор, пока это написанное не начало с тугой настойчивостью лезть из клише, как перебродившее тесто из квашни, и не замечать этот процесс стало уже почти неприлично. Тогда-то и начались критические разброд и шатания.

Маканин не относится к числу литераторов, охотно дающих интервью, поясняющих, в какие часы утра ему лучше всего пишется и что именно он хотел сказать тем или иным образом. Но никто, пожалуй, в современной русской литературе не вводит столь часто и охотно в текст писателя (самого себя?), сочинителя, придумавшего своих героев и на глазах у читателя прикидывающего варианты их судеб, просчитывающего сюжетные ходы, наконец, напрямую размышляющего о своем литературном труде. Похоже, следя за превращениями этого гипотетического альтер эго, можно кое-что понять и в развитии самого Маканина.

В повести «Погоня» (1979) молодой писатель Игорь Петрович уходит из дома от тирании тещи, ведущей неусыпный надзор над стуком его пишущей машинки, попадает к спекулянтам, вынужден сам заняться спекуляцией, но и о своем призвании не забывает и рядом с подсчетами прибылей и долгов заню-



сит в записную книжку наблюдения над незнакомой ему сферой жизни: авось пригодятся на будущее. Можно предположить, что так зафиксирован Маканиным первый этап его творчества, этап сбора и прикидки, когда он прилежно учился у старой прозы, словно примериваясь к разным жанрам, осваивая бродячие сюжеты и пробуя на зуб различные типы героев. Тут шли в дело и плутовской роман, и городской анекдот, и молодежная повесть «оттепельного» образца, в действии участвовали ниспровергатели основ и конформисты, детдомовцы и плуты (в современном варианте перевоплощавшиеся в фарцовщиков и книжных спекулянтов).

Писатель из романа «Портрет и вокруг» тоже занят сбором материала, только это уже — сбор-осмысление, с установкой на создание портрета реального человека. Правда, замысел с самого начала отдает умыслом: материал подбирается под уже почти готовый образ. Затея не удастся, жизнь начисто отвергает стереотип, и портрет, задуманный исключительно в черных тонах, расцветивается новыми и неожиданными красками. Позже собиратель, превратившийся в аналитика (или, в маканинском словаре, «копателя»), заключит, что «портрет, как всякий жанр, — заблуждение. Игра с собой. Но и хуже — игра с читателем... Портрет ничего не может выразить, даже и того, что он портрет». Впрочем, и сюжет не лучше: «Портрет и сюжет — два глупых всеобщих мифа, за который пишущие люди держатся, как римляне за греков». Как выразился Лев Аннинский, Маканину стало интересно не то, что в портрете, а то, что вокруг. Но произошло это как раз после создания галереи блистательных портретов, вереницы типов, которые были едва ли не зеркальным отражением героев — а вернее, анти-героев — нашего времени. Тут был, например, мебельщик Михайлов из «Отдушины», словно воплотивший в себе практицизм и антидуховность семидесятых, «мебельного времени», «полосы обменов», когда обмен (размену) подлежали не только — и не столько — квартиры, но и чувства и традиции, а порой и честь, и любовь, и порядочность, а то и сами судьбы человеческие («Ключарев и Алимускин»), когда обмен сплошь да рядом превращался в обман, в подмену — и не только в ре-

зультате словесных игр, подстановок и аллитераций, но по неписаным законам времени и среды. Тут же был и «человек свиты» Родионцев, видевший смысл и цвет жизни исключительно в холуйстве, в существовании подле порога директорского кабинета, и «антилидер» Куренков, органически, до физической боли, до страдания не переносящий никаких отклонений от установленной средой его обитания человеческой «нормы», и «гражданин убегающий», страстный любитель дикой природы и одновременно ее разрушитель и злостный неплательщик алиментов, обаятельнейший Павел Алексеевич, настаигаемый, словно разгневанными Эриниями, своими давно брошенными детьми, — типы, никак не ограниченные ни временем, ни пространством, существовавшие во все века и на всех широтах. И ретроспективно приходила мысль, что, может, и те рассказы, где так остро чувствовалась современность, были отнюдь не на злободневность нацелены, но представляли собой по преимуществу поиск всечеловеческой сути и сущности, нащупывание различных типов человеческого поведения.

Наиболее внятно высказался Маканин о писательском ремесле в «Голосах» (1977), повести, которую можно назвать программной. Обладающая сложной полифонической структурой, склеенная наподобие лоскутного одеяла из разных и разнородных кусков — воспоминания о детстве в уральском поселке, притча о появлении барабана, легенда об уральском разбойнике, начало задуманного рассказа, сильно упрощенный парафраз собственной повести «Отдушина», эссе о Гоголе, — стержень этой вещи — размышления о сути писательского труда.

Попытки передать в слове свой опыт приводят писателя к горькому заключению, что жизнь невозможно зафиксировать, воплотить в слове: «Одна из первых утрат пишущего — понимание, что живой в нашем деле не участвует. Возникает ощущение неслышимых голосов или, скажем, огоньков — ощущение, что тебе по силам, быть может, изображение быта, мыслей, дней и ночей людских, черточек и штрихов характера, но сами-то «живые» в стороне, они живут и живут, а потом

они умирают, гаснут, как гаснут ночью огоньки, а ты, сколь жаростно ни спеши, ничего не успеешь».

И в качестве единственного способа запечатления жизни, в противоположность «всегдашним и вечным» стереотипам, предлагается то, что писатель называет голосами, то, что звучит в человеческой душе, взывая к воплощению. Голосом может стать что угодно: «голос несет в себе желтые вершины гор или степь или Курский вокзал, он несет в себе ту или иную боль, то или иное поразившее тебя, но вполне конкретное человеческое лицо, конкретно улицу или конкретно поселок. В каждом человеке есть свое и особое кладбище голосов. Они погибли. О них можно помнить, но поправить уже ничего нельзя, потому что их звучание в тебе кончилось: они мертвы».

Открытие голосов несводимо ни к литературной игре, ни к роду пижонства, ни к уловке — оно порождено стремлением перейти от конкретных наблюдений к обобщениям, от событий сегодняшних — к вневременным, от времени событийного — к времени бытийному. Это стремление отразилось и в построении самой повести, с ее удивительно четко и изящно выдержанной рамочной конструкцией: начинаясь с рассказа о короткой жизни и жестокой смерти тринадцатилетнего Кольки Мистера, повесть кончается обобщенным образом ухода человечества, когда моющиеся в бане старики, застигнутые автором в момент обнажения немощной старческой плоти, неспешно, один за другим скрываются в парилке. «Студент и болтун, уже подпорченный игрой обобщений, я видел, что это уходят люди вообще... люди как бы дошли до своего конца и часа, исчерпали развитие, — и опять уходили в воду, в пар». Маканин мог бы повторить вслед за Пастернаком: «Не знаю, решена ль / Загадка зги загробной, / Но жизнь, как тишина / Осенняя подробна». Или — вслед за Томасом Манном: «Существует какая-то закономерность в том, что в известном возрасте начинаешь терять вкус ко всему чисто индивидуальному и частному, к отдельным конкретным случаям... к житейскому и повседневному... На передний план выходит интерес к... вечно человеческому, вечно повторяющемуся, вневременному, короче говоря — к области мифического».

Сквозной миф маканинского творчества, вообще чрезвычайно богатого взаимопересечениями, пронизанного как бы общим током, — это, несомненно, старый поселок, что-то вроде святого Грааля, к которому никак не могут добраться маканинские герои, кровно связанные, как единой родословной, этим старым поселком где-то едва ли не на краю земли — хотя на самом деле всего лишь на Урале. Ощущение бесконечной отдаленности возникает оттого, что взрослому герою поселок этот становится недоступен. Он стремится назад, тоскует, видит сны — но когда наконец, преодолев, как и положено искателю Грааля, все препятствия, попадает туда, оказывается, что ничего давно уже нет: «Старый Поселок мертв. Пуст. Ни бараков, ни котельной... Остатки остатков... Ключарев бродит и каждую минуту ловит себя на том, что никак не может совместиться с этим вымершим местом».

Разумеется, происходящее с героем куда серьезнее, чем просто неудавшееся возвращение на святые руины: в маканинской системе возвращение в поселок становится актом прикосновения к чему-то непреходящему (хотя, в действительности, давно прошедшему), прорывом в подлинность — из рутины повседневности, о которой и говорить-то не стоит, и потому этот мотив возвращается с постоянством музыкальной темы. В «Утрате», одной из позднейших повестей, герой, некий «он», лишенный даже имени («человек — а ему уже лет за сорок, и имя его не важно»), оказывается не просто на руинах, но на кладбище поселка, находит могилы родных и «совсем уж удивительный крест, не крест, а то, что осталось: три чурочки, которые, бляя, так и лежали рядом. Ни имени. Ни дат. На жестяном листочке сохранилось нестертым только длящееся тире... и больше ничего: сама вечность».

Поселок с его барачным укладом у Маканина — аналог некоего начального, первобытного общества, в котором человеческое «я» еще не выявлено, еще не существует. В бараке царит атмосфера безындивидуальности, все словно на одно лицо: «Мать и отец не замечались, как не замечались и прочие». Неимоверная теснота мешает людям хоть как-то проявлять свои собственные свойства, каждый, чтобы выжить, должен

обезличиться, стать как все. Маканин сравнивает эту противостоющую общность с общностью естественной: деревья, чтобы они росли, необходимо прореживать, а с людьми «само собой происходит нечто, в силу чего они уплотняются, незаметным, невидимым образом, и прореживать их не надо: живут... Одинаковость — это и было прореживание в людях, это и было платой за тесноту».

Человеческая подлинность способна проявиться только в отрыве от барака, вне поселковой общности. Ключарев, изблуженный герой маканинской прозы 70-х годов, впервые сталкивается с характерами, лишь попав в деревню к бабке, причем с характерами не просто яркими, но, что важнее, разными: бабушка Матрена — крестьянка в красной косынке, грубоватая, с заскорузлыми от работы руками, самолюбивая, уверенная в себе и в чем-то жестокая, и «голубая» бабушка Наталья — дворянка, голубая по цвету платья, по таинственному свечению лица, хрупкая, беззащитная, но гордая и несгибаемая в своем достоинстве, всегда прямо держащая спину. «В бабках... личное бросалось в глаза прямо и непосредственно, зато и было влияние: уже тогда, без жестокой поступи и в душе не наследив, незримым путем голубое и красное из цветов превратилось в некое знание жизни». В повести «Голубое и красное» запечатлен момент, когда в душе маленького Ключарева зазвучали собственные голоса. Томас Манн когда-то сказал об аналогичном процессе, что «рассказывал о рождении 'я' из первобытного коллектива». Маканин дает этому свое определение: «Голос выбивался из хора и — пусть даже слабый — был слышен... а сам хор... делался рядом с ним как бы фоном, как бы тишиной или молчанием».

Противопоставление хора и голоса составляет мифопоэтическую основу и повести «Где сходилась небо с холмами». Аварийный поселок, в котором вырос композитор Башилов, остается в его памяти местом обитания мифических великанов, огромных людей, вступающих в поединок с огнем (поселок при небольшом заводике и создан-то специально для борьбы с пожарами) и мастерски владеющих искусством пения. Но за музыкальный дар Башилова поселок платит страшной це-

ной: из него постепенно уходит песня. Знак надвигающейся беды можно различить еще раньше, когда талантливый подросток провожает в Москву один из лучших певцов поселка — «первый силач, красавец и прекрасный низкий голос с чарующей кантиленой» — и, впервые попробовав московского пива, увлекается им столь самозабвенно, что теряет голос. А когда через годы Башилов, уже ставший композитором, приезжает на несколько дней в поселок, его поражает видимое начало утраты песенного дара — хотя ему пока еще невнятен пророчески-злой выкрик поселковой старухи: «У, пьявка, высосал из нас все соки! Души высосал...» Но проходит еще время — и теперь, отправляясь в поселок, Башилов уже не обманывается, знает, что едет «на песенные руины»: красота и плавность поселковых песен, ставших источниками башиловской музыки, окончательно сменились модными шлягерами, звучащими из приемников, и никто, кроме самого композитора, не тоскует по утраченному искусству и не ощущает немоту, охватившую поселок, как постигшее его наказание. «Он смотрел туда, где сходилась небо с холмами. Эта врезавшаяся в память волнистая линия жила в Башилове постоянно. В больших городах и в малых, в Бухаре и в Киеве, стоило закрыть глаза, линия холмов рождала мелодию еще раньше, чем он успевал о чем-либо подумать. Но, кажется, волнистая эта линия плодоносила именно в воспоминаниях, и только в воспоминаниях. Он ее унес. И здесь, наяву, эта местность уже ничего не рождала. Она была выпита...» Не стоит искать в этом сюжете традиционных для писателей почвеннического склада ламентаций насчет того, что цивилизация несет гибель живому и естественному деревенскому укладу (ладу). Сохранение повести существенно шире, глубже и не сводимо к столь оголенно-упрощенному толкованию.

Потеря голоса или немота в маканинской системе равнозначна потере индивидуальности: в рассказе «Дашенька» милая молодая женщина, чтобы полностью привязать к себе мужа, много превосходящего ее интеллектуально, добивается его полного молчания, отучает говорить. В другом месте возникает образ безголосых, «забракованных» мальчиков, не при-

нятых в хор: они потерянно бредут неведомо куда, и «пыльные дороги и белое марево поглощали их каждого в отдельности». Тут, вероятно, очень важен этот зрительный образ «каждого в отдельности»: ведь если бы мальчики шли вместе — они и исчезли бы из виду все разом, группкой, «стайкой», однако подчеркивается именно их разъединенность, обособленность, одиночество каждого. «Голоса, не попавшие в хор», голоса, отпочковавшиеся от хора, выделившиеся или выпавшие из него, превращаются в символ человеческого одиночества, получающий наиболее развернутое воплощение в одной из последних повестей, «Один и одна» (написана в 1983, опубликована в 1987), где уже разорванность названия предвещает читателя о главном свойстве персонажей: их беспредельном одиночестве и неумении обнаруживать друг друга.

Люди шестидесятых годов, унесшие с собой в другое время юношеский максимализм, идеализм и романтический строй тех лет, Нинель Николаевна и Геннадий Павлович пережили «сезон своей души». В новой эпохе, которая кажется им эрой прагматизма и бездуховности, они чужие, странники без руля и ветрил, обреченные на существование вне настоящего, несовпадение с ним: героиня придумывает себе несуществующие связи, героя постоянно отовсюду выталкивают, выбрасывают — из такси, из завязавшихся было дружб и привязанностей, его понижают в должности (тоже род выпадения), наконец, молодые подвыпившие парни выбрасывают его из электрички: «все было так быстро» — этими словами завершается и рассказ Геннадия Голощекова о последнем «выпадении», и сама повесть.

Отношения человека со временем становятся, пожалуй, центральной темой Маканина в последних повестях, уже полностью бессюжетных, где пересекаются несколько планов повествования, и само повествование строится как бы по круговому принципу — основные события прокручиваются по несколько раз: сначала нам предлагается как бы конспект события, а затем оно повторяется либо более подробно, либо чуть-чуть в другом ракурсе, как бы с другой точки зрения: словно из краткой записи в блокноте рождается рассказ (или

даже несколько его вариантов). В музыке — а прозе Маканина несомненно присуща внутренняя музыкальность — такая форма называется рефренно-вариационной. Повести «Утрата» и «Отставший» состоят как бы из трех разных пространственно-временных слоев: в «Утрате» старая уральская легенда соседствует с историей болезни героя, лежащего в травматологической палате в московской больнице, и с историей возвращения другого персонажа в родной поселок. В «Отставшем», где диапазон повествования расширяется еще больше, тоже сводятся воедино уральская легенда, воспоминания героя о первой любви и первом писательском опыте, и все это рассказано из сегодняшнего дня, заботы и дела которого составляют один из планов повести, и эти разные временные планы и пространственные плоскости непременно в какой-то точке соприкасаются. Достижимый эффект точно определила Инна Соловьева: «Глухая, волнующая энергия всякий раз рождается тем, что близко сдвинуты непересекающиеся плоскости повествования: между ними наэлектризованное поле, при перемещении в этом поле возникает ток».

Но, пожалуй, самый частый и постоянно возвращающийся маканинский мотив — это плач ребенка, возникающий посреди повествования иной раз таинственно и внезапно, вне всякой связи с сюжетом — и всегда остающийся неразъясненным. В «Рассказе о рассказе» герой день за днем слышит через тонкие стены современного звукопроницаемого дома детский плач; когда он приходит наконец в квартиру, откуда, по его расчетам, плач доносится, открывший дверь мужчина недоуменно пожимает плечами: в квартире, объясняет он, нет детей. Герой поворачивается, чтобы уйти, и в последний момент замечает у ноги соседа плюшевого зверя с бантом... Герой «Предтечи», гениальный целитель, «старикан с восемью классами школы, с ИТК и с упавшим на голову бревном», которое и пробудило в нем уникальный дар врачевания, вдруг посреди пустующей улицы в ночи говорил: «Ребенок где-то плачет». «Никакого и нигде, конечно, ребенка». И только через несколько минут спутники старика явственно слышали «плач ли, крик ли детский... Где-то сверху. В одном из высоких домов». В

«Утрате» герой из больничного коридора видит в окне дома напротив личико девочки, что-то кричащей ему — ему кажется, зывающей о помощи. Он бросается туда, идти трудно — он на костылях, дойти невозможно, — он попадает в лабиринт каких-то странных коридоров, оказывается в подземном туннеле, который роет упрямый Пекалов, и все же он вновь и вновь повторяет попытки добраться до девочки, отчаянно жестикулирующей в окне. Дойдет ли он? Скорее всего, нет. Но, может, тут важнее сама попытка, порыв дойти, дотянуться, достучаться, докричаться? Попытка окликнуть человека в обыденности и глухоте его существования? Не случайно ведь самый удивительный из маканинских героев, «предтеча» Якушкин, исцеляющий не только травами и гипнозом, но и словесными заклинаниями — о любви к людям, о необходимости нравственной и праведной жизни, — рассказывает своим ученикам притчу о племени, идущем к смертельному обрыву, и спасителе, который, понимая это, постоянно отвлекает внимание идущих, и они, ругая болтуна, мешающего их продвижению, все же неуклонно отклоняются от пути в смерть. И вот: «Я окликаю вас», — говорит о себе Якушкин. Пожалуй, в этих словах можно увидеть и авторское кредо: окликнуть в человеке — человеческое, в неразлично-общем — личное, индивидуальное, уловить необщее выражение лица в плотной, невычленяемой толпе, найти «душу живу». Не те ли же самые стремления столь популярны в сегодняшнем советском обществе?

И все же — лучше поостеречься от подыскивания маканинской прозы вульгарно-социологических аналогов. От этого предостерегает нас и сам автор — как всегда, негромко, но достаточно явственно. Повесть «Голоса» открывается поэтичным описанием гор, памятных герою с детства: дойти до их желтых вершин невозможно, хотя видны они были хорошо и казались вполне достижимыми. Стоило, однако, пуститься в путь, как «желтые горы оказывались не там, где мы сидели и где разжигали костер, а дальше — горы как бы отодвигались. Сколько ни иди, желтые вершины отодвигались, и попасть на них было нельзя — а видеть их было можно». Таким «отодви-

гающимся» эффектом обладает, похоже, и проза Маканина: чем ближе подходишь к ней, тем больше возникает вопросов и тем меньше уверенности в правильности ответов. Но нелегкое это путешествие несет радость познания человека и мира в их сложных, неоднозначных и вневременных связях — и потому, несомненно, пускаться в него стоит.

---

## Виктор ПЕРЕЛЬМАН ТЕАТР АБСУРДА

**Комедийно-философское повествование о  
моих двух эмиграциях. Опыт антимемуаров**

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; «Свободный мир»; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

### ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП «АВРОРЫ»

Инженер Сэм Житницкий; «Оплот Израиля»; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе.

### ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака.

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE  
LEONIA, NJ 07605, USA  
Tel. (201)592-6155**

Цена книги 10 долларов.

---



Вадим ЯРМОЛИНЕЦ

## СЛОВО О ПОП-МУЗЫКЕ

Итак, тема разговора: есть ли в России рок и каков он? Лично я с детства привык к мысли, что все советское имеет качество ниже среднего или, в самом лучшем случае, среднее. Начиная обувью и заканчивая популярной музыкой. Даже венгерский или чехословацкий рок еще пятнадцать лет назад был лучше советского. Да и был ли он — советский рок? «Песняры», «Верасы», «Цветы», «Ариэль», «Маки» и всевозможные «Гитары» относились к жанру вокально-инструментальных ансамблей. ВИА было упадочным просоветским лирическим направлением, искусственно созданным силами членов Союзов композиторов и писателей. Писатели писали стихи, а композиторы перекладывали их на музыку. Или наоборот. Сути дела это не меняло.

Мы, группа начинающих музыкальных критиков, собиравшихся вокруг разбитого магнитофона, слушать вокально-инструментальные ансамбли не могли. Эта музыка была невкусной и бесконечно однообразной, какой бывает в детстве ман-

ная каша. До сих пор стоит у меня во рту ее маслянистый сладковатый вкус:

Веселей ребята, выпало нам

Строить путь железный, а точнее — БАМ!

Музыка была отвратной, и бодряческий псевдоэнтузиазм песни тоже был отвратный. А какую еще музыку можно было положить на эти стихи? Но дело было не в музыке, а в словах. Они сразу же были обречены на неуспех, поскольку не было идеи более далекой от моих сверстников, чем идея грандиозного строительства, которое впоследствии и в официальном порядке было признано совершенным абсурдом. «А точнее — БАМ!»\* был так же далек от моих сверстников, как и посадка яблонь на Марсе, как и бьющее через край содатское счастье, вызванное созерцанием собственного мундира.

У солдата выходной — пуговицы в ряд

Ярче солнечного дня золотом горят!

Все эти «бессмертные» произведения приговорили жанр к тотальному презрению. Концертная система этому способствовала. Один из участников ВИА «Аракс» рассказывал мне, что в конце семидесятых годов существовала норма, согласно которой они должны были исполнять в своих концертах 80 процентов произведений членов творческих союзов и 20 процентов — собственных. В том случае, если собственные проходили через худсовет, состоявший все из тех же членов.

Один раз в этой системе все же была пробита брешь. Это случилось, когда Тухманов выпустил пластинку «По волне моей памяти», использовав в качестве текстов песен классическое наследие и лишив этим самым куску хлеба пару-другую любимых народом и партией поэтов-песенников.

Но это был лишь один случай. В семнадцать лет мне недосуг было выискивать какие-то другие примеры, подтверждающие жизнеспособность советской эстрады. Я осваивал Хендрикса, Сантану, Боба Дилана, Боба Марлея, группу «Уор» и многих других. Внимательный читатель сразу обратит внимание на подбор имен. Все они как бы относятся к року, но в то же время представляют самые разные его направления, которые родились в разных странах. Музыка Сантаны уходит

\* Правильно — «А короче — БАМ» (Д.Т.)

корнями в традиционную музыку Латинской Америки, Дилана — в американское кантри, «Уор» — в афро-американскую культуру, Боба Марлея — в ямайскую. Единственное, что объединяло разных исполнителей, во всяком случае, в первом приближении, — это электрические инструменты.

Тут напрашивается первый вывод. Видимо, мы просто не сразу поняли, что наши первые ВИА и были нашим родным российским роком. Для того чтобы обнаружить его, надо было просто отбросить советскую жизнеудушающую идеологию со всеми ее членами-прихлебателями и их «пуговицами в ряд», что мы, собственно, и делали: мы просто включали магнитофон и слушали то, что нам нравилось.

### **ДВА СЛОВА О КЛАССОВОМ ПОДХОДЕ**

Классовый подход — самый ущербный подход в мире. Особенно в оценке произведений искусства. И все же я позволю себе его применить к поп- и рок-музыке с единственной оговоркой. Подход этот, по моему глубококому убеждению, довольно полно отражает положение вещей в интересующей нас сфере.

Когда-то джаз, а следом за ним и более новые направления популярной музыки относились советскими идеологами к «музыке толстых». Это считалось упадочным буржуазным искусством, и наиболее выдающиеся деятели советской культуры десятилетиями усердно поливали его грязью. Постепенно их стало вытеснять новое поколение идеологов и культурологов. Эти сами уже не прочь поплясать под охаиваемую ими музыку. Кроме того, сопротивляться совершенно бесконтрольному записыванию и перезаписыванию новой музыки было бессмысленно. Это был замечательный и вполне распространенный советский парадокс. В магазинах не было ничего, зато в холодильниках полно. Фирма «Мелодия» в начале семидесятых годов, кажется, и не намеревалась издавать пластинки, которые тиражировались на Западе миллионами, а в редком доме не было записей «Битлов» или «Ролингов». Идеологам надо было как-то адаптироваться к новой ситуации. На выручку пришел

ими же придуманный классовый подход. Именно благодаря ему мы узнали такие термины, как «песни протеста» или «печальные госпелз американских негров». За этими словами можно было просто увидеть, как молодые люди прямо с рок-концертов идут штурмовать Белый дом или обреченных на каторжный труд чернокожих, двадцать четыре часа в сутки собирающих хлопок под звон собственных кандалов. Эти термины даже не допускали мысли о том, что какой-нибудь чернокожий бедолага типа Рэя Чарльза или нашего уже современника Майкла Джексона мог владеть стомиллионным состоянием и соответственно всем тем, что за эти миллионы можно купить.

Тут мне вспоминается одна замечательная история. В 1986 году я работал в областной комсомольской газете, где вел музыкальную рубрику. Однажды, по просьбе некоего не в меру любопытного читателя, я подготовил совсем крохотную заметку о Джимми Хендриксе. Моим шефом тогда был один совершеннейший дебил, который ныне занимается возрождением украинской национальной культуры. Так вот он мне относительно моей заметки и приложенной к ней фотографии Хендрикса сказал так: «Если бы этого негра били дубинкой по голове, мы бы эту карточку напечатали. А этот счастливо улыбается. Это нам не подойдет». «А как же музыка?» — спросил я. «А музыка тут ни при чем».

Такой подход был основополагающим в оценке музыкальных произведений. Например, самих «Битлов» у нас как бы не очень привечали, а вот исполнявшего их песни коммуниста Дина Рида просто на руках носили.

Нашу, «прогрессивную» музыку могли исполнять только наши, прогрессивные люди. Этот подход стал возможным потому, что преобладающая масса поп и рок-музыкантов была выходцами из нижних или средних слоев общества. За их спинами почти всегда стояла бедность, и они всегда могли сказать пару-другую фраз в адрес своего правительства или общества, которые советские идеологи встречали «на ура». Повод мог быть минимальным. Например, своим приездом в СССР английская группа «UB-40» обязана исключительно своему имени «Ан-имплоймент бенефит» — название анкеты, которую заполняют

безработные для получения пособия, что подтверждает наличие «проблемы занятости среди молодежи Великобритании».

Итак, большинство интересующих нас музыкантов были выходцами из средних и низших классов общества. Скажем так: из рабочей среды. Этот факт приветствовался. Вместе с тем, признавая его, советские идеологи упустили из виду, что люди эти обладали весьма невысоким уровнем культуры. А порой не обладали ею вовсе. Это во многом определило содержание и форму этой культуры. За основу она брала в разных странах традиционную местную музыку, а тексты песен создавали сами музыканты. Они создавали их на языке улицы, на жаргоне, в них употреблялись те слова, которые в английском языке состояли из четырех букв, и это было необходимой составной рока. Простота и средний культурный уровень текста должен был подкреплять природную агрессивность музыки. Или ее сентиментальность.

Не так давно в городке Форт-Лодердейл во Флориде состоялся суд над рэп-группой «2 лайв крю». Членов группы обвинили в непристойности. В текстах их песен было много ругательств, и все они были о всевозможных сексуальных извращениях. Истцов это потрясло. Я, например, каждый день наблюдая черных подростков в нью-йоркском сабвее, абсолютно точно знаю, что из каждых произнесенных ими трех слов два — это слова «фак», «бич» или «шит». Говорить иначе они не умеют. То есть если где-то рядом слышны такие слова, значит, эти ребята тоже где-то здесь. Слова эти — их опознавательный знак. Можно даже сказать, что если бы этих слов в их песнях не было, то их рэп перестал бы быть их музыкой. Он бы вообще перестал быть музыкой, потому что эту музыку поддерживает энергия слов.

Теперь сделаем очередной вывод. Музыка, которую исполняли советские ВИА, не нашла душевного отклика в сердцах моих сверстников по той простой причине, что писали ее не сами мои сверстники, а их старшие, умудренные опытом товарищи, члены партии и творческих союзов. Классовый принцип рока был нарушен. Дело было даже не в том, что в их песнях не было русских слов-эквивалентов английских «фак», «бич»

и «шит», а в самом подходе к делу. Творческие члены были сытыми, уравновешенными и, как правило, людьми в возрасте. Рок требовал упрощенного взгляда на жизнь и юношеской непримиримости. Ни Пахмутова, ни Добронравов, ни Шаферан тут не тянули.

Между тем, классовая основа для российского рока, можно сказать, валялась под ногами. Она не была похожа на традиционный рок-н-ролл, как на него не были похожи реггей или кантри. Это была русская народная городская песня, которую еще называют блатной. Репертуар этого жанра поистине неисчерпаем. Когда-то им плодотворно пользовался самый выдающийся отечественный джазмен Леонид Осипович Утесов. И «У самовара я и моя Маша», и «Лимончики», и десятки других, так называемых блатных песен, стали основой его творчества, и если бы не железная рука сталинских блюстителей культуры, они заложили бы основу для российского джаза. Увы, этого не произошло. Позже Утесов переключился на исполнение очень популярных в народе произведений типа «Нам песня строить и жить помогает». Я не оспариваю музыкальных достоинств этой песни. Привлекает другой факт. Превращение джазмена в исполнителя того жанра, который через сорок лет был назван вокально-инструментальным.

## РОДНАЯ БЛАТНАЯ

Мне кажется, Владимир Высоцкий тем интересен и ценен, что блатную народную субкультуру стилизовал и поднял в ряд культуры. И в самом начале своего творчества и в последние годы он постоянно обращался к двум источникам: блатному городскому и песенному простонародному. Это тот редкий случай, когда не стыдно применить набившее оскомину определение о том, что они стали живительными источниками его вдохновения. Я далек от мысли называть Высоцкого провозвестником российского рока. Вероятно, музыка как таковая его интересовала в последнюю очередь. Главным для него был текст, а гитара лишь подручным средством. И именно потому, что музыка его не занимала, он, не мудрствуя лукаво, пошел



от первого, что было под руками — четырех блатных аккордов. Да и трудно было бы себе представить положенными на размер рок-н-ролла его песни «В королевстве, где все тихо и ладно» или двенадцатитактового блюза «Коней».

У первых советских рокеров были другие ориентиры. Душой они были на Западе, а вся местная культура для них просто не существовала. Между тем опыты освоения этого материала были налицо. Гребенщиков исполнил русскую народную песню «Город золотой» и с ног до головы блатного «Старика Козлодоева»:

**Сползает по крыше старик Козлодоев  
Пронырливый, как коростель.  
Мечтает забраться старик Козлодоев  
К какой-нибудь бабе в постель.**

Успех этих песен общеизвестен, и факт того, что Соловьев использовал их в «Ассе» тоже не случаен. Именно эта пора творчества Гребенщикова принесла ему известность и заслуженную популярность. Потом он отправился на Запад и стал здесь приобщаться к западной рок-культуре. Местные предприниматели надеялись, что рок-звезда из России принесет на западный рынок какие-то свежие идеи, а рок-звезда, кажется направил все свои творческие возможности на то, чтобы адаптироваться, снивелироваться, стать не хуже других. Результатом эксперимента не остался доволен никто. Гребенщиков выпустил пластинку, которая не нашла откликов ни на Западе, ни на Востоке.

Но речь сейчас о другом. О подходе к текстовому материалу. Подход Пахмутовой, Добронравова, Шаферана и иже с ними был безличностным, общесоветским и стало быть всем чуждым. «Я сегодня до зари встану. По широкому пройду полю». Кто я? По какому полю? За каким, мягко говоря, бесом? Неважно, кто — я. Просто я. Или даже лучше сказать, все мы. Все до зари встанем и, как повелось, все вместе пройдем по одному полю. И, по возможности, под присмотром военрука, политрука или, на худой конец, профорга. «Всей мы школой как один комплекс ГТО сдадим!». «Все на выполнение исторических предначертаний КПСС!».

Этот массово-политический безличностный подход убил наповал преобладающее число ВИА и популярных певцов. Высоцкий был, кажется, единственным исполнителем, чьи герои говорили от своего собственного лица. Он создал галерею образов: летчиков, зэков, шоферов, спортсменов, кухонных философов и просто тихих алкоголиков, которые жили рядом с нами и говорили на одном с нами языке.

Перестройка, изменение отношения к популярной молодежной культуре вызвали к жизни тысячи новых российских рок-групп. Но какие из них действительно самобытны и обращают на себя внимание? На мой взгляд, можно отобрать четыре. Это «Звуки Му», «Бригада С», «Браво» в ту пору, когда в составе группы была Жанна Агузарова, и «Кино», которое прекратило свое существование с трагической гибелью Цоя. Отобрать, исходя из единственного критерия — каждая группа создала на сцене знакомые нам типы. Сукачев создал суперобраз подонка, стилиги и хама-хозяина советской жизни; Цой — одинокого, ищущего себя подростка; Агузарова — провинциальной девочки, ждущей невиданного, сказочного, городского счастья; Мамонов — спившегося наркомана и дебила, сына спившихся дебилов, детей дебильной советской системы. Все эти группы играли в различных музыкальных направлениях, но у всех текст преобладал по значимости над музыкальной формой и в конечном итоге определял ее.

Такой состав, как «Черный кофе», по сути своей вырожденческий, поскольку хоть и поет про «деревянные церкви Руси», является не больше и не меньше, чем бледным подобием какого-нибудь «Блэк саббата». Кстати, говорят, что про деревянные церкви Варшавский запел только для того, чтобы выйти на высокую эстраду, до этого слова этих же песен были другими. И таких групп немало. Скажем, «Парк Горького», который создали специально для завоевания американского рынка (что само по себе смехотворно) и который без особого шума дал недавно один концерт во второсортном нью-йоркском клубе. Кстати, вместе с «Черным кофе».

Тут, по-моему, своевременно сделать очередной вывод: рок там обеспечивает себе будущее, где вырастает на классовых и национальных принципах.

### СИНИЙ ТУМАН НЕ ПОХОЖ НА ОБМАН

Во второй половине восьмидесятых, когда началась перестройка, цензура стала кончаться. Комсомольские работники отложили в дальние ящики списки запрещенных западных рок-групп, которые, казалось, будут насаждать на родине Октября «культ насилия, порнографии и средневекового мистицизма». В Москву и Ленинград поехали один за другим «Скорпионс», «Бон Джови», Ингви Мэлмстин и другие.

В Одессе солист новоиспеченной группы «Ассоциация профессиональных музыкантов», худосочный и лысый Алик Проскуров ревел своим чудовищным голосом:

**Рвутся на части слепые запреты,  
Время читает свой приговор,  
С тайных обычаев сняты запреты,  
Дьявол сзывает всех на костер!  
Смерть! Поднимает руки!  
Костлявые руки! Смерть!  
Е-а-а-а -а -а -а-а -а -а!**

И возбужденная до последней степени толпа подростков иступленно вторила ему: «Смерть!». Это был апофеоз «насилия, порнографии и средневекового мистицизма». Без подделки. И это происходило по всей стране.

Музыканты работали, как говорится, на голом энтузиазме. Некоторые, видя, как на них греют руки, потребовали оплаты. И тут оказалось, что «согласно действующим нормативам» их можно тарифицировать и платить от пяти до шестнадцати рублей за концерт. Для этого им надо было пройти тарификацию перед комиссией отдела культуры местного исполкома. Крупных ценителей творчества Пахмутовой, Добронравова и Шаферана. Молодежная пресса начала битву за то, чтобы музыканты получали от своих доходов столько, чтобы на это можно было жить, сохраняя человеческое достоинство. И тут произошло непредвиденное. Молодежь, хлынувшая к року и насытившаяся запретным плодом, охладела к нему. Считанные рок-группы, в которые входили вышеупомянувшиеся «Кино» и «Браво», еще продолжали собирать аудиторию. Сотни других выступали в полупустых или просто пустых залах.

Почему это произошло? Потому, что рок «Бон Джови», «Скорпионс» и их многочисленных советских имитаторов был по внутренней своей сути далек от российской культуры. Он привлекал, как привлекают красивые джинсы или кроссовки, но не грел. Он как бы не попадал в унисон с той песней, которую просило сердце россиянина и его знаменитая загадочная душа.

Этот запрос на все сто процентов выполнили новые поп-звезды. «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на раны» воплотили в себе все те основополагающие принципы, которые требовались невзыскательному российскому слушателю. Тут был и почти родной цыганский надрыв, и обиходная родная речь, и современное электрическое звучание инструментов, и совершенно необходимая для жанра доля пошлости, которая максимально приближала «Туман» с «Солью» к широким народным массам.

Когда известный музыкант и теоретик современной популярной музыки Алексей Козлов с сожалением говорит, что в Союзе не получили развития арт-рок, нью эйдж или джазовое направление, культивируемое фирмой грамзаписи «ЕСМ», я говорю — и не получат. И никогда не будет здесь своего «Пинк Флойда», и никогда не будет своего Пэта Метини, и не будет своего Андреаса Валенвейдера. Они будут у себя в Англии, США и Германии. А здесь в лучшем случае будут их бледные копии, типа той, которой стал в своем жанре «Парк Горького».

Вряд ли сейчас можно угадать, как будет развиваться российская популярная музыка. Одно кажется совершенно точным. Она будет полноценно выглядеть только тогда, когда в ее основу будет положена своя национальная культура.



## ПОЛНОТА И ФАТАЛЬНОСТЬ ИСТОРИИ

*Беседа журналиста Андрея Колесникова с критиком и публицистом Юрием Буртиным*

Редакторы и авторы «Нового мира» эпохи Твардовского в нашем сознании рисуются как личности легендарные, оппозиционеры, радикалы, словом — «шестидесятники». Некоторые из них и сегодня относятся к числу наиболее трезво мыслящих и проницательных писателей и публицистов.

Юри Буртин, работавший в «Новом мире» старшим редактором отдела публицистики, где он вел раздел «Наука и политика», не выступал в печати с 1970 года (т.е. после разгрома журнала) по 1986 год, когда в перестроечной прессе открылось свободное, но тогда еще... хорошо простреливаемое пространство.

Автор статьи «Вам, из другого поколения...» и незабвенной «Ахиллесовой пяты исторической теории Карла Маркса» стал сегодня одним из самых авторитетных критиков и публицистов.

В беседе мы сознательно избегали хорошо знакомых всем сюжетов из многосложной биографии «Нового мира», однако какого бы предмета ни касался Ю. Буртин, все равно в нашем разговоре невидимо присутствовала тема оппозиционного журнала, обойти которую, рассуждая об истории и литературе, вероятно, никак нельзя.

А. К. Юрий Григорьевич, дискутируя с Виктором Ерофеевым, вы писали о том, что существует тема парадоксального сосуществования в течение 70 лет казенной «литературы» и собственно литературы, т.е. того, что было правдиво и талантливо, но эта проблема требует специального разговора. Таким образом, вопрос вы оставили открытым. Как же все-таки совмещались эти две литературы?

Ю. Б. Понимаете, когда у нас сейчас говорят «70 лет», то в этих словах есть правильное и законное обобщение, потому что действительно система началась с момента революции. То, что «военный коммунизм» возник почти сразу, — это было естественным результатом социалистической революции. Вместе с тем, сейчас многие совершают ошибку, представляя это 70-летие как нечто однородное. А это, между прочим, 70 лет, заполненные жизнью нескольких поколений. В эти 70 лет входят очень разные периоды нашей истории.

В истории народной жизни и надо искать ответ на вопрос о причинах возникновения ненормальной ситуации: с одной стороны, тоталитарный режим не дает возможности поднять голову, а с другой стороны, существует литература. Надо рассматривать историю конкретно.

У меня написана книжка «Твардовский и его время. 1930 — 1954», где я показываю, как не похожи были по своему внутреннему социально-психологическому содержанию, характеру умонастроений такие, скажем, полосы, как тридцатые годы и война, послевоенный период и война, хрущевский период и дохрущевское время. Это была многосложная, многоступенчатая история.

Вот, например, взять войну. Война была в каком-то смысле периодом свободы. В.С.Гроссман в «Жизни и судьбе» берет военное время и на этом материале развертывает конфликт личности и государства. И война, конечно, давала для этого достаточно оснований. Но, с другой стороны, это был период очень высокой степени единства народа и государства, обусловленного общностью задач, тем, что государство, которое до этого не ставило народ ни во что, с первых же дней войны поняло простую вещь: защитить его может только народ. Сразу

началась другая эпоха общественной жизни. Этого факта мы недоосознаем.

Государство вдруг осуществило то, что мы сегодня называем приватизацией, предложив людям самостоятельно возделывать участки, кормиться самим. И это после коллективизации, налогов на приусадебный участок. Или другое: разрушены церкви, арестованы священники. А во время войны одним из первых движений было восстановление религиозных начал. И все это, повторюсь, было обусловлено необходимостью для государства взять себе народ в союзники.

И в прямой связи с этим находится невозможная в 30-е годы степень свободы литературы.

Ярчайший пример — поразительная внутренняя свобода «Теркина». В «Теркине» нет ни единого упоминания ни о Сталине, ни о партии, ни о революции, ни о Ленине. Советская власть лишь однажды упоминается только в таком контексте: «Вслед за властью за советской, вслед за фронтом шел наш брат». Это происходит совершенно стихийно, это не Твардовский 60-х годов, никакой оппозиции здесь нет. А если есть, то оппозиция официально вранью.

Из многослойности нашей истории и росла литература. Сама партийная политика по отношению к литературе тоже не была однородной. Тоталитарная система всегда вынуждена была говорить, что она хочет правды. Товарищ Сталин на вопрос о том, что значит социалистический реализм, отвечает знаменитыми словами: «Пишите правду!». И достаточная деликатность положения самого партийного руководства, и, главное, поднимавшиеся из земли, из народной почвы соки, которые питали живую литературу, обеспечивали постоянный приток в литературу народного опыта, правды. Значение «Нового мира» 60-х годов состояло прежде всего в том, что он дал этому выход.

Нельзя сбросить со счетов эти поколения людей, находившиеся с системой в разное время в разных отношениях. Эту полноту истории нужно учитывать, и тогда будет понятна разношерстность литературы.

А. К. «Новый мир» эпохи Твардовского, провозглашая правду, боролся с социальными, политическими, литературными

легендами и мифами. Свидетельство тому, например, статья В. Кардина, опубликованная в 66-м году. Ныне старая мифологическая система полностью разрушена, но не кажется ли вам, что на ее руинах возникает новая мифология со своим «пантеоном Богов» и стандартными сюжетами?

Ю. Б. Мне кажется, что старая система мифов еще не разрушена. Мы живем среди псевдонимов. Весь наш общественно-политический словарь настолько идеологизирован, что и сейчас мы, отбрасывая старые слова, поменяв знаки, все равно оказываемся в плену старых понятий. Мы говорим, что КПСС — это партия, что существовала однопартийная система, что партия это нечто более или менее однородное в своих социальных функциях, что сейчас противником демократических преобразований является КПСС. А на самом деле здесь на каждом шагу псевдонимы, фантомы. Происходит смена содержания тех же самых фантомов. Но фантомы остаются фантомами.

Сейчас у нас впервые за много лет снова появляется партия, происходит превращение в партию номенклатуры, которая раньше в этом не нуждалась. Как Саддам Хусейн прикрывался американскими и европейскими заложниками, так и номенклатура прикрывается миллионами еще не вышедших из партии коммунистов. Как только появляется противостоящая системе общественная сила, номенклатура тоже превращается в партию.

Во всех этих вещах надо разбираться, не верить словам. Нам предложили пользоваться системой ложных понятий. Простым отбрасыванием или перечеркиванием этих понятий нельзя обойтись.

Мы не освободились от этих фантомов потому, что наша критика, очень громкая, не отличается достаточной серьезностью, способностью к объективному, трезвому анализу реальности. Может быть, это естественно, ведь впервые появилась возможность заговорить громко, «выкрикнуть». Но выкрик — это не форма идейной разборки.

Я страшно негодую на людей, которые с высокомерных снобистских позиций бранят митинг, охлократию и т.д. Но, с другой стороны, то, что наша политическая жизнь и мысль в

большой степени сводится к митингу, — это плохо.

Но что касается альтернативных идеологий и героев — здесь я с вами согласен. Они — продукт и жертва нашей не-серьезности.

Скажем, Флоренский заслуживает величайшего уважения, но не нового культа. Философов нужно как следует прочесть. Прочесть не для того, чтобы выжать из них то, что служит сегодняшнему нашему умонастроению, а прочесть в их целостности.

Хороший в этом смысле пример дает Словарь русских писателей XIX века, один из томов которого выпущен «Советской энциклопедией» в 1989 году. В этом томе — огромная масса имен, которых в нашем обиходе не было. Это попытка взглянуть на фигуры писателей объемно. Нашей общественной мысли как раз и не хватает этой объемности, объективности.

Подход здесь заложен такой: все это наша культура, все это наши отцы и деды. Если даже нам эти отцы и деды не нравятся, мы стараемся выявить их добрые стороны или объяснить их поступки. Так надо было бы относиться к истории вообще, видеть в ней не белых и черных, отбрасывая в одни времена одних, в другие — других, а полноту и целостность культуры, взаимопереплетенность явлений, наличие общечеловеческого, гуманистического содержания, рационального зерна в каждом из этих явлений. Если это явление в свое время вызывало общественное доверие, значит, в нем есть своя крупинка истины. Все эти крупинки истины считать ценными, и тогда у нас не будет этих создаваемых и развенчиваемых богов. Как сказал Маяковский: «Один сезон наш бог Ван Гон. другой сезон — Сезанн».

Дело не в том, чтобы не видеть противоречий, борьбы, отталкиваний, а в том, чтобы видеть в каждом явлении свою долю истины.

Поэтому свержение памятников — акция по чувству понятная, а по существу — нет.

А. К. По ироническому замечанию Твардовского, камень ни в чем не виноват...

Ю. Б. Ведь Ленин не на пустом месте родился. Революционная волна выросла из определенного состояния человечества.

А. К. Собственно, социалистическая идея столь же стара, как и христианская, она неисчерпаема и будет всегда воспроизводиться на том или ином историческом этапе.

Ю. Б. Конечно. И в каком-то смысле она и перспективна. Потому что современное общество озабочено социальной справедливостью. Развитое общество более озабочено, чем наше, и в этом смысле оно более социалистично.

А. К. А оправдана ли сегодняшняя «ставка» КПСС и руководства страны на социалистический выбор?

Ю. Б. Наша партия (давным давно переставшая быть партией) ни к коммунизму, ни к социализму не имеет никакого отношения, кроме чисто словесного. Все разговоры о социалистическом выборе — это лишь словесная оболочка, прикрывающая корыстный политический, в данном случае, можно сказать, классовый интерес. За этим нет ничего, кроме стремления словами, с которыми еще часть людей связывает представления о справедливом общественном устройстве, замуфлировать суть дела — желание сохранить status quo.

История XX века показала, что попытки реализации социалистической идеи на практике ведут к тоталитаризму. С другой стороны, социалистическая идея включает в себе определенные и существенные ценности общечеловеческого значения. Живыми останутся некоторые этические грани социалистической идеи: свобода, права человека, дух коллективизма, товарищества. Эти грани не устранены историческим развитием.

Если говорить о социалистическом выборе в этом смысле, то его сделали западноевропейские страны, США. К такому выводу мы неизбежно приходим, если учитываем удельный вес государственных социальных программ в этих странах, то внимание, которое уделяется развитию культуры, здравоохранения и т.д. Система устроена таким образом, что она поощряет развитие гуманитарной сферы. В этом, единственном живом, смысле слова Запад куда более социалистичен, чем то, что нам предлагается в качестве социалистического выбора.

А. К. Однако вернемся к проблеме социальной мифологии. Похоже, что многие сегодня осознают необходимость демис-

тификации истории. Но у каждого своя правда. К примеру, те же события 69-го года представляются критику Вадиму Кожинову совершенно в ином свете, нежели вам, он видит в журнале «Наш современник» наследника «Нового мира», полемизируя с вами, расценивает взгляды раннего Твардовского исключительно как сталинистские... Так существует ли объективная правда?

Ю. Б. По-видимому, какая-то правда как соответствие человеческих представлений реальному ходу вещей существует. Другое дело, что действительность чрезвычайно многосложна. Есть такие зеркала, которые отражают какие-то грани этой действительности, не отражая целого, сути явлений. Это происходит по случайным и бессознательным причинам. Возможны и сознательные искажения, потому что есть люди и общественные силы, не заинтересованные в выявлении смысла эпохи.

При сколько-нибудь пристальном взгляде на современную публицистику мы обнаруживаем, что многие горячие высказывания, заключающие в себе элементы правды, проникнуты внутренним лукавством и ставят причины и следствия в ложную связь.

Я думаю, что Вадим Кожинов как раз из тех авторов, кто берет факты реальной истории, но тенденциозно истолковывает их из корыстной заинтересованности, по большому счету, заинтересованности нашего бюрократического слоя в сохранении существующего порядка вещей.

Эта псевдопатриотическая версия охранительства в 60-е годы проявлялась не столь откровенно, как в 70-е и уж тем более в последующее десятилетие.

Что же касается «Молодой гвардии» и «Нашего современника», то надо сказать, что борьба с тем, что будет обозначено потом линией «Молодой гвардии» и «Нашего современника», большой роли в публицистике «Нового мира» не играла. Пожалуй, потому, что просто не успела сыграть. Главный противник «Нового мира» виделся в то время в виде откровенного сталинистского реставраторства. Выраставшая где-то на обочине тогдашних споров славянофильская, патриотическая ли-

ния не осознавалась в достаточной степени как важное общественное явление. А явление это было перспективным в том смысле, что наша система должна была нащупать для себя вторую идеологическую опору. Чем дальше шло мирное время, тем слабее становилась главная опора системы — официальный марксизм. Ее надо было не заменить, а дополнить, достроить. Такой дополнительной опорой становилась государственно-патриотическая идеология, представителями которой как раз и была «Молодая гвардия», а потом и «Наш современник».

Сильно их в обиду никогда не давали. У Сулова, Брежнева где-то в костях, в крови сидело ощущение, что это им нужно и близко, хотя и расходилось подчас со стихами нашей официальной Библии.

Внимание этой тенденции в «Новом мире» стали уделять в конце существования журнала.

Вообще, место и роль патриотической тенденции мне представляются чрезвычайно простыми: «Новый мир» был выразителем антитоталитаристской линии, «Молодая гвардия» стала одной из форм охранительства, удержания системы, придания ей дополнительной убедительности.

Все предельно просто... Вот и сейчас много неблагоприятных впечатлений от демократического процесса — но выбора-то у нас нет. Либо путь в сторону демократии, либо возврат к старой, губительной системе.

А. К. Но первая — хрущевская — перестройка закончилась брежневской реставрацией... А если мы в исторической перспективе сравним первую и вторую перестройки? Какая была глубже и «правильней»? Кому из лидеров — Хрущеву или Горбачеву — вы лично отдаете предпочтение?

Ю. Б. В личном, человеческом я бы отдал предпочтение Хрущеву. Мне кажется, что Хрущев был человек искренний, Горбачев — нет. В чем источник моего предпочтения? Хрущев, конечно, был политиком сталинского закала. Он не помышлял о каких-то глубоких реформах общественного строя и претендовал лишь на исправление крайностей и жестокостей, которые вытекали из характера сталинского руководства. Потому и доклад его называется «О культе личности»...

Другое дело, что «сердце царев в руце божей», как напомнил автор «Войны и мира». Объективный процесс мог повести Хрущева, конечно, дальше. Но при более интенсивном развитии демократического движения он превращался в консервативную фигуру. Хрущевская перестройка была в этом смысле верхушечной. Не став массовым народным движением, она захватила тогдашнюю интеллигенцию, и в интеллигентской «редакции» перестройка могла пойти уже дальше.

Надо отдать должное интуиции Хрущева, его народному чувству, не просветленному политическим разумом, но точно зарегистрировавшему бесчеловечие системы.

Горбачев пришел в «мир» тогда, когда в состоянии кризиса система прожила уже несколько десятилетий, когда она обветшала и разваливалась на глазах. И тем меньшей мне видится его заслуга как инициатора перемен. Она есть, но сама инициатива была объективно predetermined.

Во-первых, общим было ожидание молодого лидера. Молодой уже был хорош своей сравнительной молодостью, тем, что хотя бы способен самостоятельно передвигаться.

Во-вторых, невозможно было представить, что новый руководитель будет вести себя по-старому. Поэтому у Горбачева просто не было выбора: перемен от него ожидали все — и страна, и верхушка.

Так что личную заслугу Горбачева отрицать нельзя, но и преувеличивать ее никак не стоит.

Последующее развитие событий и ход политической биографии Горбачева показывают, что инициатором перестройки его сделало не столько нечто внутреннее, сколько внешние обстоятельства.

Ничто в нем не проявляло человека, который пришел с серьезными демократическими намерениями. Это был аппаратчик, от которого аппарат требовал сдвигов и перемен. Другое дело, если бы аппарат знал, что сброшенный камушек родит лавину, он бы остерегся и не дал бы согласия ни на что, кроме косметических изменений.

Горбачевская перестройка — это попытка выправить катастрофическое положение таким образом, чтобы все старые порядки были сохранены. Отсюда и то, что мы называем «шатаниями» и «колебаниями» Горбачева.

Эта перестройка не только обнаружила свою неэффективность и практически закончилась, но и стала помехой действительному демократическому развитию страны.

А. К. Но у кого же есть позитивная и, главное, реализуемая на практике программа? То, что Ельцин — чисто популистский лидер, харизматический герой в его классическом виде, особых доказательств уже не требует. Но есть и другое: недоверие народа к власти, вынужденной идти на непопулярные меры, сама природа власти, «передельвающая» некогда демократического лидера — «положение обязывает»!.. И, наконец, наши события могут развиваться по польскому сценарию, и тогда народу уже будет безразлично, кто виноват в бедствиях — коммунистическое руководство или некоммунистическое. Как быть с этим?

Ю. Б. В вашем вопросе заключен ответ, с которым нельзя спорить. Все, о чем вы говорите, не только возможно, но и архивероятно. Скорее всего, невозможно что-либо другое. Но меня в проблеме Ельцина занимает несколько иная сторона.

Ельцин, заняв свой пост, принял для себя такую линию поведения, которая заключает в себе одновременно и силу, и слабость. Он (по крайней мере, для наших условий — мы такого еще не видели) показал пример правильного поведения государственного деятеля — демократичного, твердого и в то же время терпимого парламентского спикера. Этим он выбил козыри из рук многих своих политических противников.

В то же время он, найдя для себя линию государственного поведения, не нашел разумного сочетания этой роли с другой своей ипостасью — политического лидера.

На пост главы республики он пришел в качестве деятеля оппозиции. Первые его демонстративные шаги были следующие: он выходит не только из КПСС, но и из блока «Демократическая Россия».

Как государственный деятель он разумен. Но ему не следовало бы забывать о том, что история и политика делаются не в парламентских палатах. Высокое государственное положение Ельцина будет только видимостью власти, если его не

поддержит народ, если он не протянет руку народу через голову официальных институтов.

Сегодня ситуация уже другая. Главное противоречие момента и главная арена противоборства демократии и тоталитаризма — это противостояние республик, заявивших о своем суверенитете, союзному Центру, выражающему интересы партийно-бюрократического слоя. В этих условиях, как представитель и защитник суверенитета России, Ельцин уже в значительной мере преодолел указанную слабость, соединив в себе государственного деятеля и лидера оппозиции. Его поведение в связи с событиями в Прибалтике и его твердое неприятие притязаний Горбачева на диктатуру достаточно убедительно говорят об этом.

А. К. Юрий Григорьевич, мы много говорим с вами о полноте истории. Если отрешиться от оценок, диктуемых «злостью дня», и посмотреть на сегодняшние события «с точки зрения вечности», исторического времени — чем все это кончится?

Ю. Б. Бог его знает... История не кончается. Мы отошли от края. Но весь вопрос в том, с какой мерой мучительности и длительности пойдет процесс западнизации, сколько мы за это заплатим. Хотелось бы заплатить поменьше...

Говорят об альтернативности исторического процесса. Но история — очень фаталистическая штука. В ней есть большой элемент предопределенности.

Запад нам продемонстрировал опыт органической реализаций предопределенности. Мы попытались противиться этому. Сама же попытка — 1917 год — была в то же время обусловлена одной из граней этой предопределенности, противоречивости исторического процесса. Люди захотели больше, чем мог им дать данный момент исторического развития, и стали резать курицу, несущую золотые яйца.

И от исторической предопределенности никуда не денешься. Помыкались 70 лет, напоили свою землю кровью — теперь приходится выбираться на общемировой путь, с большими потерями, измеряемыми поколениями.

*Ариадна ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС*

## ТЕНИ МИНУВШЕГО

### ВОКРУГ БАШНИ

Революция 1905 г. произвела глубокие изменения в политической и общественной жизни и в литературе принесла новые течения. А может быть, революционные потрясения просто совпали с бурным потоком поэтической новизны. Признаки ее проявлялись уже раньше. Иннокентий Анненский, Федор Сологуб, Зинаида Гиппиус начали писать, изредка и печататься, еще в XIX веке. Чаще всего появлялись их стихи в «Северном Вестнике». Критики жестоко линчевали и дерзких поэтов, и редактора-издателя Любовь Яковлевну Гуревич. Даровитый циник Буренин до непристойности грубо издевался над ними на страницах «Нового Времени». С особенной яростью налетал он на Зинаиду Гиппиус. Да и не он один. Даже Владимир Соловьев, тонкий поэт и вдохновенный мыслитель, печатал в почтенном, культурном «Вестнике Европы» пародии на тех, к



кому приклеили безответственную кличку — декаденты. Передразнивая новых поэтов, Соловьев писал:

**О, не дразни гиену подозренья,  
Мышей тоски,  
Не то смотри, как леопарды мщенья  
Острых клыки...**

Поэты не смущались, не обращали внимания на хулителей, шли своей дорогой. Насмешки не могли их остановить. Плеяда молодых, талантливых стихотворцев сумела захватить внимание читателей, заставила себя не только читать, но запоминать, повторять непривычные, часто щеголеватые-непонятные стихи. Критики были вынуждены считаться с этими революционерами.

Первые два десятилетия новой поэзии были годами урожайными. Один перечень имен чего стоит: Бальмонт, Валерий Брюсов, Бальтрушайтис, Зинаида Гиппиус, Макс Волошин, Александр Блок, Андрей Белый, Федор Сологуб, Вячеслав Иванов, Анна Ахматова, Гумилев. Это еще далеко не полное перечисление. Такого обилия стихотворных талантов Россия не знала со времен Пушкина. Но если он был признанным диктатором в тогдашней республике поэтов, если Вяземский мог назвать его «поэтической дружины славный вождь и исполнитель», то в наше время не было такого незыблемого поэтического авторитета, такого гениального водителя, неоспоримого поэтического полководца. Самое широкое признание выпало на долю Блока, но и вокруг его имени кипели споры. Он и по природе своей не был водителем. Подражать ему было невозможно, а воли к власти, хотя бы литературной, к которой так явно стремился Брюсов, к которой так осторожно подбирался Вячеслав Иванов, у Блока не было.

Поэты разбивались на кружки. В каждом был свой учитель. До революции 1905 года верховными судьями были Мережковские. Зинаида Гиппиус, благодаря своему редкому литературному вкусу и чутью, своему тонкому, ритмическому слуху, имела заслуженное влияние на молодых поэтов. Даже Блок прислушивался к голосу Антона Крайнего. Так подписывала

Гиппиус свои блестящие литературные наброски. Но Мережковских напугала сначала революция, с которой они сперва очень кокетничали, потом крутые правительственные меры против революционеров. Они уехали в Париж, а когда через несколько лет вернулись, юные поэты уже сидели в Башне, у ног другого учителя, Вячеслава Иванова. Между 1906-14 гг. дом Ивановых стал для поэтов главным сборным местом, своего рода капищем. Хозяин исполнял роль жреца то Аполлона, то Диониса, а может быть, и еще каких-то более темных богов.

Жили Ивановы в многоэтажном доме на Таврической улице, напротив Таврического дворца. Занимали большую квартиру под самой крышей. Потолки были низкие, срезанные, как в мансарде. Была у них круглая угловая комната, оттуда и пошло название Башни. Говорили, что из ее окон видно взморье. Я взморья не видала, у Ивановых бывала только по вечерам, на их многолюдных средах. Мне казалось, что в их кругозоре тоже было что-то срезанное, давящее, как в их потолках.

Бывать в Башне по средам считалось почетным. Это был своего рода диплом на принадлежность к верхушке интеллигенции. Теперь бы сказали, к элите.

С тех пор как я в начале 40-х годов стала писать воспоминания, о Башне напечатано много разных заметок. Это вполне естественно. С Башней связана одна из страничек русской литературы. Сейчас еще трудно дать ей исчерпывающую оценку. Но в Башне перебивали почти все талантливые писатели той талантливой эпохи. Общий дух этих сред очень показателен для короткого отрезка времени, который начался перед первой русской революцией 1905 года и оборвался с первой мировой войной 1914 года.

Вячеслав Иванов был женат на Зинаиде Дмитриевне Зиновьевой. Она была из богатой придворной семьи. Один из ее братьев был предводителем дворянства Петербургской губернии. Она от светской жизни рано оторвалась. В первый раз вышла замуж по страстной любви за нашего учителя истории, К. С. Шварцсалона, о котором гимназистки в гимназии кн. Оболенской сочинили стихи:

**Вы думаете, что это Аполлон?**

**Разочаруйтесь,**

**То не он,**

**То наш учитель Шварцсалон...**

С Шварцсалонем, от которого у нее были сын и дочь, она довольно скоро разошлась и вышла замуж за другого учителя, за гувернера своих детей Вячеслава Иванова. Он не красотой ее прельстил. Когда я с ним познакомилась в 1906 или 1907 году, это был лысый человек с пушистой бахромой седеющих белокурых кудрей, падавших на воротник. Светло-голубые глаза скользили мимо собеседника. Красноватое лицо блестело, на лбу при малейшем волнении выступал пот. В манерах его, чересчур ласковых, вкрадчивых с одними и высокомерно-наставительных с другими, была странная, затаенная неуверенность, хотя он был известный писатель, учитель, окруженный почтительными учениками. Около него уже образовался двор, где церемониймейстером была его жена.

Она была им околдована, любила его беззаветно, всю жизнь строила так, чтобы ему угодить, чтобы расчищать перед ним дорогу, создать вокруг него легенду, окружить его, как служителя неведомых богов, таинственной атмосферой. Себя она беспощадно коверкала. Заразившись окружавшей ее поэтоманией, она тоже стала писательницей, хотя способностей к этому у нее было мало. Следуя общему духу Башни, отчасти и моде, она в писаньях своих старалась быть порочной. Она посвятила противоестественным порокам целую книгу «Тридцать три урода». Своих уродов она и мне поднесла, с дружеской надписью. За надпись я ее поблагодарила, но откровенно сказала, что я староверка и не люблю модного щеголянья развратом, да еще и противоестественным.

Она посмотрела на меня с обескураживающей улыбкой, простодушной и виноватой. Точно говорила:

— Вы ведь знаете Вячеслава? Вы должны понять почему я так пишу...

Вячеслава я знала. О «Тридцати трех уродах» между нами больше ни слова не было сказано, а дружеские мои с ней отношения продолжались.

Зинаида Дмитриевна была немного старше своего мужа. Крупная, полная, с широким, подрумяненным и подбеленным лицом, с копной выкрашенных в золотистую краску волос, подхваченных золотым обручем, задрапированная в длинный хитон, иногда ярко-красного, иногда оранжевого цвета, Зинаида Аннибал усаживалась посреди комнаты, как пифия на треножнике. Если ее муж жрец, она будет жрицей. Если он бог Дионис, она будет Менадой. На самом деле она была мать четырех детей и, вопреки всем своим стараньям, оставалась милой, добродушной русской барыней.

По средам в Башню являлось много гостей. В большой комнате сидели вплотную на низких, широких диванах, на стульях, на полу. Была открыта дверь в соседнюю, тоже просторную комнату, куда попадали запоздалые гости или парочки, которым было приятнее шептаться и целоваться в полутемном уголке, чем слушать стихи. Тем более рассуждения о стихах. В главной комнате, в углу, стоял стол с бутербродами, печеньем, вином. Чаю, помнится, не давали. Некому было с ним возиться. Прислуга на этих сборищах не появлялась. Хозяйка этого поэтического салона, очень ласковая, к гостям приветливая, предоставляла им по-английски угощать друг друга и самим угощаться.

В Башню приходили не ради хлебосольства, а для аттических бесед. Когда комната наполнялась, Вячеслав высматривал в рядах гостей очередного чтеца и отдавал ему приказ прочесть свои стихи. Иногда это было хорошее эстетическое угощение. Ритмика каждого поэта выступает ясней в его собственном чтении, даже если он плохо читает. Голос, интонации, все его обличье помогают ясней увидеть и внутренний облик. В человеке внутреннее и внешнее крепко связаны. Великий сердцевед Гете в своих воспоминаниях подробно описывает наружность тех, о ком говорит, и поясняет, что это очень помогает почувствовать личность человека. И мне легче оценить художника или писателя, если я его когда-нибудь видела, ощутила его присутствие. Каждый человек окружен собственной неповторимой атмосферой. С особенной остротой она ощущается в даровитых людях.

Одним из первых поэтов, которого я услышала в Башне, был Кузьмин. Лицо бледное, молодое и в то же время без возраста. Резкий, каменный профиль, напоминающий египетские рисунки. Огромные, темные, глубоко посаженные глаза казались еще глубже, потому что были густо, как для сцены, подведены. Плотные сжатые губы ярко накрашены. На руках браслеты.

Стихи он читал немногословные, точные, плотски печальные. В них, как в нем самом, было что-то жуткое, темное, недоброе. Его даровитость усиливала эту жуткость. Вячеслав Иванов, который раздавал венки на этих поэтических состязаниях, Кузьмина хвалил чаще, чем других. Кузьмин выслушивал похвалы молча, без улыбки. Окаменелость не сходила с его смуглого лица. Тускло мерцали из-под тяжелых век огромные темные, грустные глаза. Огоньки в них вспыхивали только тогда, когда они встречались с глазами его юных спутников.

Сергей Городецкий был совсем иной. В нем не было никакой утонченности. Белокурый, кудреватый, вертлявый, лицо козлиное, простодушное. В нем была редкая для поэта в Башне непосредственность, почти наивность. Вячеслава Городецкий обожал, пугливо и восторженно. Его, часто резкие, при всем народе высказанные, замечания выслушивал с покорностью усердного, преданного ученика, с ребяческой готовностью исправиться. В стихи свои старался втиснуть философию Вячеслава о божественном всемогуществе человека, о том, что мир прекрасен, а человек свободен.

**Хаос древний потревожим,  
Космос скованный низложим,  
Ведь мы можем, можем, можем...**

Городецкий читал, потряхивая кудластой головой. Его стихи должны были звучать, как Прометеев вызов небу, а вышло не столько грозно, сколько смешно, по-гимназически. И так не шло к молодому, еще срывающемуся голосу Городецкого, к его добродушной, широкой улыбке. Ему была больше к лицу детская песенка о старом кресле: «Засунешь палец — пыльно, а вкус какой-то мыльный... Умру с тоски по креслу, уеду замуж если...»

Имел успех и монастырь Городецкого: «Стены, звоны, перезвоны... Стены выбелена бело... Мать игуменья велела у ворот монастыря не болтаться зря...»

Издредка, нехотя, читал стихи Федор Сологуб. Молчаливо, бесцветно прослужил он четверть века на маленьких чиновничьих местах в Министерстве просвещения. Стихи писать начал рано, а слава пришла поздно. Он за ней как будто и не гнался. Писал и складывал листки в стол. Л. Я. Гуревич рассказывала мне, что в 90-х годах он приносил ей в «Северный Вестник» пачки таких листков. Она выбирала несколько стихотворений, остальные листки он молча клал опять в карман. Не спорил, не спрашивал, почему она выбрала эти стихи, а не другие, просто уносил непринятые домой. Хотите берите, не хотите — и не надо. Иногда приходил на ее редакционные журфиксы. Здоровался с хозяйкой, садился в уголке, весь вечер молчал, еще раз подходил к хозяйке, говорил: «Однако, я уйду» — и уходил. По словам Л. Я. Гуревич. в те годы его общение с писательской братией дальше этого не шло.

Но тогда он был неизвестен, непризнан, пока его роман «Мелкий Бес» не принес ему внезапный успех, независимость, деньги. Как это ни странно, но выделился Сологуб благодаря своей прозе, которая привлекла наконец внимание и к его стихам, заставила редакторов их печатать, читателей к ним прислушаться. Литературные кружки признали его настоящим поэтом, выдвинули в первый ряд. Но молчаливая обособленность Сологуба осталась неизменной.

Сологуб был маленького роста, совершенно лысый, с бритым, неприметным лицом. Только глаза его запоминались сразу. Обычно они были полузакрыты. Он не то щурился, не то таился. Потом вдруг подымет тонкие веки и глянет на вас прямо, в упор, прекрасными нежно-голубыми глазами. Такие же неожиданно детские, прозрачные глаза позже поразили меня на обрюзгшем лице Бриана, когда я видела его в Женеве, в Лиге Наций.

На Сологуба Вячеслав не смел смотреть сверху вниз, как смотрел на толпившихся кругом него младших поэтов. Вячеслав обволакивал облаком лесты Сологуба и его стихи, ко-

роткие, прочитанные с ясной сухостью. Как тонкий знаток поэтического ремесла, Вячеслав сразу отмечал особенности, новизну, смелость каждой строчки. Попутно, чтобы не пересластить, позволял себе особое мнение об употреблении какого-нибудь слова или ритма. Делал это очень осторожно, точно снимал легкую пылинку. Сологуб слушал с невозмутимым лицом, с полуопущенными веками. Неожиданно они поднимались и из голубых глаз брызгала насмешка. Без слов говорил он вкрадчивому распределителю поэтических чинов:

— Брось, не кривляйся.

Тонкие веки опять опускались. Опять ничего нельзя было прочесть на лице, пересеченном от носа к подбородку двумя глубокими морщинами.

Иногда Вячеслав сам читал стихи. Не часто. Только после долгих просьб. Зинаида Дмитриевна начинала беспокоиться, подавала знаки, взмахивала широкими рукавами, шепталась с юными поэтами, сидевшими у ее ног. По комнате пробегал призыв:

— Вячеслав Иваныч, ваша очередь... Просим... Ждем...

Он отнекивался. На своих средах он отвел себе место хозяина и верховного судьи. Он учил, он наставлял, одобрял, сокрушал, и все это делал мастерски. Он был знаток и ценитель поэзии подлинный, ученый, тонкий. Если в нем и было тогда что-нибудь настоящее, искреннее, то это его любовь к поэзии. Поэты, особенно начинающие, неокрепшие, слепо доверяли его слуху и вкусу, выслушивали его замечания кротко и с пользой для себя. Такого ученического почтения я ни в каких интеллигентских кругах не встречала. Милюков никогда не был окружен такой абсолютной умственной покорностью, к которой Вячеслав приучил поэтов Башни. Они ловили каждое его слово, как молодые послушники ловят поучения старца.

Во всем, что касалось формы, стиля, рифмы, ритма, Вячеслав был для поэтов незаменимым руководителем. Многому он их научил, избавил от многих недостатков, свойственных потускневшей поэзии конца XIX века, освободил от плоского реализма, указывал на неряшливость стиха, учил работать над ним. К несчастью, он заражал их не только своими эстети-

ческими взглядами, но и своим мироощущением. Тут он уже становился опасным, разлагающим.

Я не люблю стихов Вячеслава. Они каменные, тяжеловесные. Они и не поют, и не звучат, и не запоминаются. Это было особенно заметно в его собственном чтении. Он произносил стих нараспев, в нос, точно по-французски. По-видимому, он и сам сознавал, что читает неважно, так как предпочитал, чтобы за него читали другие, чаще всего актрисы, которых приводили с собой поэты. Нередко на средах читалась его «Менада».

Для Башни это была полковая песня. Лучше всего справлялась с буйным темпом «Менады» Валентина Щеголева, жена известного литератора П. Е. Щеголева. Это была молодая актриса, очень изящная, с фарфорово-бледным лицом. Темные глаза смотрели печально. Точно она пугливо ожидала удара. На сцене я Щеголеву не видала, не знаю, была ли эта обаятельная женщина хорошей актрисой. Но знаменитую «Менаду» никто лучше нее не читал. В контрасте между ее мягким, кротким обликом, ее женственной грацией и бурным оргиастическим настроением, которым проникнута «Менада», была особенная, волнующая острота, заразительность, роковая обреченность. Мне думается, что именно ее передача создала славу «Менаде».

В Башне бывало немало хороших, даже красивых женщин, но среди них бледное, с продолговатым овалом, лицо темноглазой Валентины Щеголевой выделялось тем, что Баратынский называл «лица необщим выраженьем». Это имя, Валентина, встречается в стихах Блока. Он прошел и через ее жизнь, но вряд ли сумел бережно оценить ее тонкую, одухотворенную прелесть...

Само собой разумеется, что стихам Вячеслава, кто бы их ни читал, в этом кругу успех был обеспечен. Молодежь выражала это восторженными междометиями. Старшие облакали свои похвалы в более членораздельную форму. Иногда очередной дифирамб произносил известный эллинист, профессор Зелинский, и между ним и Вячеславом, тоже большим эрудитом, завязывался диалог. Эти два знатока греческой и латинской

поэзии ослепляли нас напряженностью эстетической мысли, умением облекать ее в блестящие одежды. Это были увлекательные литературные турниры.

В одну из сред, после того как несколько поэтов прочли свои стихи и выслушали суд Вячеслава над ними, раздался женский голос:

— Теперь дайте нам Блока.

Несколько голосов сразу подхватили:

— Блок! Блок!

Он вышел из соседней, полуосвященной комнаты и стал в углу, под лампой, озарявшей только часть комнаты. Дальше темной рамкой тянулись ряды гостей, белели их лица, обращенные туда, где, отделенный от других кругом света, стоял довольно высокий, белокурый человек. Блоку еще не было 30 лет. Нас поразила его красота. Его лицо светилось. Разгул еще не навел на него свои страшные тени. Все в его правильном, твердо очерченном лице было красиво. Прямой нос, высокий, очень белый лоб, широкий разрез продолговатых глаз. Зелено-вато-синие, прозрачные, загадочные, они смотрели прямо в глаза собеседника, но как будто не замечали его. Посадка головы и изгиб губ напоминали античные бюсты. Блок мог бы служить моделью для греческого скульптора. В его осанке, в манере поворачивать голову, в выражении молодого лица, во взгляде было что-то не по возрасту значительное, внушительное. Точно он прислушивался к голосам, которые нам слышать было не дано.

Мы с Вильямсом переглянулись, изумленные, взволнованные жутким ощущением чего-то необычного. Стихов Блока мы тогда еще почти не читали. Магическое обаяние хлынуло на нас от самого поэта. Перед нами стояло живое воплощение баяна, скальда, ведуна, волшебника.

Читал он свои стихи глуховатым, низким голосом, без подчеркиваний, без тени манерности, которой в Башне почти все грешили. Блок был поразительно прост. На слова и улыбки скуп. Стоял очень прямо, не делая ни одного лишнего движения, не глядя по сторонам. Может быть, оттого, что он рос в полковых казармах, у него была военная осанка. Когда

позже мы устроили у себя встречу между Блоком и известным английским поэтом и романистом Морисом Бэрингом, русский поэт проявил гораздо больше спокойной плавности, чем светский англичанин.

Спокойствие Блока было странное, не радостное. Он рано понял, что от судьбы спасения нет. Не случайно Блок в одной из своих статей в «Аполлоне» повторяет, как припев, слова Лермонтова:

Но злая пуля осетина

Его во мраке догнала.

С первого же взгляда он производил впечатление незабываемое. Помимо высокого поэтического дара была в нем способность перебрасывать в других частицу своей трепетной настороженности, своего прислушивания к тяжелым шагам Рока. Никогда, никто из живых людей, кроме, конечно, Толстого, не дал мне такого непосредственного знания, что есть люди, отмеченные печатью гения. Разве только Элеонора Дузе. Я не хочу этим сказать, что Блок был гениальный поэт. Я не сравниваю и, уж конечно, не равняю его с Пушкиным. У Блока не было творческого размаха, не было проникновенного, всеобъемлющего дара все кругом осенить незабываемыми стихами. И сердцеведом Блок не был. Он, как Байрон, как многие поэты, был занят только собственным сердцем. Но, конечно, он не был похож на обыкновенных людей. На нем светилась печать избранничества.

В жизни Блок, закрепляя слова Пушкина, был как все, погружался в заботы суетного света, поддавался нравам и соблазнам той среды, куда попадал, даже если не находил в ней ни художественной, ни моральной красоты. Мы у Блоков не бывали, я его в семейной жизни не наблюдала. Мельком встречала его жену, дочь знаменитого Менделеева. Андрей Белый изобразил ее как красавицу царевну. Возможно, что она и была такой в юности, в первые годы своего замужества, когда Андрей Белый бывал у них в деревне, где всё и все кажутся красивее. У той Л. Д. Блок, которую я увидела в Башне, было гладкое, крупное лицо русской деревенской женщины, благообразное, но расплывчатое. Она вся была уже

не по годам грузна. А Блок был легкий, юношески стройный. Странно было видеть их рядом. Поженились они, судя по тому, что рассказывают те, кто их тогда видел, по-влюбленному. К тому времени, когда они появились в Петербурге, идиллия, по-видимому, уже была изжита. Детей не было. Жену Блока потянуло на сцену, хотя данных для этого у нее не было. Может быть, огни его славы соблазнили ее, толкнули на поиски самоутверждения, самопроявления. Она искала их и на сцене и в своей женской жизни.

Письма и заметки Александра Блока, опубликованные уже после его смерти, показывают, что он был глубоко привязан к своей жене, без нее чувствовал себя одиноким, брошенным. Но тогда в светлом башенном балаганчике они появлялись врозь. Блок очень нравился женщинам, что не удивительно. Они кружились вокруг него, сходили от него с ума, не скрывали, скорее подчеркивали свою влюбленность в замкнутого, важного поэта. Среди всеобщей бесцеремонности и распушенности Блок выделялся изысканной, прохладной сдержанностью. От его стихов, посвященных женщинам, не веет зноем, как от пушкинских строк. Говорили, что Блок нередко поступал по заветам великого Гете и одновременно прижимал к своему сердцу и алую розу и белую лилию. Женщины ревновали, толпились, мучались, а он смотрел на них колдующими зеленоватыми, непроницаемыми глазами. Некоторых одаривал за ласки стихами. Получить от Блока любовные стихи — это было для женщины вроде Екатерининской ленты.

Довольно долго рядом с таинственным и строгим лицом Блока можно было увидеть красивое, правильное личико молодой актрисы Волоховой. Ее «крылатым» глазам Блок посвящал стихи. Для нее и этот эпитет нашел. Потом она исчезла, растаяла, как снежинка, попавшая на его рукав. Как это случилось, не нам судить, но мне было жалко эту юную Волохову. А читатели должны быть благодарны, что ее прелестные глаза обогатили русскую поэзию.

Блока я встречала редко, то на средах в Башне, то в литературных собраниях. Ходили слухи, что трубадур Прекрасной Дамы самым вульгарным образом кутит в притонах. Его со-

проводжали, может быть, сбивали с пути истинного кружившиеся вокруг него поэты меньшей величины. Пушкин тоже в юности предавался безумных лет безумному веселью. Но Блоку было уже под тридцать, когда он вдруг сорвался, заразился цинизмом своих петербургских приятелей. Они не скрывали своих пьяных подвигов, иные ими даже хвастались. Среди этих кутящих писателей прославился и П. Е. Щеголев. Человек он был способный, свое ремесло любил. Днем писал хорошие статьи о Пушкине, а ночи проводил в притонах, откуда его, к ужасу Валентины, привозили пьяного, растерзанного, и дворники с трудом на руках тащили по лестнице грузное, бесчувственное тело писателя.

Не могу расстаться с Блоком, не рассказав о моей попытке привлечь его к газете «Русская Молва», где я была редактором. Мне вздумалось предложить Блоку вести литературный отдел. Это была затея не основательная. Прозой Блок писал сбивчиво, местами путано. Судя по некоторым фразам в его письмах и заметках, Блок сам себя не всегда понимал. Где же было ему, мечтателю, визионеру заниматься будничной редакционной работой, читать чужие рукописи. Но ему мое предложение понравилось. Он согласился и для первого номера написал своего рода манифест. Принес его ко мне и стал читать.

Чары Блока захватывали уже все большие круги. Мы трое, мой соредaktor, приват-доцент С. А. Адрианов, я и мой муж, с интересом приготовились его слушать. Беспорядочная жизнь уже затемнила его прекрасное, печальное лицо. Оно уже не так светилось, как в тот первый раз у Вячеслава. Какая-то паутина его застилала. Глуховатый голос Блока больше шел к его стихам, чем к прозе. Мы ждали символических взлетов, размаха красоты, а вместо этого услышали резкие выпады против евреев. Это было так неожиданно, что мы растерялись. Блок кончил и важно обвел нас холодным взглядом. Точно вызов бросил. Я его приняла.

— Александр Александрович, так нельзя.

Он перевел строгий взгляд на меня. На правильном лице греческого бога не было ни тени улыбки.

— Нельзя? Я так и знал, что вы не примете.

Его считали левым. Сам он величал себя левым эсером. И вдруг заговорил об евреях таким тоном, хоть бы и члену Союза Русского Народа впору. Эта рукопись осталась в моей петербургской квартире. Вряд ли кто-нибудь после моего отъезда догадался ее сберечь. Блок нападал на евреев главным образом за то, что они портят русский язык. Не помню других его обвинений. Весь тон его статьи был неприятный. Вместо спокойных суждений сыпались резкие, враждебные эпитеты. Меня поразила несвойственная ему озлобленность. Я предложила ему выкинуть из его литературного манифеста юдофобскую часть. Другую часть он уже без особой охоты, отдал мне, и мы, конечно, напечатали ее.

Из поэтесс, читавших свои стихи в Башне, ярче всего запомнилась Анна Ахматова. Пленительная сила струилась от нее, как и от ее стихов.

Тонкая, высокая, стройная, с гордым поворотом маленькой головки, закутанная в цветистую шаль, Ахматова походила на гитану. Нос с горбинкой, темные волосы на лбу подстрижены короткой челкой, на затылке подхваченные высоким испанским гребнем. Небольшой, тонкий, не часто улыбающийся рот. Темные, суровые глаза. Ее нельзя было не заметить. Мимо нее нельзя было пройти, не залюбовавшись ею. На литературных вечерах молодежь бесновалась, когда Ахматова появлялась на эстраде. Она делала это хорошо, умело, с сознанием своей женской обаятельности, с величавой уверенностью художницы, знающей себе цену. А перед Блоком Анна Ахматова робела. Не как поэт, как женщина.

В Башне ее стихами упивались, как крепким вином. Но ее темные глаза искали Блока. А он держался в стороне. Не подходил к ней, не смотрел на нее, вряд ли даже слушал. Сидел в соседней полутемной комнате.

Анна Ахматова изредка ко мне заходила. Такие, как она, своеобразные, волевые женщины, легче разговаривают с мужчинами. Но у нее сохранились обо мне полудетские царско-сельские воспоминания. В самом конце XIX века я год прожила в Царском Селе и там познакомилась с ее семьей. Анна была тогда гимназисткой. Она с любопытством прислушивалась к

разговорам старших обо мне. Это было еще до моего писательства, но около молодых женщин, если они не уроды, вьются шепоты и пересуживания.

— Я вас в Царском и на улице все высматривала, — рассказывала она мне. — Папа вас называл Ариадна Великолепная. Мне это слово ужасно нравилось. Я тогда же решила, что когда-нибудь тоже стану великолепная...

Она имела право сказать:

— Так и вышло. Только я вас перегнала...

По благовоспитанности своей она никогда мне этого не сказала.

Странная это была семья, Горенко, откуда вышла Анна Ахматова. Куча детей. Мать богатая помещица, добрая, рассеянная до глупости, безалаберная, всегда думавшая о чем-то другом, может быть, ни о чем. В доме беспорядок. Едят когда придется, прислуги много, а порядка нет. Гувернантки делают, что хотят. Хозяйка бродит, как сомнамбула. Как-то, при переезде в другой дом, она долго носила в руках толстый пакет с процентными бумагами на несколько десятков тысяч рублей и в последнюю минуту нашла для него подходящее место — сунула пакет в детскую ванну, болтавшуюся позади воза. Когда муж узнал об этом, он помчался на извозчике догонять ломового. А жена с удивлением смотрела, чего он волнуется, да еще и сердится.

Горенко служил, насколько помню, в Государственном Контроле, дослужился до чина действительного статского советника. Был хороший чиновник и очень неглупый человек. Любил пожить. Ухаживал, и не без успеха, за всеми хорошенькими женщинами, которых встречал. Был большой театрал. Как-то сказал мне:

— Я человек не завистливый, а вот тем, кто может у Дузе ручку поцеловать, страшно завидую...

Это мне понравилось. Я сама, когда видела Дузе, совершенно растворялась в ее победоносной гениальности.

Анна унаследовала от отца его важную осанку и выразительное лицо. Не было в ней его жизнерадостности. А жадность к жизни отцовская, пожалуй, и была. В нем не было и

тени той поэтической сосредоточенности, которой Анна была овееяна. По какому закону наследственности из этой семьи вышла такая умница, такая оригинальная, глубоко талантливая и прелестная женщина?

Горенко-отец таланта дочери не ценил. Она рассказывала мне, что когда под первым своим напечатанным стихотворением она подписала — Анна Горенко, отец вскипел и устроил дочери сцену:

— Я тебе запрещаю так подписываться. Я не хочу, чтобы ты трепала мое имя.

Тогда она стала Анна Ахматова, и этот псевдоним вписала в лучшие страницы русской поэзии. Не отказалась от него и позже, когда вышла замуж за Гумилева.

Я их вместе не видала. Гумилев шел своей дорогой, она своей. Их пути пролегли в стороне от поэтов Башни, в особенности в стороне от Вячеслава Иванова. Анна Ахматова не смешивалась с поэтической толпой, плыла, как звезда первой величины, среди мелких созвездий.

В Башне, с ее утонченным эстетизмом, было что-то неладное. Клубилась по углам темнота, просачивались нездоровые флюиды. Это шло не от простодушной, по старине преданной мужу Зиновьевой-Аннибал, а от самого Вячеслава. Я около него испытывала то, что Гоголь описывает в «Майской ночи», где ведьму узнают по тому, что сердце у нее не прозрачное, как у других русалок, а черное. Такое черное внутреннее пятно чудилось мне в сердце наставника поэтов.

А. В. Гольштейн, которая одно время в Париже носилась с Вячеславом, а потом от него отшатнулась, говорила мне:

— Он страшный человек. Для него нет ничего священного.

Между тем он неустанно кружился около священного. Только не подымался к нему по восходящей лестнице Иакова, а спускался от парадокса к парадоксу, куда-то в черноту. А. В. Гольштейн меня уверяла, что Вячеслав Иванов одно время занимался черной магией. Я не очень понимаю, что это значит, никогда не видела, как это делается. Но после революции, которая толкает на мысли о черных силах и стихии зла, я прочла несколько книг о тайных науках. В Лондоне встречала

русского, который мне рассказывал, что занимается оккультизмом. Даже предлагал меня ввести в соответственные, очень замкнутые круги. Но предупреждал меня, что для этого надо дерзать, ничего не бояться. Я спросила:

— Даже черта не бояться?

— Даже черта. Надо через многое пройти. Можно и дьявола увидеть.

Я от такого знакомства резко отказалась. Но этот разговор оставил во мне гнетущее впечатление. Мой собеседник был не поэт, а ученый, но я подметила в нем те же тени, ту же темную тревогу и опустошенность, как и у Вячеслава, со всей его классической эрудицией, поэтикой, эстетикой. Я сказала бы — с его любовью к мыслям, к красоте, к стихам. Только слово любовь ни в какой комбинации к нему не приложимо. Оно не вяжется с холодными сквозняками, которые от него струились. Но у него было много интеллектуального интереса к искусству, умения возбуждать его в других.

Вячеслав искал влияния и его добивался. Умный, начитанный, он помогал молодым поэтам справиться с формой, но вкладывал в нее свое, мертвящее содержание. Одним из любимейших изречений, пущенных им в ход, было — мир прекрасен, человек свободен. Это была свобода безблагодатная, оторванная от абсолютных ценностей, свобода, не знающая различия между добром и злом. Все дозволено. Человек — единственная мера вещей. Над ним и космосом нет никого и ничего. Это была перефразировка страшных слов Кириллова в «Бесах»:

— Если Бога нет, то я Бог.

Во время расцвета Башни только небольшая, мало влиятельная часть интеллигенции была связана с церковью. Огромное большинство от нее отворачивалось: одни равнодушно, другие насмешливо, даже враждебно. Прямых выпадов против христианства я от Вячеслава не слыхала, но все умоначертание этого поэта-философа, весь его умственный склад был антихристианский. На его языке это носило пышное название — Дионисьевское начало. Его моральное и мистическое отталкивание от христианства проявлялось открыто, явственно.



Вячеслав засорял души поэтов, искавших у него мудрости. Его обширные познания, его понимание искусства, его ум, обманывали, заслоняли зиявшую в нем духовную пустоту, мертвившую тех, кто подходил слишком близко, кто втягивался в его коварное и злостное кружение около духовных ценностей. Любопытно было бы проследить, имел ли влияние Вячеслав на Блока, который как раз во времена Башни сбился с дороги, попал в чашу бесплодных дерзаний, метался, мучался, ослепленный непонятными явлениями, как в смутном сне, где не отличишь ангельских видений от бесовских. В тогдашнем Петербурге одержимость носилась в воздухе.

Мое последнее впечатление от Вячеслава было очень тяжелое. Бедная, слепо преданная ему Зинаида Дмитриевна зарзилась от детей скарлатиной и умерла. Жизнь в Башне продолжалась своим чередом, но мы с Вильямсом там уже не бывали. Раз мы ждали гостей. Я позвонила Вячеславу, позвала и его. Он как-то замялся и неуверенно ответил:

— Крайне благодарен, что вспомнили о Башне. Всегда рад с вами побеседовать. Вы разрешите и Вере прийти? Она вас и Гарольда Васильевича очень почитает.

Вера была дочь Зинаиды Дмитриевны от ее первого брака с Шварцсалоном. На Ивановских средах она жалась в уголок, молчаливая, застенчивая, на редкость красивая.

— Ну конечно. Буду рада на нее полюбоваться...

Гости уже собрались, когда Вячеслав вошел. Он направился ко мне через длинный кабинет Вильямса. За ним скользила Вера, высокая, девически стройная. Обвитая белокурыми косами головка красиво сидела на длинной шее. Ослепительно белая кожа, тонкие, правильные черты. Настоящая Гретхен. Но странное выражение сковывало прелестное личико. Точно она двигалась во сне, шла за Вячеславом, как зачарованная. Я посмотрела на них. Он был лет на 30 старше. Лысый. Лицо лоснится. Вокруг недоброго рта глубокие борозды. Взгляд и улыбка ускользающие. Темная аура.

Вспомнился рассказ Достоевского «Хозяйка». Там тоже молодая красавица заколдована жутким стариком. Вера подошла ко мне, взглянула на меня большими бледно-голубыми глаза-

ми. Я увидела в них пустоту, точно передо мной была слепая. У меня сердце сжалось. К несчастью, я верно угадала. Вера родила ему ребенка. Они поженились. Во время революции Вера умерла от голода и лишений. Позже Вячеслав перебрался в Италию, говорят, он принял там католичество.

Хочется мне еще помянуть одну замечательную женщину, которую в те годы я знала в Петербурге, — Веру Федоровну Комиссаржевскую.

Сценический мир имеет над толпой власть не долгую, но более острую, чем другие виды искусства, кроме музыки. От него, как от набежавшего солнечного луча, ничего явственного не остается. Но пока актер на сцене, он может овладеть вашей душой, вытеснить вашу личность, заменить ее собой. Элеонора Дузе или Шаляпин властно входят в человеческие сердца, волнуют, воспитывают чувства, обостряют страсти. Даже на внешность людей влияют. Толпа бессознательно подражает движеньям, улыбке, голосу любимых актеров и актрис. На следующие поколения эти отражения переходят уже не связанные с забытым именем, с растаявшим обликом артиста. Но искры еще вспыхивают.

Одной из таких рассыпавших искры артисток была Вера Федоровна Комиссаржевская. Дочь известного певца, она унаследовала от него музыкальную выразительность голоса и движений. Красивой ее назвать было нельзя. Но ведь и Дузе не была красавицей. Несмотря на это, обе артистки вызывали в зрителях высокие эстетические переживания, сияли творческой духовной прелестью. Когда со сцены раздавался серебряный голос Комиссаржевской, когда зрители видели ее широко раскрытые, лучистые глаза, ее милую, чаще всего грустную, улыбку, они были околдованы. Искусство и колдовство родные сестры.

В первый раз я увидела Веру Федоровну в Александринке, в «Бесприданнице» Островского. Передо мной была светлая, трогательная в своей простоте и искренности, русская барышня. Вера Федоровна унаследовала от своих предшественников по сцене, особенно от М. С. Щепкина, ту простоту и естественность, которая и до сих пор составляет особенность

русского театра. Так же, как Станиславский, она добивалась правдивости, создавала до мелочей законченный тип героини, переливалась в нее. Ее трогательная, подкупающая задушевность учила, как переживать глубокие чувства. Ее талант был больше всего дома в русских пьесах.

Она любила играть Ибсена, в особенности «Нору», но главным образом следила за новыми течениями в русской поэзии. Как артистка она не застыла. В ней бродило художественное беспокойство, искание. Ей хотелось играть Метерлинка, Ремизова, Сологуба, Блока. Дирекция Императорских Театров Комиссаржевскую почитала, но не настолько, чтобы для нее ставить этих авторов. Тогда Комиссаржевская оставила Императорскую сцену и открыла на Офицерской улице собственный театр, который сразу стал кипучим центром петербургского театрального мира. К несчастью, не надолго.

Лет десять перед тем Суворин, большой театрал, попробовал поставить в своем «Малом Театре» пьесу Метерлинка «L'intruse». Спектакль провалился под дружный и невежественный хохот публики. С тех пор литературные и художественные вкусы резко изменились. Новизна уже не пугала, а прельщала. То, что накануне считалось дерзостным нарушением канона, теперь входило в обиход, становилось если не привлекательным, то модным. В искусстве привычки великое дело, особенно если их прививают талантливые художники.

Вера Федоровна с большим юмором рассказывала мне, что, открывая театр, она решила устраивать у себя в фойе вечера, посвященные современным русским поэтам.

— Я начала с Федора Сологуба. Читала я его усредно, но мы не встречались. В его стихах такая классическая прозрачность, значит, фойе надо устроить на классический лад. Мы расставили греческие бюсты, бутафорские, но все-таки Элладой пахнет. Долго обсуждали, на что мы Сологуба посадим? Что для него приготовить? Кресло? Ложе? И вот Сологуб вошел. Я увидела невзрачного, лысого человека. Черная широкая тесемочка от пенсне через все лицо. А на носу огромная бородавка. Как я была счастлива, что мы для него все-таки приготовили кресло, а не ложе. Ну подумайте, что бы это было — Сологуб, возлежащий на античном ложе?!

Она смеялась молодым, серебристым смехом, таким же пленительным в жизни, как и на сцене, и, лукаво глядя на меня умными, сияющими глазами, прибавила:

— Ну а венок лавровый мы все-таки умудрились ему приготовить и на него напялить.

Я на этом аттическом приеме не была и не знаю, выдумала она этот венок, как иногда хорошие, даже правдивые, рассказчики присочиняют живописную подробность, или действительно лысина Сологуба была в тот вечер увенчана лаврами. Кстати, об этой лысине. О ней по Петербургу ходили разные анекдоты. Один из лучших мне рассказала Л. Я. Гуревич. Она сидела в театре рядом с Сологубом. В антракте он говорит ей усталым голосом:

— Ох, скучно жить на свете, Любовь Яковлевна. Не знаю, что бы выдумать? Лысину, что ли себе позолотить?

Чисто сологубовский способ повеселиться. Такие фантазии бывали у него только на словах, чаще всего в стихах. В жизни он не чудил, как чудили вокруг него многие поэты. Свою запоздавшую славу принял он высокомерно, может быть, даже равнодушно, хотя в этом я не совсем уверена.

Литературные ужины Комиссаржевской не долго продолжались.

— Скучно выходило и как-то ни к чему. — поясняла она мне. — Поэтов приятнее читать, чем разглядывать вблизи. Я надеялась, что они помогут мне растолковать труппе новое искусство. Из этого ничего не вышло. Только Наденька, — она назвала одну из своих самых молоденьких актрис, — сложила губки вот так, бантиком, и со сладчайшей улыбкой на ангельском личике выпалила: «Ах как я люблю развратную жизнь». А сама и целоваться-то по-настоящему еще не умеет. Нет, Бог с ними, с этими аттическими пирами.

Юная актриса могла подхватить свою глупенькую фразу в Башне или около Башни. Кто-нибудь из молодых поэтов щегольнул перед хорошенькой девушкой отрицанием бабушкиной морали, внушил ей, что мир прекрасен, человек свободен, и поэтому ей — тем более ему, поэту — все должно быть дозволено.

Комиссаржевская была далеко не монахиня, но тонкое чувство формы и еще более тонкое чувство внутренней красоты удерживали ее от смешного и некрасивого. Далеко не все артисты и поэты вокруг нее проявляли такую же разборчивость. У нее был другой, чем у них, внутренний и жизненный ритм.

Раз как-то Сологуб, вернее Анастасия Николаевна Чеботаревская, на которой он незадолго перед тем женился, устраивали у себя маскарад\*. Анастасию Николаевну знала я еще раньше, когда она перебивалась переводами, пробовала писать, но довольно неудачно. За внешней беспорядочностью ее жизни чувствовалась, что она скорее хорошая, но как-то не может проявить это хорошее. Ей не везло. Что-то в ней было недоделанное. Отличные зубы, густые темные волосы, красивые темные глаза. Но вместе это не создавало ничего гармоничного. Когда она смеялась, красивые зубы не могли скрасить нервного, ненастоящего смеха. Большие глаза смотрели беспокойно, просительно. В ее лице, в походке, в манере войти в комнату было что-то жалкое, неуверенное, старообразное. Она перебивалась, бедовала, была бездомная, незащищенная, ютилась в грязненьких меблированных комнатах, и сама выглядела неряшливо, неприбрано. Ни к кому и ни к чему не могла она приткнуться, никому не была нужна. Став женой Сологуба, который был лет на 20 старше нее, она нашла свое призвание, в его замкнутую жизнь внесла движение и честолоубие, взяла на себя все житейские заботы, хлопотала об его славе, об его кармане, торговалась с издателями, добивалась рецензий, коршуном налетала на дерзких критиков, не умеющих его ценить. Она искренно восхищалась его стихами и прозой, считала его величайшим поэтом своего времени и

\*Когда я узнала, как героически вела себя Анастасия Николаевна под большевиками, как бесстрашно обличала она их, я задумалась, не выбросить ли то, что я о ней написала. Потом решила оставить. Контраст ярче открывает то внезапное озарение, то пробуждение души, когда Божественный глагол до сердца чуткого коснется. В каждом из нас много пыли, сора. Подымется вихрь, сметет всю дрянь и обнаружится красота смелости, подвига. Так было и с Анастасией Николаевной Чеботаревской.

требовала для него всеобщего признания. Она старалась окружить жизнь стареющего писателя удобствами, создала вокруг него обстановку, которую считала наиболее его достойной. Но все это делала безвкусно, часто и бестактно. Пока он был рядовой чиновник Министерства просвещения, он жил на Петербургской стороне, в небольшой квартирке. На подоконниках цвели герани, висели клетки с канарейками. Спинки кресел были покрыты белыми салфеточками. Их вязала его сестра, старая дева, жившая с ним вместе. Брат и сестра Тетерниковы жили душа в душу, и глядя на их мещанский обиход, трудно было в хозяине заподозрить тонкого, томного, мрачного поэта Федора Сологуба. Сестра умерла. Сологуб тосковал, не мог сжиться с одиночеством. Он угрюмо говорил:

— Завести, что ли, какое-нибудь молодое существо около себя...

А. Н. Чеботаревская внесла в его жизнь молодость и тепло. На смену канарейкам пришел другой стиль, тоже ничем на его поэзию не похожий. Она окружила его пестрой обстановкой, с простодушными потугами на нарядность. Когда Сологуб позвал гостей на новоселье, ценители его стихов были ошеломлены. Центром квартиры была длинная танцевальная зала. Вдоль стен были расставлены золоченые стулья, обитые бледно-розовым шелком. Такие же розовые занавеси висели на окнах. Обстановка была точно в глухой провинции у купеческих молодоженов. Розовые стулья были одной из бесстильных подробностей всего их жизненного уклада. С утра до вечера толпились гости, охотно припадая к вину. Сам Сологуб не пил, только других угощал. Быть может, при его презрении к людям, его даже забавляло видеть вокруг себя распоясавшихся гостей, наблюдать их с насмешливым высокомерием трезвого среди пьяных.

Чеботаревская по-детски упивалась возможностью широко принимать художественный, писательский, театральный мир. Она затеяла маскарад. Пригласила и нас. Мы не собирались идти, но в самый день маскарада мне пришло в голову, что если Вера Федоровна поедет с нами, то выйдет очень весело. Я позвонила ей. Она согласилась и сказала, что приедет за

нами после спектакля и привезет костюмы для меня и Вильямса. Около полуночи она приехала с кем-то из актеров и с Женечкой. Это была наша с ней общая приятельница, молоденькая девушка, которая нас обоих очень любила. Ко мне Женечка с первой же встречи привязалась и с тех пор ни годы, ни разлука, ни расстояние не покачнули нашей дружбы. Боюсь, что в ней не было настоящего равенства не только потому, что она была гораздо моложе меня, но и по бесконечной щедрости ее сердца. Она всегда гораздо больше заботилась обо мне, чем я о ней. Есть такие люди, в которых сидит неутолимая потребность отдавать себя другим, думать только о других, распинаться за других, совершенно забывая себя, свои потребности и желания. Именно такой самоотверженной, вечно дающей богачкой была наша маленькая, щупленькая Женечка. Я всегда боялась просить ее сделать что-нибудь для меня или для моих детей, так как она делала вдвое больше, чем попросишь, совершенно не считаясь со своими силами. Такие Женечки, как тихие лампы, мерцают в сумерках человеческого бытия.

Но и веселиться и заразительно смеяться наша Женечка умела. Когда мы весело наряжались в привезенные Верой Федоровной костюмы, Женечка ребячески радовалась нашей затее, особенно тому, что Вера Федоровна и Ариадна Владимировна вместе разбаловались. Мы и познакомились через нее. Ей очень хотелось, чтобы знакомство перешло в более тесную дружбу. Нас с Верой Федоровной с первой встречи очень потянуло друг к другу, мы понимали друг друга с полуслова, нам было вместе приятно и легко. Если бы не цензура, нас могла бы сблизить и общая работа. Я написала пьесу «Они». Там были и забастовщики, и революционеры, и любовь. Некоторые сцены мне как будто удались. Комиссаржевской, которую я тогда еще не знала, пьеса понравилась. Она хотела поставить ее в свой бенефис. Но цензура пьесу не пропустила. Это было тем обиднее, что исчез повод ближе подойти к ней.

Обе мы были очень, по-разному, заняты. А дружба требует досуга. Комиссаржевская была поглощена игрой и организацией своего театра. Я — журналистикой, писанием романов,

чтением публичных лекций, партийной жизнью, семьей. У Комиссаржевской семьи не было. Она жила с братом, который позже в Англии, а затем и в Соединенных Штатах создал себе имя как режиссер.

Наши сборы на маскарад были очень веселые, уютные. Наряженные в фантастические костюмы, мы сидели в моем кабинете, попивали вино и грызли бисквиты. Вера Федоровна весело болтала. Потягиваясь в кресле, она смеясь предложила:

— А не остаться ли мне здесь? Мне у вас нравится.

Но все-таки мы на маскарад поехали. Большая квартира Сологуба была полна гостей. Пять новых масок были встречены аплодисментами: еще ряженые! Кто вы такие? Откуда?

Многие гости уже сняли маски и были в предприимчивом настроении. Далеко не все были трезвы. В глазах, в улыбках было что-то пряное и пьяное. К плечу Сологуба прижималась белокурая русалочка в очень прозрачных одеждах. Зинаида Гиппиус, окруженная поклонниками, полулежала на диване. Чеботаревская шумно чокалась с поэтами, толпившимися у заставленного бутылками стола и хохотала напряженно, неестественно. Розовые шелковые стулья беспорядочно разбрелись по зале. Между ними, под игру тапера, кружилось несколько пар.

Мы впятером, держась отдельной кучкой, обошли комнаты, точно заезжие туристы на чужой ярмарке. Нас окружили, к нам приставали, старались сдернуть с нас маски. Л. Бакст прилип к Вере Федоровне. Он был пьян. Круглые, близорукие глаза маслились:

— Снимай маску. Я тебя знаю, ты от Комиссаржевской. Это костюмы из Пелеаса и Мелисандры.

Как было ему, художнику-декоратору, который для нее работал, не знать ее костюмов. Но Комиссаржевскую он не узнал и продолжал лезть, напирать, приставать. Наши спутники, смеясь, его отгоняли. Но набегали другие гости, тоже приставали, строили догадки, тащили нас в столовую выпить с ними вина, отпускали двусмысленные шуточки. Вера Федоровна шепнула мне:

— Мне что-то здесь не нравится. Едемте к вам. У вас и бисквиты остались, и вино мы не допили.

Мы повернулись полчаса по сологубовской квартире и уехали, так и не опознанные. Только потом узнали хозяева, кто были эти пять масок, и были очень обижены, что мы так быстро исчезли. А мы вернулись в нашу квартиру и в живописных костюмах метерлинковских героев болтали, потягивая вино, до рассвета. Вера Федоровна была отличная рассказчица и прелезавабно умела передразнивать своих многочисленных знакомых. В это время ее наблюдательный юмор уже остудил ее увлечение поэтической новизной. Кто знает, может быть, и безвкусица сологубовского маскарада упала, как одна из холодных капель.

Золоченые, розовые стулья, беспорядочно разбежавшиеся вокруг стен, отбрасывали отблеск на тех поэтов и поэтесс, произведения которых Комиссаржевская с помощью Мейерхольда хотела ставить в своем театре. Но Комиссаржевская уже почуяла, что в его новизне нет творческой простоты, нет ни этической, ни эстетической ясности. Многие в его претензиях стало ее смешить. Ее тонкий юмор был и мне и Вильямсу очень по душе. Мы в Башне испытывали тоже разочарование, тоже с недоумением вглядывались в даровитых поэтов, большей частью молодых, у которых за блеском формы скрывалась скудость духовной жизни.

За свою независимую театральную антрепризу Вера Федоровна поплатилась денежно, а главное, душевно. Театральное хозяйство, как и всякое другое хозяйство, требует расчетливости, если не прижимистости. Это было не в ее характере. Она была лишена чувства денег и, конечно, разорилась. Среди зрителей не нашлось ни одного щедрого мецената, готового ее поддержать. Замысловатые, дорогостоящие постановки не окупались.

Но тяжелее всего было для Веры Федоровны, что она заколебалась, усомнилась, куда ведут новые пути, о которых все толковали. Умная женщина, вся жизнь которой сосредотачивалась на театре, она почувствовала, что в ее театре что-то неладно. Попробовала поделиться своими сомнениями с Мейерхольдом и наткнулась на самолюбивое упрямство, на сомнение, на узкое непонимание. Их неудачи, как и их расхож-

дения, были вызваны догматической схематизацией и сухостью Мейерхольда. Он обрезал крылья актерам, включая и Комиссаржевскую, втискивая их в свои геометрические чертежи, придавал рамке больше значения, чем портрету. Вместо того чтобы вводить в театр новшества, которые обеспечивают простор творчеству актера, он даже исключительный, драгоценный талант Веры Федоровны теснил. Для него все исполнители, включая и Веру Федоровну, были только подчиненной ему бутафорией.

Вначале Вера Федоровна, с ее глубокой влюбленностью в искусство, с ее все еще юношеским стремлением к совершенству, увлеклась планировкой Мейерхольда. Она пригласила его в свой театр режиссером. А Мейерхольд вообразил себя диктатором. Ее сценический инстинкт подсказал ей, что актер не может быть в рабстве у режиссера. Между ними произошел разрыв.

Я Мейерхольда и раньше встречала. Он производил на меня впечатление тупого человека. И внешность у него была тусклая. Длинное лицо. Подбородок и лоб срезанные. Выпяченная нижняя часть лица придавала ему баранье выражение. Театром занимался он усердно. Был актером, но таланта не оказалось. Стал режиссером. Режиссерство открывало перед ним больше возможностей. Большинство работников сцены, конечно, кроме Станиславского, лениво следовали старым обычаям и больше полагались на нутро, от режиссера ждали не выдумки, а порядка. Но Мейерхольд был человек волевой, честолюбивый. Он решил реформировать, вернее, революционировать театр. По его схеме творческая инициатива должна исходить не от актера, а от режиссера. То есть от него. Камертон будет у него в руках. Труппа должна прислушиваться и идти, куда он укажет.

Сначала Комиссаржевская согласилась стать покорной ученицей, приняла его теорию геометрического расположения артистов, их мимики, их движений. Она согнулась, подвела себя под чужой чертеж.

Избалованная и капризная петербургская интеллигенция сразу заинтересовалась театром на Офицерской. Это был те-

атр Веры Федоровны. Публику привлекал и ее талант, и выбор пьес. Другого места, где можно было бы увидеть «Балаганчик» Блока, «Бесовское действие» Ремизова, пьесы Метерлинка, в Петербурге не было. Возбуждала любопытство и новизна мейерхольдовских постановок. На премьерах театр бывал битком набит. В антрактах в зале кипели страстные споры, которые продолжались на страницах газет. Мои статьи о спектаклях Комиссаржевской «Речь» печатала, но мне приходилось отбивать грозные атаки редакционной коллегии, которая находила, что я проповедую декадентщину. Это малограмотное слово все еще было в ходу. Я дорого дала бы, чтобы заглянуть в мои статьи теперь. Годы так меняют наше отношение ко многому, в особенности к искусству. Тогда эти статьи о Вере Федоровне я писала с увлечением, и хотя никогда не была театралкой, но в театр на Офицерской всегда ехала, как на праздник.

Потом начали тускнеть праздничные огни. Заскучали мы, друзья Веры Федоровны, опечалилась и она. Помню, как напала на меня тревога на представлении «Пелеас и Мелисандра» Метерлинка. Почувствовала и она, что играть по чужой указке не может. Ее беспокойство требовало действий, призвало артистку к самозащите. Она распрямилась, стряхнула с себя чуждую ей связанность, стала играть по-своему и сразу ожила. Ожила и публика, увидав перед собой любимую артистку во всей ее подкупающей непосредственности и вдохновенной простоте. А Мейерхольд взбунтовался. Он предъявил свои авторские права, заявил, что постановки созданы им, что у него на них есть право собственности. Театральный мир заволновался, следя за еще небывалым спором. Дело дошло до третейского суда. Вера Федоровна обратилась к члену Государственной Думы, видному кадету Пергаменту, просила его быть председателем третейского суда, а мне поручила представлять ее интересы. Мейерхольд позвал Сологуба. Мы провели несколько интересных вечеров, разбирая это дело. Не догадались посадить секретаря для записи. А как было бы интересно теперь прочитать протокол нашего судебного разбирательства.

Я любовалась тем, как ясно, с каким достоинством отвечала Комиссаржевская на вопросы судей, как передавала она

свои переживания артистки. Да, ее увлекли новые горизонты. Ей казалось, что таким путем можно разбить косность, которая, как плесень, заводится на искусстве, затеняет его лик. Она схватилась за новые теории. Независимая, свободная, привыкшая самостоятельно творить свои сценические воплощения, она ради искусства согласилась стать исполнительницей чужих начертаний. Это была жертва и не малая.

Но вскоре она поняла, что сбилась с творческого пути, что создавать с чужого голоса нельзя, что надо прислушиваться прежде всего к себе, а потом уже изучать теории, хотя бы и модные. Все это она объясняла без позы, без истерики, хотя минутами с волнением. Перед нами вставали искания одной из самых даровитых русских актрис того времени, ее борьба за свободу творчества. Открывалась душа большой артистки.

Мейерхольд противопоставлял ей схематические, еще не проверенные опытом теории. Настаивал на том, что режиссер такой же творец. Выдвигал и денежные претензии. Чувствуя слабость своей позиции, он раздражался, порой забывал, что он не в гражданском суде представляет иск предпринимателю, что он стоит перед третейским судом, который разбирает дело, не имеющее прецедентов, что доказывать, что режиссер более важное лицо, чем актер, это новый подход к театральным ценностям. Мысли свои он излагал тяжело, с натугой. В нем, может быть, не было уверенности в своей полной правоте.

Сологуб больше молчал. Лицо его оставалось неподвижным и непроницаемым. Тонкие, как у ребенка, веки были опущены. Неожиданно они приподымались. На нас смотрели прекрасные голубые, детски ясные глаза. Раздавался умно поставленный, на помощь Мейерхольду, вопрос. Но Веру Федоровну не легко было сбить. Фехтоваться и она умела.

Суд кончился вничью. Пергамент, умный и ловкий адвокат, так все обернул, что оба оказались правы. Оба действовали только в интересах искусства. Как порешили мы щекотливый денежный вопрос, не помню. Во всяком случае театр на Офицерской Комиссаржевскую разорил. Она потеряла все, что заработала своими триумфальными гастролями по всей России. А для Мейерхольда сотрудничество с большой актрисой послу-

жило ступенькой для дальнейшего восхождения по театральной лестнице.

Закрылся театр на Офицерской. Погас один из театральных светильников Петербурга. Вера Федоровна уехала в утомительное турне по азиатской России. В Ташкенте она заразилась оспой и умерла в страшных мучениях.

Тело ее привезли в родной Петербург. Столица устроила своей любимице торжественные похороны. Студенты на руках донесли ее гроб от Никольского вокзала до Александро-Невской Лавры, где в переполненной молящимися церкви ее отпевали под ангельское пение детского митрополичьего хора.

\* \* \*

Я писала воспоминания более десяти лет тому назад, далеко от книгохранилищ, в стесненных условиях немецкой оккупации. Перечитывая их перед тем как сдать в печать, я подумала, что, может быть, я несправедлива к тогдашним писателям, особенно к поэтам, что в мои непосредственные старые воспоминания примешалась горечь позднейшего опыта, позднейших катастроф. Я решила проверить себя, просмотрела «Весы» и «Золотое Руно», где тогдашние поэты были почетными сотрудниками, где они писали и сами о себе, и друг о друге. В их статьях я нашла критику несравненно более уничтожающую и, что еще показательнее, я уловила в их голосах, особенно в песнях и письмах Блока, подлинное отчаяние.

А между тем, ту эпоху, которую я описываю, окрестили торжественным именем серебряного века русской литературы, считая пушкинское время золотым веком. Имена поэтов и писателей, о которых я пишу, теперь упоминаются с почтением, иногда доходящим до восторга. На тех, кто когда-то бывал в Башне, кто знал руководителей этой своеобразной поэтической академии, смотрят с завистью. Башня и ее поэты уже обрастают легендой. Мои воспоминания ее не закрепляют. В них нет канонизации. Я вообще предпочитаю говорить о людях, особенно умерших, благожелательно. Но логические ошибки и заблуждения, моральные шатания и слепота русской интел-

лигенции в ту эпоху, о которой я пишу, привели к таким опустошительным результатам, что вряд ли современники имеют право их замалчивать. Я передаю свои наблюдения и суждения, как свидетельница. Но я не судья. Я не выношу приговоров. Для этого надо сделать широкую сводку из показаний современников нашей, полной мучительных противоречий, эпохи. Это мне не по силам.

Во втором томе моих воспоминаний «На путях к свободе» я уже указала, что пишу по памяти, это было во время Второй войны. Я жила на юге Франции, под немецкой оккупацией. Русских книг у меня не было. Я вызывала из памяти тени минувшего, отдельные встречи, разговоры, штрихи, которые жизнь, по той или иной причине, часто помимо нашего выбора, закрепляет в нашем мозгу.

Я старалась выбрасывать то, в чем не была уверена. Записей у меня не было. Не было вблизи меня и сверстников, вместе со мной переживавших ту эпоху. Мне не с кем было оживить мои воспоминания, их исправить, дополнить. Но когда часть моих мемуаров появилась в печати, критики и читатели указали только немногие мои фактические ошибки. Это дает мне право считать, что память моя верно сохранила виденное и слышанное. Замечания касались скорее моих суждений и оценок, а не фактов. Я пишу не историю поэзии Серебряной эпохи, а описываю те ее отрезки, которые наблюдала. Но я боялась, что, может быть, моя требовательность переходит в придирчивость. Я решила проверить мои тогдашние, тягостные впечатления, проверить, была ли я права, осуждая внутреннюю бедность «серебряных» поэтов, прикрытую внешним словесным блеском их стихов.

Я взяла два журнала, наиболее им близкие, «Золотое Руно» и «Весы», нашла в них прозаические статьи видных поэтов того десятилетия и убедилась, что они сами тяготились ощущением черной пустоты, которая меня в них поражала и от них отдаляла. Их суждения друг о друге, их психологические признания оказались гораздо суровее того, что я о них пишу.

«Я твердо знаю, что к современной лирике подходит много незнающих и просят хлеба, а получают камень», — писал в 1908 г. Александр Блок в «Золотом Руно».

Другой поэт, Андрей Белый, в том же году напечатал в «Весах» статью «На перевале». В ней он обрушивается на Вячеслава Иванова за его скользкое, двусмысленное обращение с теми ценностями, которые должны быть для поэта священны:

«Истинный художник, если уж будет говорить, открыто и честно назовет имя своего Бога и не станет бессмысленно вихлять между идолом (Дионисом) и Богом, по мере надобности принося жертвочку и тому, и Другому».

Очень остро сказано. Мятущаяся душа, Андрей Белый, вопреки всей своей одержимости, все-таки понимал, что Другого, т.е. Христа, подобает писать с большой буквы.

По поводу доклада Вячеслава Иванова о символизме, где лектор «хитро лавировал между логикой и исповеданием своего credo», Андрей Белый спрашивает, чье же имя написано на знаменах Вячеслава Иванова: «Кто, Дионис или Христос? Магомет? Будда? Или сам Сатана?»

Вячеслав на это ответил в тех же «Весах» очень двусмысленной «вихляющей» статьей «Эстетика и вероисповедание», где он с усмешкой говорит: «Дьявол имеет обыкновение пародировать сущее». Извольте понять, забавляется ли он дьявольскими пародиями или понимает, сколько в них таится опасности и яда?

Андрей Белый был москвич. Может быть, поэтому Вячеславу не удалось его втянуть в свое окружение. Под магию этого наставника поэтов Андрей не подпал. Но Сергея Городецкого она одурманила. Позже он от этого чернокнижия резко отстранился. Во времена расцвета Башни он простодушно захлебывался мудростью Вячеслава, был одним из самых покорных его учеников. А когда стряхнул с себя его влияние, вот как в «Воспоминаниях о Блоке» («Печать Революции», 1922, №1) характеризовал Городецкий воздух, которым дышали поэты в Башне:

«Все мы были влюблены в него (Блока), но вместе с обожанием точили яд разложения на него. В конце 5-го или 6-го года на средах в Башне (я думаю, что Городецкий ошибается в датах и что это было позже) развитие шло в сторону мистической соборности... Все более накаливалось гурманское отношение к темам. Процесс суждения был важнее самого искомого суж-

дения... Запах тления воспринимался как божественный фимиам. Сладко одурманивающая, убаюкивающая идейным наркотом атмосфера стояла в Башне, построенной высоко над пороком жизни... Эстетика сред все гуще проникалась истонченной эротикой. На этом Парнасе бесноватых Блок жался, как бог в лупанаре». Такое характерное название дал Вячеслав своему стихотворению, посвященному Блоку. Тоже очень показательно для Вячеслава.

Слова Городецкого о запахе тления, который воспринимался как фимиам, несравненно жестче всех моих бытовых подробностей из жизни петербургских поэтов начала века. Городецкий высказал это суждение после того, как на Россию обрушилась большевистская смердяковщина. Он, по-видимому, понял, что был среди тех, кто не политически, а морально подготовлял ее приход. Он кается: «мы точили на Блока яд разложения». Это круговая вина. У большинства поэтов, которых приманили блуждающие огоньки Башни, не было духовного противоядия отраве, не было отталкивания, отвращения к трупному запаху тления. Это особенно трагически чувствуется в Блоке, с его полной умственной незащищенностью. Он ее сознавал, ею мучался. Не раз у него срывались, особенно в прозе, в статьях, в письмах, слова отвращения к жизни и к себе.

Бог дал ему талант, граничащий с гениальностью. Интуиция была у него, почти как у колдуна. Но она уживалась в нем с детским непониманием проблем политических, жизненных. Они надвигались на русских думающих людей, как вражеское войско, которое надо было одолеть. А Блок не знал, где друг, где враг, где зло, где добро. В этом вдохновенном стихотворце рядом с музыкой слова уживалась обессиливающая моральная растерянность. По существу, в глубине своего «я», Блок был человек брезгливый. Он знал, что есть неприступная черта между добром и злом, но двойник, сидевший в нем, нашептывал соблазнительное шатание мысли. В предисловии к своему сборнику стихов «Земля в снегу» Блок бросает вызов:

«Кто посмеет сказать: не должно, остановись? Так я живу, так я хочу».

Все поэты, толпившиеся в Башне, в этом заносчивом «так я хочу» видели единственное мерило своего поведения. Ника-



кого высшего закона они над собой признавать не желали.

Я не могу сейчас развивать дальше эту большую тему, которая привлечет немало исследователей, если новые катастрофы не сметут многое и многих. Все же мне хочется привести еще несколько очень показательных выдержек из статей и писем Александра Блока. В своем нашумевшем докладе «Россия и интеллигенция», напечатанном в «Золотом Руне», 1909 г., №1, Блок говорил:

«Требуется какое-то иное, высшее, новое начало. Раз нет его, оно заменяется всяческим бунтом и буйством, начиная от вульгарного богоборчества декадентов и кончая неприметным и откровенным самоуничтожением — развратом, пьянством, самоубийством всех родов».

Несколько лет спустя, в письме к приятельнице, у него срываются слова:

«Я не верю ни в какие запреты здесь, но на небе о нас иногда горько плачут». (13.XI.1911).

Вот он, тот двойник, о котором Блок не раз говорит, который его так мучал, который манил, заводил в топь, окружал мглой, мешал поэту понять самого себя. Блок от него отбивался, тосковал, кощунствовал, иногда молился. Порой на него одновременно находила и молитва и кощунство:

**В своей молитве суеверной  
Ищу защиты у Христа,  
Но из-под маски лицемерной  
Смеются лживые уста...**

Страшно подумать, что, может быть, Блок так и умер, не познав самого себя, своего отношения к ценностям земным, включая Россию, и к ценностям вечным, воплощающимся в Христе. В 1909 году он из Италии писал матери:

«Или надо совсем не жить в России и плюнуть в ее пьяную харю, или изолироваться от унижений политики, да и общечеловечности...» (13 апреля 1909 г.)

«Несчастную мою нищую Россию, с ее смехотворным правительством и ребяческой интеллигенцией, я бы презирал, если бы сам не был русским...» (1 мая 1909 г.)

«Россия для меня все та же лирическая величина. На самом деле, ее нет, не было и не будет».

Как это не похоже на то, что говорит он о России в стихах.

В 1910 году Мережковский, по поводу «Балаганчика», выступил против Блока в статье «Религия и балаган». Писатели обменялись резкими письмами. В последнем, неотправленном, письме Блок писал:

«Родина — это огромное, родное, дышащее существо, подобное человеку, но бесконечно более уютное, ласковое, чем отдельный человек. Родине суждено быть некогда покинутой, как матери. Эту обреченность на покинутость мы всегда видим в больших материнских глазах, всегда печальных, даже когда она отдыхает или тихо радуется».

Так ощупью, как слепой, бродит поэт между любовью к родине и неосмысленным бунтом. Качается между верой и неверием. Стоя у гроба новорожденного ребенка, Блок бросает Богу вызов:

**Нет, над младенцем, над смиренным  
Скорбеть я буду без Тебя...**

А письма к матери неизменно подписывает — Господь с тобой. Икону Спасителя с раннего детства и до последнего дня жизни держит около себя.

Появление Христа в поэме «Двенадцать» вызвало и продолжает вызывать противоречивые толкования. На Блока сыпались обвинения в кощунстве. А он, в автобиографической заметке, из которой в советском издании его сочинений дано несколько фраз, говорит:

«В январе 1918 года я в последний раз отдался стихии, не менее слепо, чем в январе 1907 или в марте 1914 г. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было писано в согласии со стихией: например, во время и после окончания «Двенадцати» я несколько раз ощущал физическим слухом большой шум кругом, шум слитный, вероятно шум от крушения старого мира».

К. И. Чуковский рассказывает, что Гумилев на публичной лекции назвал появление Христа в «Двенадцати» «чисто литературным эффектом». Блок задумчиво слушал, потом сказал:

«Мне тоже не нравится конец «Двенадцати». Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился,

почему же Христос? Но чем ближе я вглядывался, тем явственнее я видел Христа».

Если прав был покойный Мочульский, который в своей обстоятельной и осторожной книге «Александр Блок» писал, что если у Блока «душа была по природе христианской», то какие муки должен был переживать поэт, когда «двойник» одолевал в нем Христа.

### **ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ**

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.). О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

*КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.*

*Цена книги - 15 долларов.*

*Заказы и чеки высылать по адресу:*

TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE  
LEONIA, NJ 07605, USA  
Tel.: (201) 592-6155

**Много интересных людей прошло через мою жизнь.**

**Хочу рассказать о них просто, как о живых людях, показать, какими я их видела, когда сплетались наши пути. Они все уже ушли, и ветер заметает снегом и пылью их земные следы.**

**О творчестве каждого из них писали и будут писать еще и еще, но просто живыми людьми не многие их покажут.**

**Я хочу рассказать о моих встречах с ними, об их характерах, причудах, дружбе и вражде.**



*Н. А. ТЭФФИ*

## **МОЯ ЛЕТОПИСЬ**

А. И. КУПРИН

Все люди, наделенные талантом, — писатели, поэты, художники, композиторы, отмечены в жизни особым знаком. Все они, по примеру Господа Бога, творящие мир из ничего (ибо всякое творчество есть создание фантазии, то есть именно творение из ничего), непременно отличаются от людей обычного типа. И жизнь их, если не внешне, то хотя бы внутренне, всегда сложная, вся в срывах, взлетах, в запутанных петлях и для постороннего наблюдателя непонятна и неприемлема.

Многое, как и в жизни каждого человека, конечно, скрыто от чужого глаза, но биографы, принимающиеся изучать заинтересовавшего их талантливую человека, открывают иногда совершенно удивительные и странные черты, поступки и настроения. Все они, эти носители таланта — (не в обиду будь им сказано, а в вознесение) все они с сумасшедчинкой. Нельзя брать на себя безнаказанно миссию Господа Бога. За это накладывается на человека печать. Он должен платить. Поэтому и мерка, применяемая к нему, должна быть особая.

Находя в нем то, что в обычном человеке считается пороком, надо понимать и принимать это как знак «плачу за избрание».

Многие писатели кончили настоящим сумасшествием: Стриндберг, Бальмонт, Мопассан, Гаршин, Ницше... Но и нормальные почти все были со странностями, которые удивляли бы в простом смертном, но в человеке талантливом особого внимания не привлекали.

— Чудит! Все они такие!

Творческая работа разбивает и измучивает человека до последнего предела. Один здоровенный молодой писатель-юморист жаловался, что даже он, закончив рассказ, весь дрожит и долго не может успокоиться.

Нервное напряжение во время работы у многих напоминает какое-то припадочное состояние, транс, при котором проявляются разные причуды. Один не может писать, если в комнате открыта дверь. Другой, если в квартире никого нет. Третий может писать только в кафе на террасе и чтобы мимо ходили люди. Леонид Андреев работал только ночью, шагал по большому темному кабинету и диктовал переписчице, сидевшей у крошечной лампочки. Достоевский диктовал, лежа в постели, повернувшись лицом к стене. Эдгар По ставил ноги в холодную воду. Алексей Толстой клал на голову мокрую тряпку. Впрочем, легче перечислить писателей без причуд, чем с причудами.

Кое-кто из писателей рассказывал, что во время работы, если то, что называется вдохновением или фантазией, разгорается слишком сильно, то им овладевает такое чувство, будто он не может справиться с той волной, которая накатилась на него. Именно «накатилась», как на хлыстов во время радения. И тогда приходится бросать работу и немножко отходить.

Хлынувшая на него волна как бы не им создана, а посылается неведомой силой, чтобы выявить себя, чтобы через него войти в мир. И не всегда может избранный с этой страшной силой справиться.

Писателям любят давать добрые советы.

— Вот работайте здесь на балкончике. Такой чудесный вид — море, горы. Подумайте, сколько это вам даст вдохновения.

Не понимают, что во время работы писатель не видит ни моря, ни гор, ни помойной ямы — ни-че-го, Он видит только то, куда его увело. И иногда из этого мира не сразу может вернуться в мир реальный.

Один писатель как-то растерянно спросил:

— Господи, да с каким же это я дураком весь день сегодня разговариваю?

И вдруг вспомнил:

— Ах да! Это я его утром выдумал в новом рассказе. Вот и ходит теперь за мной и не отвязаться. Выдумал его на свою голову. Ну что теперь? Надоел он мне! Напиться что ли...

Ну и, конечно, напился: Не валерианку же принимать. Уж очень было бы по стародавически.

Люди с писательской работой незнакомые думают, что можно очень удачно сочинять, если хорошо выпался, погулял, подышал свежим воздухом, сел у окна и любишь пейзажем. На это большинство писателей ответят воплем: «Ничего не сочинишь!».

Компилятивную работу, описание чужой жизни и трудов — это возможно. Но напряженную, творческую, вдохновенную — никогда.

Это, конечно, странно, но бессонная ночь, беспутная жизнь, суматоха, неразбериха, когда человеку мешают сесть за письменный стол, какие-нибудь полотеры грохочут в соседней комнате, — неожиданно разгорается фантазия, и человек ждет только момента, когда сможет устроиться, чтобы записать то, что «накатилось». Устроится соответственно своим причудам и будет работать.

Трудная работа писательское «святое ремесло». Часто, может быть, даже подвиг.

Поэтому судить их и человеческую их жизнь надо судом особым. Надо понимать.

И до того не похожа жизнь писателя на жизнь мирного обывателя, что вспоминается такая история: как-то в обществе приятный господин с круглой физиономией и веселыми глазами молодой собаки сказал:

— А мне ровно столько же лет, сколько Блоку.

И кто-то в ответ возмущенно буркнул:

— Что за вздор!

— Почему вздор? — удивился ровесник Блока. — Я родился в том же году, в том же месяце и того же числа.

— Да, но все-таки это совсем не то, — не сдавался буркнувший.

Ему до такой степени казалось невозможным, чтобы у этого господина было что-то общее с Блоком, что даже одинакового возраста душа его не принимала.

— Как так не то?

— Не те годы прожиты. Счетом те, качеством не те. И говорить об этом смешно. Раз не понимаете этого, не объяснишь. На том разговор и кончился.

Давно, когда еще не были опубликованы ни дневники, ни письма Льва Толстого, считали его богатым, сытым барином, окруженным многочисленным семейством, патриархально проживающим в своем имении, спокойно и много работающим.

Оказалось, что жизнь спокойного барина сплошная истерика, черная, тяжелая, жуткая. Навалился на человека кошмар и душил, и задушил.

За ним вспоминается исступленный эпилептик Достоевский, безумный Гоголь, беспокойный Державин, истерик Тургенев, неврастеник Григорович. Даже толстый дядя Гончаров и тот страдал манией преследования и видеп призраков.

Современников наших мы сами знаем.

\* \* \*

Как-то раз в тесном писательском кругу затеяли мы определять, к типам какого писателя можно отнести данного человека. Прежде всего занялись, конечно, литераторами.

Вот, например, Гоголя, со всей его странной судьбой и характером, Гоголя, сжегшего конец «Мертвых душ», мог бы написать Толстой. Очень ясно поддается определению Чехов. Он мог быть героем романа, написанного Тургеневым. Точнее говоря — Чехов, вся его личность и вся история его жизни, могли бы быть написаны Тургеневым.

Льва Толстого, с его бесконечными исканиями, с душевными сдвигами и уходом, мог бы написать Достоевский. И как это ни странно — его мог бы написать, грозно его осуждая, сам Лев Толстой.

Так вот, применяя этот метод к Куприну, можно сказать, что Куприн был написан Кнудом Гамсуном в сотрудничестве с Джеком Лондоном.

Это — сочетание скрытой душевной нежности с безудержным разгулом и порою даже жестокостью — это все мог бы выдумать или Гамсун, или Джек Лондон.

Надо мною посмеиваются, что я в каждом человеке непременно должна найти какую-то скрытую нежность. Это, говорят, как в рассказе Бориса Пантелеймонова «Каждый кому-то не Иван, а Ванчик». Я отшучивалась: «Да, да, и Каин был для мамы, Евы, Каинушечка». Но тем не менее в каждой душе, даже самой озлобленной и темной, где-то глубоко, на самом дне, чувствуется мне присушенная, пригашенная искорка. И хочется подышать на нее, раздуть в уголек и показать людям — не все здесь тлен и пепел.

\* \* \*

Много рассказывалось о безудержных купринских кутежах, о злых забавах, как травил он в пьяной компании кошку собаками, как видел в одесском ресторане попугая в клетке и кто-то сказал, что если попугая накормить укропом, то он погибнет в страшных мучениях. И будто бы услышав это, Куприн всю ночь ездил по городу, искал укропа, чтобы накормить попугая и посмотреть, что из этого будет. Но была зима и свежего укропа он не достал.

Часто приходилось видеть в литературном ресторане «Вена», как бушует в своей компании Куприн, как летят на пол бутылки, грохают об пол стулья, гремит крутая ругань, со словами из «народной анатомии», как ведут кого-то под руки мириться, и оробевшие мирные люди спешат от греха подальше убраться по домам.

Бесшабашный кутила, пьяный буйан, но и во внешней жизни своей не целиком укладывался он в эту скверную рамку. Было в нем многое, о чем следует рассказать.

Он, конечно, не был добряком, как думают некоторые на основании его рассказов. Но в нем было благородство, в нем было доброжелательство. Он не хватал и не прятал от друзей каких-нибудь выгодных возможностей, как это, к сожалению, часто бывает. Он всегда с готовностью рекомендовал издателям товарищей по перу, говорил о них с переводчиками. Помню такой, довольно показательный, случай.

Я завтракала у Куприных и уже собиралась домой, но он усиленно удерживал меня.

— Посидите немножко. Сейчас должна прийти одна голландская переводчица. Я непременно хочу вас с ней познакомиться, она может вам пригодиться.

Но переводчица не пришла.

И в тот же день я пошла к писателю, с которым была в самых дружеских отношениях. Когда меня впустили, его домашние плотно закрыли дверь в его комнату.

— Он болен? — спросила я.

— Нет. У него голландская переводчица.

Я поняла. Боялись, что она заинтересуется моими рассказами. Вспомнился Куприн, уговаривавший меня познакомиться с ней.

Куприн искренне радовался чужому успеху, как художественному, так и материальному. Он не был завистлив и у многих оставил о себе хорошую память. Занимая одно из первых мест в нашей литературной семье, он был необычайно скромно и доступен. К нему приходили маленькие писатели, и всех он принимал радушно и добродушно. Только про одного, тоже маленького, но очень высоко державшего собственное знамя, как-то сказал:

— Мне с ним трудно. Уж очень он знаменит.

\* \* \*

Читатели Куприна любили. И многие, не знавшие его лично, даже как-то умилялись над ним, считали добряком, простым, милым человеком. Может быть, оттого, что писал он просто, без вывертов, которые так ненавистны широкой публике. Честно писал, не красуясь и не презирая читателя (Я, мол, пишу как хочу, а если тебе не нравится, значит, ты дурак).

— Этот офицер хорошо пишет, — сказал Толстой о начинающем Куприне.

Куприн был настоящий, коренной русский писатель, от старого корня. Когда писал — работал, а не забавлялся и не фиглярничал. И та сторона его души, которая являлась в его творчестве, была ясна и проста, и компас его чувств указывал стрелкой на добро.

Но человек — Александр Иванович Куприн был вовсе не простачок и не рыхлый добряк. Он был очень сложный.

Жизнь, в которую втиснула его судьба, была для него не подходящая. Ему нужно было бы плавать на каком-нибудь парусном судне, лучше всего с пиратами. Для него хорошо было бы охотиться в джунглях на тигров, или в компании бродяг золотоискателей, по пояс в снегу, спасать погибающий караван. Товарищами его должны быть добрые морские волки или даже прямые разбойники, но романтические, с суровыми понятиями о долге, о чести, с круговой порукой, с особой пьяной мудростью и честной любовью к человеку. Он всегда чувствовал на себе кепку, пропитанную морской солью, и щурил глаза, ища на горизонте зловещее облако, грозящее бурей.

Как-то на банкете «Возрождения», говоря тост, он назвал сотрудников газеты «товарищи матросы нашего корабля». Это было именно то, что он чувствовал.

Зверски пьяный, он травил кошку собаками, но мог бы на пожаре кинуться в огонь, чтобы спасти котенка. Может быть — тоже в пьяном виде, но не в этом дело. Дело в том, что был способен на поступок, на который не всякий добряк решится.

\* \* \*

Внешность у Куприна была не совсем обычная.

Был он среднего роста, крепкий, плотный, с короткой шеей, с татарскими скулами, узкими глазами, перебитым монгольским носом. Ему пошла бы тибетейка, пошла бы трубка.

Было в нем звериное и было нежное.

Рассердится и сразу зрачки по-звериному съежятся, жестоко и радостно. Зверь ведь радуется, когда злобно поднимает для удара когтистую свою лапу.

Для Куприна, как для зверя, много значило обоняние, запах. Он нам говорил, что «принюхивается» к людям.

— Потяну носом и знаю, что за человек.

Помню, как-то в обществе показала я ему красивую даму.

— Что скажете, Александр Иванович, правда, хороша?

Ответил отчетливо и громко:

— Дура собачья. У нее от морды редькой пахнет.

Любил духи «Роз Жакемино» до блаженной радости. Если надушить этими духами письмо, будет носить его в кармане без конца.

Любил и понимал зверей.

Пока был здоров, бегал по утрам в Булонский лес смотреть на верховых лошадей. Интересовался не столько статями породистых коней, сколько красотой, игрою мускулов, нарядным шагом, атласистым волосом. Любовался по-звериному.

Как-то Алексей Толстой сказал:

— Совсем мы мохом обросли. Видел сегодня Куприна. Сидит, гладит рыжего кобеля и счастлив.

Был ли он уж так счастлив — не знаю, но что общение со зверями было всегда для него радостью, в это верю.

Последние годы, когда он хворал и редко выходил из дому, была у него кошка. Он с ней много разговаривал. Как-то зашедшие к нему друзья застали его очень расстроенным.

— Все сегодня с утра не клеится. Гонорар в газете сбавили, кошка чего-то на меня дуется, не понимаю отчего. Доктор запретил пить Кальвадос и велел лежать. Все не клеится. Но чего кошка-то обиделась?

Кошка была для него очень близким существом. Последним представителем звериного мира, который он так любил. Уез-

жая в Россию, на парижском вокзале, усаживаясь в вагон, он больше всего заботился о кошке, волновался не забыли ли захватить кошку. Он понимал, что жизнь его переломилась, что едет он на родину не жить, а умирать, и обеими руками держался за это последнее любимое, свое, звериное.

— Где кошка? Дайте же мне кошку!

\* \* \*

С А. И. Куприным встретилась я в самом начале моей литературной жизни, когда только что появился в газете «Новости» мой святочный рассказ. И вот у кого-то за ужином моим соседом оказался Куприн.

— Это не вы ли написали рассказ у Нотовича?

— Я. А что?

— Очень скверный рассказ, — убежденно сказал он. — Бросьте писать. Такая милая женщина, а писательница вы никакая. Плюньте на это дело.

Куприн был крепкий, сытый, с глазами веселого тигра. Посмотрела я на него и думаю — а ведь он, наверно, правду говорит. Как это ужасно. Значит, писать больше не буду.

Так бы и перестала, если бы не вмешалась в это дело моя любовь к красивым башмакам. А вмешалась она так.

Сидела я с друзьями в одном из литературных ресторанчиков, вероятно, в «Вене». И подсел к нам Петр Пильский.

— Отчего, — говорит, — вы больше не пишете?

— Не могу, — вздохнула я. — Таланта нет. Писательница я никакая.

— Что за вздор! Вот начинается новая газета. Будет выходить по понедельникам. Нужны маленькие рассказы. Попробуйте.

— Да не хочется. Раз нет способностей, так нечего лезть.

— А вы попробуйте. Заплатят двенадцать рублей. А за эти деньги можно купить у Вейса прелестные башмачки. Ведь вы любите красивые башмачки?

— Ну еще бы! Я-то? Да больше всего на свете.

— Ну так вот, не откладывайте, пишите рассказик и сра-

зу бегите к Вейсу за башмаками. И торопитесь. Откладывать нельзя.

Раз дело шло о башмаках от Вейса, то, конечно, откладывать было нельзя. В ту же ночь рассказ был написан, а утром Василевский Не-буква, редактор-издатель «Понедельника», заехал за ним.

Рассказ понравился, его напечатали, но мне было как-то беспокойно.

Хвалят, думаю, просто из любезности. А способности-то ведь все-таки нет.

Но — деньги получены, башмаки у Вейса куплены, значит, и бездарностям есть на свете место.

Дней через десять встречаю Куприна. От страха вся съежилась и отвожу глаза, чтобы он меня не узнал. Сейчас начнет разделять меня под орех.

Но еще издали делает приветственные знаки и идет прямо ко мне.

— Милая! — кричит. — До чего хорошо написала! Голубчик мой, умница! Чего же до сих пор ничего не писала?

Смеется он надо мной, что ли?

— Да ведь вы же, — лепечу, — сами сказали, что писательница я никакая. Вы же мне запретили писать.

— Ну как же это я так! С чего же это я!

И так искренне радовался и всем кругом цитировал отрывки из этого самого рассказа, что не поверить ему я не могла, так же искренне, как и в тот раз, когда он говорил, что я «никакая». Поверила и стала писать. Но если бы не прельстил меня Пильский башмаками от Вейса, не пришлось бы Куприну на меня радоваться. В этих самых башмаках и зашагала я по своей литературной тропинке. А Куприн на всю жизнь остался самым дружеским ценителем моих произведений, а бывало так, что уже статья о моей новой книге напечатана, а он приходил в редакцию и говорил:

— А я хочу еще и от себя дать об этой книге отзыв.

И отзыв всегда бывал очень для меня лестный. Надо заметить, что такое доброжелательство — явление в писатель-

ском кругу чрезвычайно редкое. Почти небывалое. Повторяю — он был очень хорошим товарищем.

\* \* \*

Жил Куприн в эмиграции — он, его жена Елизавета Мавриковна и молоденькая дочь — очень странно. Вечно в каких-то невероятных долгах.

— Должны десять тысяч в мясную.

Все удивлялись. Ну какой парижский мясник станет отпускать столько в долг русскому беженцу?

Для Куприна устраивались сборы. У него были преданные друзья, выручавшие его в трудную минуту. Елизавета Мавриковна открыла маленькую библиотеку и писчебумажный магазин. Все шло скверно.

Одно время жили на юге. Там он сдружился с местными рыбаками, и те брали его с собой в море на рыбную ловлю.

Он, наверное, как мальчик, играл в настоящего рыболова, хмурил брови и надвигал на лоб мятую «пропитанную морской солью» фуражку. Он писал рассказ про то, как надо готовить буйабез, какую следует выбирать рыбу — морского угря и, главное, колючую рыбку рассказ, без которой из буйабеза ничего ровно не выйдет. Писал с любовью, со знанием дела. И чувствовалось, как дорог ему весь этот рыбацкий быт, как он радостно вживается в него, как чудесно «играет».

Пропадал на рыбной ловле по целым дням. Вечером Елизавета Мавриковна бегала по всем береговым кабачкам, разыскивая его. Раз нашла в компании рыбаков с пьяной девицей, которая сидела у него на коленях.

— Папочка, иди же домой! — позвала она.

— Не понимаю тебя, — отвечал Куприн тоном джентльмена. — Ты же видишь, что на мне сидит дама. Не могу же я ее побеспокоить.

Но общими усилиями даму побеспокоили.

\* \* \*

Он всегда любил и искал простых людей, чистых сердцем и мужественных духом. Долгое время дружил с клоуном, любил циркачей за их опасную для жизни профессию.

Как-то, встретив у меня молодую, очень буржуазную даму, он вполне серьезно убеждал ее бросить все и поступить в наездницы.

— Вот родители не позаботились о вас, не дали вам настоящего воспитания. Вы где учились?

— В институте.

— Ну вот видите. Ну на что это годится? Раз родители вовремя не позаботились, попробуйте исправить их ошибку. Конечно, на трапеции работать вам было бы уже трудно. Поздно спохватились. Упустили время. Но наездница из вас может еще выйти вполне приличная. Только не теряйте времени, идите, идите завтра же к директору цирка.

Стихов Куприн вообще не писал, но было у него одно стихотворение, которое он сам любил и напечатал несколько раз, уступая просьбам разных маленьких газет и журналов. В стихотворении этом говорилось о его нежной тайной любви, о желании счастья той, кого он так робко любит, о том, как бросится под копыта мчащихся лошадей, и «она» будет думать, что вот случайно погиб славный и «почтительный» старик. Стихотворение было очень нежное, в стиле мопассановского «Fort comme la mort» и, очевидно, этим романом и навеянное.

Вот оно, это стихотворение, и открывало тайный уголок романтической души Куприна.

Все знают его как кутилу, под конец жизни даже большого алкоголика, но ведь не все знают тайную нежность его души, его мечты о храбрых, сильных и справедливых людях, о красивой никому не известной любви.

Никто не знает, что три года подряд 13 января, в канун русского Нового года, он уходил в маленькое бистро и там, сидя один за бутылкой вина, писал письмо нежное, почтительно-любезное, все той же женщине, которую почти никогда не видел и которую, может быть, даже и не любил. Но он сам, Александр Иванович, был выдуман Гамсуном и, подчиняясь воле своего создателя, должен был тайно и нежно и, главное, без-

надежно любить и каждый раз под Новый год писать все той же женщине свое волшебное письмо.

\* \* \*

Конец беженской жизни Куприна был очень печальный. Совсем больной, он плохо видел, плохо понимал, что ему говорят. Жена водила его под руку.

Как-то раз я встретила их на улице.

— Здравствуйте, Александр Иванович.

Он смотрит как-то смущенно, в сторону.

Елизавета Маврикиевна сказала:

— Папочка, это Надежда Александровна. Поздоровайся. Протяни руку.

Он подал мне руку.

— Ну вот, папочка, — сказала Елизавета Маврикиевна, — ты поздоровался. Теперь можешь опустить руку.

Грустная встреча.

\* \* \*

Елизавета Маврикиевна решила, что благоразумнее всего вернуться на родину. Пошла в консульство, похлопотала. Оттуда приехал служащий, посмотрел на Куприна, доложил послу все, что увидел, и Куприну разрешили вернуться. Они как-то очень быстро собрались и, ни с кем не попрощавшись, уехали. Потом мы читали в советских газетах о том, что он говорил какие-то толковые и даже трогательные речи. Но верилось в это с трудом. Может быть, как-нибудь особенно лечили его, что достигли таких необычайных результатов. Умер он довольно скоро.

Вот какой странный жил между нами человек, грубый и нежный, фантазер и мечтатель, знаменитый русский писатель Александр Иванович Куприн.



## ГЕОРГИЙ ЧУЛКОВ И МЕЙЕРХОЛЬД

Не знаю, жив ли Георгий Чулков.

Воспоминание о нем осталось очень милое. Красивый, приятный, талантливый человек. Но главное, что характеризовало его, это непогасаемый восторг перед каким-нибудь талантом. Он, не помня себя, погружался в этот восторг, только им и бредил, только им и жил.

А. Измайлов в своих сатирических портретах написал о Чулкове:

«Александр Блок! Александр Блок! Александр Блок! Дайте попочке сахару».

Но ему и сахару не нужно. Ничего ему не нужно. Забывал самого себя.

Я его видала часто вместе с Мейерхольдом еще до театра Комиссаржевской, где Мейерхольд наконец развернулся. До этого театра были только планы, чертежи будущего великого здания, декламация и предчувствие триумфа. Предчувствия не обманули. Ведь перед закатом Мейерхольда большевики начали строить театр его имени, где, если верить газетам, для каждого зрителя был обещан особый вентилятор.

Мейерхольд чертил магический треугольник. В углы треугольника помещались — автор, режиссер и актер. Каждый в своем углу. Общение через катеты и гипотенузу. Автора и актера соединяет гипотенуза — длиннейший путь. И это не без умысла. Таким образом, автору выходило проще общаться с актером через режиссера по двум катетам. Непосредственное общение автора с актером подрывает работу режиссера, который лучше знает, что хочет выразить автор и как нужно его выражать.

Впоследствии я на горьком опыте узнала весь трагизм этой гипотенузы, отделяющей автора от актера.

Режиссер всегда считает автора врагом пьесы. Автор своими замечаниями только портит дело. Написал пьесу автор, но режиссер, конечно, лучше понимает, что именно автор хотел сказать.

Так, в одной из моих пьес выведен нежный молодой влюбленный, который говорит любимой женщине: «Солнце мое, я

люблю тебя». Режиссер напялил на влюбленного страшный рыжий парик, огромный зеленый галстук с торчащими концами и загримировал идиотом.

— Почему?

— Как — почему? По вашей же пьесе. Ведь он же у вас идиот.

— Да с чего вы это взяли?

— Да как же: он говорит даме «солнце мое». Ясно же, что он идиот!

Когда ставили мою большую пьесу в московском Малом театре, я приехала, чтобы прочесть ее актерам. Потом стала ходить на репетиции. Ставил пьесу Платон, серьезный режиссер — театр ведь Императорский!

Первый акт кончался у меня чтением нежного стихотворения, и занавес под это чтение должен был медленно-медленно опускаться. Было красиво и создавалось «настроение». И каждый раз театральный плотник пускал занавес с какой-то нарочитой скоростью: тррррр-бах! Я чуть не плакала. Платон успокаивал:

— Ох уж эти авторы! Да уверяю вас, что на спектакле он сделает прекрасно.

— Так почему же он сейчас хоть бы раз не сделал как следует?

— Ох уж эти авторы!

Я ненавижу длинноты. И, конечно, вырывала кусочки то у одного, то у другого актера. А актеры обожают поговорить побольше.

Платон уговорил меня уехать и вернуться через месяц к последним репетициям.

— Вот тогда увидите, как мы подадим вашу пьеску. Сейчас актеры еще не вошли в роль, ваши замечания их нервнируют.

Поверила. Уехала. Через месяц приехала.

Тррррр-бум! — бахнул занавес. Главная роль у Остужева. Чувствую длинноты. Поправить ничего нельзя, потому что он глухой и учит роль назубок. Реплик он не слышит. Все актеры, увы, вошли в роль, и теперь уж ничего с ними не поделаешь.

Пьеса мне до того не понравилась, что когда приехал ко мне Незлобин и попросил дать ее для Петербурга, я в ужасе

крикнула:

— Ох не надо!

Он только руками развел.

— Первый раз вижу автора, который не хочет, чтобы его пьесу играли.

Я пьесу дала, но тут уж себя отстояла. Вылезла из залятого треугольника, сама говорила с актерами, и пьеса сошла отлично.

Но это было много позже. А в то время, о котором веду рассказ, Мейерхольд чертил свою геометрию. Чулков пламенел. Потом оба решили, что со мной им трудно, что невидимая стена отделяет меня, и их живая мечта от этой стены отскакивает. Они были правы.

Я помню, как писали в советских газетах о постановке Мейерхольдом «Ревизора». У него из шкапа в будуаре городничихи вереницей выходили ее «мечтаемые» любовники. Поле было свободное — мертвый Гоголь, загнанный за гипотенузу, протестовать не мог.

У Мейерхольда была очень милая жена, тихая, из породы «жертвенных». После революции он женился на другой. Вообще все тогда спешно развелись и переженились — Гумилев, Ахматова, Толстой, директор «Кривого Зеркала» Кугель, Луначарский... Началось: вторая жена Гумилева, третий муж Ахматовой, третья жена Толстого, новая жена Мейерхольда... Все эти вторые и третьи браки, все какое-то спешное, нереальное. Точно мечутся люди испуганные и тоскующие и хватаются за какие-то фантомы, призраки, бредовые сны. Старались утвердить на чем-то новом свою новую страшную жизнь, которая уже заранее была обречена на гибель.

В последний раз я видела Мейерхольда на одном из беженских этапов — в Новороссийске. Он был какой-то растерянный. Но настойчиво просил зайти к нему. Я записала его адрес и обещала прийти.

— Мне очень бы хотелось кое о чем поговорить с вами, — сказал он, прощаясь. — И не откладывайте.

Дня через два я пошла по этому адресу. Шла очень долго, куда-то далеко за город. Наконец нашла его дом. Долго звонила, стучала. Никто не отозвался, никто не открывал. Чудились

какие-то шорохи, шепоты, точно притаился кто-то и дышать не смеет. Я уже собралась уходить, как откуда-то сбоку из-за дома вышел плешивый старик в грязном кителе. Остановился и смотрит на меня. А я на него.

Наконец спрашиваю:

— Вы здешний?

— А что?

Человек был осторожный.

— Я ищу Мейерхольда.

— Первый раз слышу такое имя.

— Он мне дал свой адрес. Он здесь живет?

— Покажите адрес.

Я вынула из сумочки записку, показала ему.

— Это не его почерк, — сказал старик и посмотрел на меня, подозрительно прищурился.

— Да, это я сама записала, а он продиктовал. Но как же вы знаете его почерк, когда вы даже имени его никогда не слышали?

Старик смутился, и вся его плешивая голова покраснела.

— Во всяком случае его здесь нет и никогда не было. Видите — дом закрыт.

— Хорошо. Я верю вам, что вы его не знаете и что он здесь не живет. Но если вы случайно с ним познакомитесь, скажите, что я приходила, потому что он меня звал.

Я сказала свое имя и ушла.

Обернувшись на повороте, я заметила, что старик, спрятавшись за дерево, следит за мной.

Все это было странно. Потом, когда я узнала, что он вернулся к большевикам, я поняла, что он уже прятался от белых. Боялся, что его решение стало известно и ему грозят неприятности, в те времена очень серьезные.

Он сам выбрал свою судьбу. Работал у большевиков, как ему хотелось. Потом, как водится, оказался, к полному своему удивлению, иностранным шпионом, был арестован. Какой именно смертью он умер, никто не знает. Знают только, что такую смерть не называют «своей».



*Неизвестные русские авторы  
70-80-х годов XX века.*

## ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ

*АПОКРИФЫ И НАДПИСИ. ПУБЛИКАЦИЯ А. ТУРБИНА*

Когда В. И. слег и задумался, ему так славно думалось, что он понял: думать и надо лежа, бегаючи много не надумашь. На одре он вольно предавался предначертаниям и до последнего дня, несмотря на строжайшее запрещение врачей, не упускал случая произвести какую-либо замечательную цитату.

\* \* \*

В. И. терпеть не мог Сталина. Иногда, беседуя с ним, он совершенно терял терпение, до капельки. Но В. И. был воспитан в интеллигентной семье, и у него не поворачивался язык сказать даже Сталину «пошел вон». Поэтому он говорил с присущим ему лукавством:

— Шаг вперед, два шага назад.

И сообразительный Сталин, пятясь к двери, понемногу ступивался.

\* \* \*

В. И. всегда очень любил думать. Обычно он ставил локоть на стол, упирал огромный лоб в короткую, но крепкую ладошку и в таком положении думал и думал. Неспроста современники, даже настроенные неблагоприятно, но и они отмечали, что локти на его пиджаке блестят, как полированные, а костюмчик-то был у него один-единственный. Особенно его терзал вопрос бюрократизма. Обдумывая этот наболевший вопрос с присущей ему величайшей тщательностью, с учетом всех факторов, он настолько глубоко продумал, как бороться с бюрократизмом, что это сохраняет поныне и, смело можно сказать, сохранит свою актуальность во веки веков. Но неверно представлять, что В. И. все только сидел и думал, нет, ему и побегать пришлось немало, в том числе в волнении по кабинету. Ведь он фактически один исправлял ошибки. Конечно, соратники ему помогали по мере сил, но силенок-то было у них не сравнить как у самого, и они одно, что много ошибок пропускали, это нечего и говорить, а другое — зачастую допускали и сами. Правда, у соратников появлялись помощники, но те, в силу небольшого стажа, ни той закалки, пропускали еще больше, а уж допускали видимо-невидимо, и В. И. сбивался с ног, исправляя за всеми, а в результате его симпатичные тупорылые, как мопсы, ботиночки выглядели не краше, чем его этот единственный темно-синий костюмчик-тройка, что не могло не тревожить близких людей, но в первую очередь жену.

\* \* \*

Соратники очень любили слушать В. И. Особенно они любили, как сами описывали, когда он обеими руками широко разводил на груди расстегнутый пиджак и засовывал большие пальцы в проймы жилета под мышками. А затем он выкидывал правую руку вперед, приглашая всех собравшихся незамедлительно проследовать в том направлении, после чего, ни на чуток не притормаживая проворное движение речи, с присущим ему редким самообладанием опять отводил опавший борт пиджака и засовывал палец на прежнее место, нередко в это же самое время левой рукой люто сжимая кепочку. Не каждый так сумеет, не говоря уже, что говорил он много и замечатель-

но, как никто. Но когда В. И. заболел и слег, соратники проявили себя не очень-то хорошо. Некоторые даже не навещали его, а если кто и приходил, то начинал жаловаться на остальных соратников, хотя мог бы и пожалеть больного человека зная, как он не любит этого раскола.

\* \* \*

В. И. обладал удивительной способностью внести ясность, о какой бы простенькой с виду вещи ни шла речь. Он умел, опираясь на фундаментальные воззрения, высветить и три основные проблемы, и сопутствующие принципиальные вопросы, и целый ряд существенных моментов. И в заключение подчеркнуть, что или — или. В случае или второго — полный крах, в случае же первого или — далеко не полный и не крах, а даже что-то на сладкое — например, клюквенный кисель.

\* \* \*

Однажды, когда Сталин ушел, В. И. возьми и скажи: «М-да. Не Спиноза». А Троцкий возьми и поддаки: «И даже не Сенека». А Сталин в это время за дверью надевал калоши, потому что тогда носили калоши поверх сапог тоже, и все слышал. Сталин был не такой глупый, он догадался, что они смеются над ним. Он обозлился и пошел и нагрубил жене В. И., которая сердиться не сердилась — что с него, с люмпена, взять, но законно возмущалась, что он на кухню в калошах.

\* \* \*

Жена В. И. не любила ходоков за то, что они как были с дороги, так и шли в кабинет: в тулупах, лаптях, с мешками и т.п. Но она понимала, что В. И. должен регулярно прислушиваться к голосу народа собственными ушами, и ради этого приходится терпеть. А после ходоков она звала золовку, которая была старая дева и жила с ними, и они вдвоем принимались за уборку. В. И., глядя на них, посмеивался и говорил: «М-да. Генеральная уборка!». Но тут же он мрачнел, потому что поневоле вспоминал о генеральном секретаре, а генерального секретаря он терпеть не мог, просто не выносил.

\* \* \*

В. И. очень любил животных. В молодые годы любил активно, хаживал с ружьем в тайгу, но позднее не было уже ни времени, да и где тайга, и наконец он был вынужден ограничиться тем, что гладил кошку. Но уютного отдельного времени не было и на это, и он гладил кошку, одновременно беседуя с каким-нибудь всемирно известным английским писателем или представителем международного пролетариата. Иностранцы удивлялись и спрашивали: почему он так любит животных? А В. И. отвечал: «Любить животных ничто не мешает».

\* \* \*

В. И. очень любил музыку. Однажды он позвал музыкантов, они играли, а он слушал. И до того заслушался, что забыл подписать лежавшие у него стопочкой на столе бумаги от Дзержинского. «Ночью просыпаюсь, — рассказывал он, посмеиваясь, — и думаю: что-то я такое не подписал, но что? Важно ли это? Срочно ли? А уже начинало светать. И тут меня осенило: батюшки, бумаги же от Дзержинского! Быстренько встал, быстренько подписал, лег и заснул, и снилось мне, будто я гуляю по Пляс Пигаль, а навстречу, вижу, идет Энгельс с гармошкой и наигрывает сонату «Апассионату». Грандиозная музыка! Я даже сомневаюсь, Пляс ли это Пигаль или какая-то более уместная площадь. Уж не нашенская ли Болотная? Или... Сегодня, если опять приснится, присмотрюсь».

\* \* \*

В. И. был такой человек, что его хлебом не корми, но дай ему открыть глаза кому-нибудь на что-нибудь. Однажды в Горках он встретил мужика, который волок верхушкой по земле, обывая комель у левого бока, здоровенную осину, а в правой руке нес топор.

— Здравствуйте, товарищ! — приветливо обратился В. И., приподнимая кепочку.

Мужик локтем прижал топор к правому боку и опроставшейся рукой стянул шапку.

— Здравствуй, барин. — отвечал он.

— Что? Как вы сказали? — В. И. даже отпрянул. — Я не ба-

рин! Бар мы давно прогнали, разве вы не знаете этого?

— Как не знать, барин. — отвечал мужик. — Это мы знаем.

— Вот и отлично! — приободрился В. И. — Я ни на минуту не сомневался, что вы это знаете. Но тогда скажите мне: а чей это лес?

— Да уж известно чей. — отвечал мужик. — барский.

— Позвольте! — разволновался В. И. — Как же барский! Бар мы давно прогнали, частная собственность отменена навсегда, и лес этот, как и все прочие леса, есть всенародное достояние. Неужели вы не понимаете этого?

— Почему не понимаем. — возразил мужик. — это мы понимаем.

— В таком случае могу ли я спросить. — со светлым взором произнес В. И., прокрадываясь в самую глубину души мужика, — а куда вы тащите этот каштан?

— А ташу я его, — не моргнув глазом ответил мужик. — в клуб при сельсовете. Там у нас по указанию этого, как его, укома открыты курсы по этой, как ее, ликвидации безграмотности. А нешто ее, ведьму, ликвидируешь, сидя в холоде? В тепле способнее.

— А-а! — зазвенел В. И. — Но это же другое дело! Это заставляет перенести весь вопрос в совершенно иную плоскость! Ступай с богом, голубчик.

— Премного благодарны, — ответил мужик и, нахлобучив шапку, а топор взявши опять в руку, пошел своей дорогой.

В. И. был чрезвычайно возбужден этой встречей и всем рассказывал о ней по нескольку раз, упирая на разбуженное сознание и выразительность народной речи. Не всем и по-своему, уверяя, что подозрение пало не столько на дерево, как на топор, баял о ней, возвратившись через десять лет, и тот мужик. Впрочем, он возвратился ненадолго.

\* \* \*

После удара В. И. все забыл, но спустя время начал вспоминать.

— А что, Надя, — сказал он жене как-то за завтраком. — социализм — это первая фаза?

— Да, Володя, да, — вздохнула жена, еще не отдавая отчета, что он начинает вспоминать

— Это по труду, что ли?

— Ну конечно! — всплеснула руками жена, радуясь несказанно, что он продолжает вспоминать.

— А власть мы уже взяли?

— А с броневика я тогда не сверзился?

— А Сталин — это такой жуткий тип с черными усами?

Вот так постепенно он все и вспомнил.

\* \* \*

В. И. был за мир и Брестский, и вообще И это несмотря на то, что холостой выстрел «Авроры» возвестил конец несправедливой войны и начало справедливой, особенно в отношении ярко выраженной, хотя и неважно вооруженной Вандеи в Тамбовской губернии.

\* \* \*

В. И. очень любил пасьянс «Могила Наполеона», который раскладывала еще его матушка. От нее научился и он. Но В. И. раскладывал пасьянс не ради проведения времени, а что-то всегда загадывал. Однажды, когда пасьянс раскрылся, он воскликнул:

— Так и есть! Спрашивают: как накормить рабочих? Рабочих-то кормить надо, это неоспоримо, но как? А вот как: чтобы прокормить рабочих, должны пока жить и работать крестьяне! Но...

Тут В. И. опять призадумался. Несмотря на поздний час, он добросовестно стасовал колоду и сызнова принялся за «Могилу Наполеона». В этот раз пасьянс долго не давался, потому что это очень трудный пасьянс. Но В. И. с присущим ему упорством, с умением доводить дело до конца добился-таки, что пасьянс раскрылся. Тогда он рассмеялся своим заразительным, чистым, почти детским смехом и сказал:

— А надо оставлять им кое-что на пропитание! Да-с, как ни парадоксально, крестьянам! При таком условии себя они сами прокормят. Надо им оставлять излишки — вот в чем фокус!

Между тем, у классиков об этом ничего нет, это уж мы с Наполеоном своим умом.

\* \* \*

Однажды, когда В. И. еще не слег, а просто прилег и нечаянно задремал, как с каждым может случиться, проснулся и узнает, что Красную Армию ввели в Грузию, чтобы выдворить тамошнее правительство. Отдохнувший В. И. был крайне возмущен. Это надо же: ввели туда Красную Армию! Как так можно! Мало ли кому что неймется! Он вызвал Сталина, Орджоникидзе и Дзержинского и отчитывал их так долго и с такой присущей ему революционной страстью, что на его огромном лбу проступила испарина. Когда же они наконец, ушли, В. И. хлопнул себя по огромному лбу и с досадой сказал жене:

— Надя! Хоть бы ты мне напомнила! Что же я не сказал-то им, чтобы они вывели оттуда Красную Армию?

\* \* \*

В. И. поначалу думал, что будет остроумно, если забрать у крестьян рожь и пшеницу, а им привезти из города ситец и гвозди. Но когда В. И. увидел, что из этого ничего не вышло, поскольку вследствие головотяпства нигде не нашли гвоздей, он имел мужество прямо признать, что так, мол, и так: не вышло. И так бывало всегда, когда он видел, что из чего-нибудь чего-нибудь не вышло. Перед самой смертью В. И. увидел, как видение, что ни из чего ничего не вышло, но логически развить эту мысль не успел, а Сталин принял все меры, чтобы ее не развивать.

\* \* \*

В. И. не любил чистоплюев, которые кстати и некстати ахали: «Ах, что мы натворили! Ах, ах!» Другое дело, когда завершался некоторый период напряженной деятельности и наступал сезон осмысления. Тут В. И. был впереди всех как в смысле своевременности, так и беспощадности в оценке того, что мы натворили.

\* \* \*

В чем В. И. не знал равных, так это в даре предвидения. Однажды, гуляя в сельской местности под Москвой, В. И. с ходу врезался лбом в забор, да так убежденно, что быть бы на огромном лбу огромной шишке, но В. И. приложил серебряную ложку, которую на всякий подобный случай клала ему в карман пальто жена, и гулял дальше. Не успел он пройти и ста шагов, как перед ним возник другой забор, да такой новый, здоровый, что страх. Но В. И. не уклонился с пути. Сосредоточившись, он шел своим путем, и когда лоб его уже был от забора на расстоянии всего ничего, тот внезапно исчез, а вскоре послышался шумный плеск. По-видимому, забор не провалился сквозь землю, а наоборот, выдернулся из земли, взлетел и рухнул в пруд колхоза «Новый путь» или, может быть, в Женевское озеро. А В. И., с присущей ему скромностью, только и сказал: «То-то» — и гулял дальше.

\* \* \*

В. И. не давал себе роздыху ни на час. Идете вы, допустим, по лесу с кузовком, о чем думаете? Да так, ни о чем, обо всем. А В. И. не медля приступал думать о всей нашей негодной, разгильдяйской и бесконтрольной, архибезобразной системе заготовки грибов. И не просто так думать, а в видах придания ей небывалой стройности. Дойдет до опушки — глядь, уже и тезисы просвечивают.

\* \* \*

В. И. никогда и никому не давал сбить себя с толку. Однажды ему сообщили тоном самым серьезным и даже озабоченным, что кормить надо не только людей, но и скот. «Вот-вот-вот! — подхватил В. И. неподражаемо. — Вы еще скажите мне, что солнце всходит и заходит! Я не отрицаю известного практического значения подобных представлений. Смешно было бы спорить, что вскоре после так называемого восхода солнца пора пить кофе. Но было бы величайшей ошибкой, непросительной ошибкой смотреть снизу вверх на пошлости ходячих мнений и пресловутого здравого смысла, трепетать перед ними и в конечном счете сдаться на милость этим пошлостям.

И мы не можем позволить себе роскошь впасть в раздражение, в панику, в истерику только оттого, что скот, как вы изволили выразиться, падает, хотя падают, как я отлично помню, яблоки. Как сейчас помню. И дело даже не в том, помнит или не помнит это кто-либо из нас, но это каждому известно или, по крайней мере, должно быть известно из истории физики». Бухарин (*дерзко*): «В. И., но скот надо кормить или не надо?» В. И. (*твердо, запальчиво*): «Пока мы не отучимся мыслить такими категориями, мы только и будем повторять, что надо кормить, но так до конца и не поймем, чем!».

\* \* \*

В. И. был поистине неутомим. Сколько сил он прилагал каждый день, чтобы оставаться самым умным до вечера! А утром начинал сначала.

\* \* \*

Однажды в перерыве заседания Совнаркома В. И. забежал к себе на квартиру пообедать, но щи были до того пересолены, что невозможно есть. В. И. велел позвать кухарку и сказал: «Доколе же будете, Катерина, испытывать наше терпение? Не упрощаете ли вы? И не весьма ли нешуточно упрощаете? Вы заблуждаетесь *pes plus ultra*, если надеетесь после меня управлять государством, так и не научившись варить щи! Мы уже не раз пересаливали, и пора бы уже извлечь необходимые уроки. Весь наш опыт неумолимо подводит к тому выводу, что все-таки лучше недосолить, чем пересолить. Неужели вы до сих пор не усвоили это? В повестке Совнаркома еще 41 вопрос, так что же — прикажете решать их на голодный желудок? Нетрудно представить, какие это будут решения! И не говорите мне, что можно подлить кипяточку. Мы уже подливали кипяточку и знаем, к чему это может привести. Объявляю вам выговор с занесением в учетную карточку, а в следующий раз заставляю съесть всю кастрюлю. И не подливая кипяточку! Нет-с, не подливая кипяточку!» Но когда В. И. узнал, что щи варила его младшая любимая сестра, а никакой кухарки у них и нет,

он опять призвал ее, по-дворянски, от души извинился и снял с нее партийное взыскание.

\* \* \*

В. И. так быстро реагировал и так остро потом переживал, что иногда впечатление: он чувствами жил, как женщина. Ну что же, в таком впечатлении нет ничего бросающего тень, наоборот, это сильно размачивает неверный образ сухаря. Но спросим: а чувствами ли живет женщина? У нее ведь тоже есть убеждения. У нее два убеждения: что правильно и что неправильно. Эти обоюдоострые убеждения у нее закладываются еще в девичестве и вскоре до того закаляются, что она реагирует автоматически, а потому мгновенно. Вот в таком роде и В. И. А что говорят, что потом переживал, так даже очень. Но когда ближайший бывший друг Мартов сказал ему: не огорчайся, все сковородки пролетели мимо, я цел и невредим, — В. И., как ни переживал, сдержался и отослал его подобра-поздорову за границу.

\* \* \*

Свою мать В. И. тоже, конечно, любил и уважал, но в одном разговоре не соглашался, когда она старобытно считала, что чужие письма читать нельзя, а он возражал, что смотря о чем письма. Приводя пример, как на заре своей деятельности он вычитал в одном письме словечко «диктатура пролетариата», В. И. с улыбкой спрашивал, что случилось бы с ним и как бы еще обернулось с Россией, если бы ему не пофартило такое словечко вычитать. И этим простым вопросом он бережно ставил старушку в тупик.

\* \* \*

Культурная широта В. И. была такая, что едва ли кому дойти от края до края. Победивший народ в гробу видел целый ряд явлений, произведений и заведений прошлого, но В. И. неустанно призывал беречь, беречь и еще раз беречь, с одним лишь практически исключением, указывая: «Нечего церемониться с исторически обреченным!». Он учил не смешивать и по-хозяй-

ски относиться вплоть до церковного серебра, которое вполне можно переплавить, но не распространяя это на священников, которых и сам господь бог не перекует. Глядя в окно на бескрайние темные пространства с бесчисленными веселыми огоньками пожаров, он создавал, что пожары, конечно, не выход и рассеять тьму окончательно есть только один способ — электричество. Но пока что там в потемках столько вредного, отжившего, короче, так и так обреченного будет побито-порублено и пожжено, что, когда к этому на всем пространстве приплюсуется еще и свет, окажется налицо одно светлое будущее.

\* \* \*

В. И. никогда не одобрял бессмысленной свирепости. Когда один полковник-латыш доложил ему, что Троцкий порасстрелял уже половину Красной Армии, В. И. лукаво прищурившись, возразил: «Да, но какую половину? Не ту ли, которая терпела поражение за поражением? Но отнюдь не ту, которая одерживает замечательные за победой победы. И потом — что за постановка вопроса: Троцкий расстреливает Красную Армию! Чистейшей воды метафизика. А кто, спрашивается, ее создает и... как это сказать: *crziehen?*.. да, и воспитует!».

\* \* \*

Рассказы, будто В. И., по утрам читая газеты, то брякался на пол и стучал пятками, то подпрыгивал так, что частично сбивал головой побелку с потолка, то под конец рвал газету зубами, — это крупнейшее и нетактичное преувеличение. Но верно то, и что же странного, что задержка с мировой революцией вызывала у него ряд эмоций.

\* \* \*

Случалось и так, что В. И. оставался единственным, кто отстаивал правильную линию до конца. Когда он предложил записать в одну резолюцию, что «нельзя допускать», а Каменев с Зиновьевым, пошептавшись, предложили заменить эту четкую формулировку другой — «не следует одобрять», В. И. обернулся и посмотрел на них так, как только он один умел обер-

нуться и посмотреть. Ему вмиг стало ясно, какой вред может принести эта расплывчатая формулировка, оставляющая лазейки. Но в тот момент это поняли далеко не все, а больше никто. В результате три наркома образовали фракцию, два наркома подали в отставку и один нарком запил. Но В. И. это не остановило. Выступая на митингах, он разъяснял нависшую грозную опасность, и каждому наркому внушал отдельно, а когда нарком, который запил, попытался налить рюмочку и ему, В. И. наотрез отказался выпить с ним. Только тогда нарком осознал всю остроту сложившейся обстановки и признал, что единственная правильная формулировка — «нельзя допускать», а «не следует одобрять» никуда не годится. Когда же он, опохмелившись, приплелся на заседание, и те двое пришли, хотя и нехотя, и те трое тоже, В. И. настоял на формулировке еще более правильной: «нельзя допускать и мысли о». О чем — теперь уже мудрено понять, но важно не это, а важно совсем другое.

\* \* \*

Наперекор мнению, что В. И. только и знал радости, что коллектив, ничего подобного. Заседаний он, в сущности, как известно, не любил, но до начала с увлечением присматривался, как они рассаживаются: кто вчетвером, эти по трое, по двое. А два приятеля — уже фракция, думал В. И. в тоске и тревоге, но, напрягши мысль, молниеносно понял, что и один, если не твой приятель, тоже. При этом, конечно, он не мог забыть, что твой — это тоже до поры до времени. Так что В. И. и отдельному человеку придавал значение и уделял внимание.

\* \* \*

Первое время после революции В. И. очень удивлялся, что государство не отмирает. По утрам он первым делом звонил Семашке и спрашивал: «Ну как? Отмирает?» — «Никак нет, В. И., — отвечал Семашко, — пока не отмирает». — «Но почему? Такое хилое, такое малокровное, а не отмирает?» — «Не могу знать, В. И. Раньше эдакого никогда в природе не бывало». — «Ах ну да, — в раздумье отзывался В. И., — мы же первончи-



ки, починатели... Ну хорошо, продолжайте наблюдение. Установите круглосуточное дежурство, и как только начнет отмирать, звоните мне в любое время суток». Семашко был верный солдат революции, ему как велели, так он и сделал. И стоило учредить круглосуточное дежурство, как стало ясно, почему государство не отмирает. Оказалось, что Дзержинский его по ночам подкармливает. В. И., который с пеленок вырабатывал привычку поглубже задумываться, когда узнал, чем занимается Дзержинский по ночам, задумался особенно глубоко. Он вспомнил, как жил еще недавно в шалаше, а Дзержинский тайно приплывал к нему на лодочке, и, сидя на лужайке, они с наслаждением представляли, как государство отмирает под мелодичную музыку революции. А теперь, на тебе, он его подкармливает! А Сталин, который ночами никогда не спит, все видит и все слышит, почему-то помалкивает. Где Рыков с Бухариным по ночам слоняются или Каменев с Зиновьевым о чем за чайком болтали, всегда, небось, придет и расскажет, а тут, извольте ли видеть, молчок! После этого случая В. И. терпеть не мог Сталина еще больше.

\* \* \*

В первый период после революции В. И. жил в неопишемом напряжении, ожидая, что с минуты на минуту государство начнет отмирать. По утрам, бывало, чуть дорвется до телефона, звонит Семашке: «Ну как?» — «Пока никак, — отвечает, бывало, Семашко. — Не отмирает. Но должно». — «Вы уверены?» — «А как же! При таком малокровии... Должно». — «Что же вы принимаете?» — «Установили круглосуточное дежурство. Наблюдаем». — «Ах вот как! — вскипел В. И. — Вы наблюдаете! Вы всего лишь наблюдаете! Учишь вас, учишь... так вот что я скажу вам, записывайте: недопустимо и преступно отвлекать квалифицированный персонал на разного рода умозрительные забавы, и это в то самое время, когда давно пора направить его для оказания конкретной, реальной, практической помощи тысячам, десяткам и сотням тысяч, миллионам людей, которые готовы проливать свою кровь, пусть по капле, но до последней, уже готовы, слышите, и вот-вот начнут! А вы, извольте ли

видеть, наблюдаете! Снимите сейчас же это никому не нужное наблюдение. Позвольте вам довести до сведения, что это вообще не ваши заботы. Это забота Дзержинского... Чья-чья? Ну нет, это уж будет чересчур. К тому же я его терпеть не могу».

\* \* \*

Соратники, вообще-то, вели себя нельзя сказать, что лучше не бывает. Капризничали по пустякам, поддавались настроениям и хуже, панике. Так, кое-кто горько плакал, когда другие партии бросили большевиков у власти в полном одиночестве. В. И. вразумлял кое-кого, поясняя так, что зачем тебе другие партии, от которых только и проку, что левоэсеровские мятежи, а повседневно упорно работать они все равно не желают, что и неудивительно, являясь мелкобуржуазными. И разъярившись в целом, что если уж исторически сложилось так или иначе, то плакать, а тем более горько, занятие бесперспективное, а так-то даже лучше. Но кое-кто все-таки долго никак не мог успокоиться, и встал вопрос, как же развеять эту грусть от одиночества и боевое единство, при таком сиротстве необходимое как никогда, возобновить и укрепить. Зиновьев с Каменевым, посоветовавшись, как водится, за шкапом, выдвинули идею, чтобы рассеяться, устроить бал-маскарад из эпохи Великой французской революции. Это встретило одобрение, и Дзержинский тут же распорядился выпустить бывшего директора бывших императорских театров, чтобы тот доставил парики, камзолы и прочее, что необходимо. А когда, художественно наряженные кто кем, собрались в Узком, в доме отдыха для наркомов, заморили червячка и прилично зашумели, то и сам В. И., зорко взглядывая на пирующую гвардию, смеялся беспечно, как ребенок. И вдруг входит Сталин. Он явился с опозданием и без штанов. Гут все притихли и, не спеша пока расставаться с добродушным выражением лица, как-никак насторожились. Потому что если это шутка с его стороны, то и ладно, а если не шутка, то почему он без штанов? Взялись с интересом копать и в пять минут докопались, что во всем виноват по обыкновению Луначарский. Сталин — он одну знал в жизни сладость: блеснуть при всем честном народе: и один страх до мурашек: на

людях попасть впросак. Про бал-маскарад когда объявили, он понимал, что главные роли уже расхватаны, а подобрать себе роль ни то ни се, ну и останешься с нулем внимания. И придумал он нарядиться никаким не главным и не каким, а рядовым пролетарием того времени. И это будет обозначать, что человек он, Сталин, выдающейся незаметной скромности и никуда высоко не метит, зато с крупным намеком, за кем последнее слово в истории. Так он хитро удумал, но, труся опростоволоситься, решил проверить у Луначарского, были ли тогда, подвизались ли уже пролетарии. «Ну, если угодно, подвизались, но назывались не пролетарии, а санкюлоты», — проговорил Луначарский наскоро, потому что он по обыкновению страшно спешил, а Сталин поймал его на лестнице в Колонный зал, где как раз делали приготовления к маскараду, и он, остановившись, боялся подзабыть, куда ему потом спешить дальше — вверх или вниз, поэтому, выпалив скороговоркой, кинулся сразу вверх, хотя, между прочим, уже призабыл и надо-то было вниз. Сталин только и успел спросить: «А почему так назывались?» на что Луначарский, исчезая, бросил: «Само слово означает без штанишек». И сказал-то он это отчасти правильно. Дело все в том, что пажоны той далекой эпохи вырядились, как один, в штанишки по колено, кюлоты, вроде как бриджи. — ну мода. А нормальные люди, труженики, носили конечно, нормальные штаны. Пажоны же на них кривили рот и обзывались: фу, мол, быдло, в какой серости живут и одеты без понятия, в смысле, не по моде. А Сталин понял — вовсе без штанов, хотя наоборот. Но действительно, Сталин в гимназиях не обучался, откуда ему было знать! А так-то он все рассчитал и нарочно опоздал к началу, воображая, как все враз обратятся к двери и ахнут, насколько он превзошел умных вождей. Ну, когда разобрались, что он санкюлот и поэтому для наглядности без штанов, поднялось такое веселье и хохот — какого Грановитая палата не слыхала и в мирное время, при царях. Все устремили палец на Сталина и кричали. Зиновьев крикнул: «Сангалифе!». Каменев: «Санпорток!». а Дантон-Троцкий, как самый остроумный: «Санпропускник!». И только В. И.. Робеспьер, ничего не крикнул. Он посмотрел на

Сталина, как тот стоит у косяка, в синей блузе и без штанов, как бледнеет и бледнеет его рябенькое личико, и шепнул Бухарину: «Этого он нам никогда не простит!» И предвидел гениально, так как в эту самую минуту Сталин дал про себя страшную клятву, что никого не останется на свете, кто свидетель, как он осрамился. И также никого, кто знает иностранные языки, потому что они насмешники. А когда он через это дорвался до власти, он моду всячески зажимал и запретил называть Великую французскую революцию великой.

\* \* \*

Если бы прохожие были так осторожны и осмотрительны, как В. И., не было бы никаких происшествий. И особенно он этим поражал при отборе кадров. С какой надеждой он подбегал, бывало, к фабричному котлу, в котором варились будущие кадры! Но, заглянув вовнутрь с присущей ему исключительной проницательностью, отходил с грустью, говоря: «Нет, нет, пока не то. Пусть еще поварятся». Потом-то брали и сырых... Да, если бы у нас начальники были так рачительны, а работники так старательны, как мечтал В. И., было бы теперь всего завались.

\* \* \*

Моложавый, хотя уже с плешинкой, В. И. еще тогда был очень внимателен к товарищам и исключительно терпелив. Если кто-то из товарищей не понимал его, он не уставал повторять до трех раз. Но если и на третий раз товарищ не понимал, то такому фракционеру, такому раскольнику, такому предателю оставалось только пенять на самого себя. Впрочем, нередко В. И. еще разок объяснял ему вдогонку, что к чему и кто он есть. Характерно, что и после этого В. И. всегда справлялся о его здоровье и, если узнавал от товарищей, что товарищ жив, как правило восклицал, в восхищении потирая руки: «Жив курилка! Жив, а?».

\* \* \*

В. И. очень любил посмеяться. Однажды он чуть не умер от смеха. Было так. Жена услышала из своей комнаты, как он го-

ворит по телефону: «Да... ну? ну?» и обрывок смеха; после чего настала дрящая тишина. Обиженная, что он не рассказал ей, что смешного, она вошла в кабинет и увидела, что В. И. корчится на кожаном диване, истекая слезами и медленно иногда переваливаясь с боку на бок, в общем довольно упитанный. Она спросила, что смешного, но В. И. только ручкой махнул, будучи не в силах сказать. Наклонившись над ним и разглядывая близко сквозь очки, она убедилась, что смех застрял у него в горле и препятствует произвести вдох. Перебирая мысли, как выбить вон или протолкнуть внутрь эту затычку смеха, жена предположила, что лучше всего подойдет что-нибудь абсолютно не смешное. Она упомянула о Девятом термидора, о кладбище Пер-Лашез и других наиболее несмешных предметах, но В. И., продолжая как ни в чем не бывало помирать со смеху, только отмахивался, раз от разу слабее и безнадежней. Между тем, голубизна его лица сгустилась, обнаруживая признаки посинения. Внезапно он выдавил с ужасающим паровозным свистом: «Дзержинского!..», но тут же опять впал в бездыханность с переваливанием с боку на бок. Однако открывшаяся принципиальная возможность издавания звука открыла его могучую волю и, побеждаемый удушьем, но возобновляя борьбу, он через долгие паузы просипел с удивительными изредка прорывами в чистый звук:

— Германский посол фон Блюмкин... приятель Дзержинского... Ну там... то ли его убили, то ли он кого-то убил... ихние штучки... футуристы... А кончилось тем... А кончилось тем, что...

— Смех одолел его, тонко и кратко постанывая на одном выдохе при невозможности вдоха, он отвалился на спину, и жена бросилась крутить ручку телефона, чтобы экстренно сообщить доктору Обуху, что с минуты на минуту мировой пролетариат понесет невосполнимую утрату, как вдруг В. И. взвыл:

— Дзержинского арестовали! — И, роняя слезы, он покоился на жену, явно удивляясь, что она не свалилась кататься рядом или, если тесно, на ковер.

— Но я не понимаю, что смешного. — сказала жена.

— А ты пойми! — вскричал В. И., и его на время схватило.

— Ты вдумайся! Ты оцени! Пойми же: не он, а его! Ты только представь: Дзержинского — ведут! Не он, а его!

\* \* \*

Кремлевские курсанты очень любили В. И. Когда он своей характерной походочкой, стараясь не привлекать внимания, скромный и человечный, выходил через Кутафью башню и направлялся к дому по соседству, где жила его любовница, курсанты понимающе глядели ему вслед и не без явного дружелюбия говорили меж собой: «Поше-ал...»

\* \* \*

Во дни исторического бурления В. И. не однажды, а, можно сказать, сегодня и ежедневно фигурировал в кратере митинга. Радостный успех вождя вождей у окружающей публики объяснялся тем, что был он, к чему еще не привыкли, милостью божьей рыжий и в довесок с присущей ему величайшей серьезностью относился к самому себе. И хотя, если посравнить с вождями всех стран, перво-наперво с генералами, в этом нет ничего такого, но еще один для истории колоритный факт.

\* \* \*

Однажды В. И. вырвался из революционного шквала подышать воздухом в Полюстрово и видит: присесть негде. Скамейки поломаны и повалены, павильон разбит в щепы, на воде что только не плавает, а что по своему удельному весу не может, затопленное, торчит. Видя такое, В. И. гневался, не щадя себя. «Я готов допустить, — жарко рассуждал он, — что была необходимость напакостить. Это я допускаю. Но надо же потом прибрать! Непременно!». Он указал, что это вообще наша слабая сторона: напакостить умеем, но потом непременно прибрать пока не научились. И прорек: если не научимся, это нас погубит. Таков был В. И.: до него доходило на период раньше, чем до соратников.

\* \* \*

Часто задают вопрос: а верил ли В. И. в бога? Правильный ответ будет такой: он верил в абсолютную неизбежность.

\* \* \*

Соратники трогательно берегли В. И. Когда пришло время взять власть в свои руки, они подыскали для него теплую нелегальную квартиру, чтобы он сидел тихо и пил чай, а как только они возьмут власть в свои руки, так мигом пришлют за ним извозчика или даже, возможно, автомобиль. И женщину нашли надежную, чтобы за ним приглядывала. И действительно, В. И., для нелегальности к тому же бритый и непохожий, с беспечным видом пил чай с баранками и шутил. Но едва эта женщина выскочила на угол за продуктами, пока купец не запер лавку, как В. И. не раздумывая нацепил кепочку и, презирая опасность, пешком, проныривая в сумерках среди патрулей и отдельных выстрелов, с присущей ему целеустремленностью двинулся в институт благородных девиц, называемый Смольный, где укрылись соратники. «Знаю я вас», — думал он дорогой, что недвусмысленно свидетельствует, что и в этот исторический час В. И. не считал возможным оставить без присмотра благородных девиц.

\* \* \*

Кто действительно любил В. И., так это его жена. Вообще-то, она была крещеная, но крестик сняла еще в молодости, перед тем как с головой окунулась в революционную борьбу (в тот момент ее и увидел впервые В. И., который находился в водовороте революционной борьбы). Зато потом до конца дней она как память носила на удлинённой веревочке пломбу от немецкого вагона, в котором В. И. благополучно доставили из прекрасного далека прямо к броневнику. Когда же стриженные по мочки девушки-рабфаковки, почтительно любясь на пломбу, интересовались, правда ли, нет ли, что В. И. был немецким шпионом, она отвечала с обычной для нее простотой: «А разве партия поручала В. И. быть немецким шпионом? Разве было ее такое решение? Было бы, был бы. А не было, то и не был».

\* \* \*

Однажды, когда В. И. жил в Париже, у него украли часы «Павел Буре», которые он носил в боковом кармашке на длинной цепочке. Причем интересно, что кусочек цепочки, продетый в петельку, так и остался висеть. Другой не обратил бы внимания, а В. И. еще как обратил. И вскоре он создает свое знаменитое учение о звене, за которое надо ухватиться, чтобы вытащить всю цепь и часы «Павел Буре». Это учение он впоследствии неоднократно с блеском применил при различных исторических нестыковках. Так, например, когда В. И. узнал о контрреволюционном мятеже, поднятом не где-нибудь, а в морской крепости Кронштадте, и не кем-нибудь, а революционными матросами, он этим своим особенным манером вынул эти свои любимые часы «Павел Буре», отщелкнул ногтем крышку и сказал: «К семи не подавите — c'est la fin, messieurs!».

\* \* \*

В. И. очень любил играть в шахматы с Богдановым, но всегда проигрывал. Причин было две. Первая — это надменная богдановская теория: заранее все обдумать, а потом проводить свой замысел, ни на что не обращая внимания. «Э нет, батенька. — думал В. И. — Замысел хранить исправным и до блеска начищенным — это так, это мне ли не знать. Но вместе с тем гибкая тактика, извилистая, юркая, живая, как сама жизнь, с ходами неожиданными, как снег на голову, с прыжками вперед, назад и в стороны. И с отповедями наповал, будь то ропот хвалы или хотя бы даже крики озлобления. А этак-то, ни на что не обращая внимания, ничего у тебя не вытанцуется, батенька, даже в шахматах». И, размышляя в таком духе, В. И. ходил до того невпопад, что Богданов, действительно, выигрывал порой далеко не сразу. А вторая причина, что за игрой не мигая следила сноха пролетарского писателя Максима Горького, дама коварная, и В. И. просто не мог упрятать в рукав богдановскую туру, как это было принято в эмиграции.

\* \* \*

Когда В. И. в Горках сидел на скамеечке с такой улыбкой, как будто он уже ничего не соображает, он на самом деле

очень даже соображал. И пока фотограф, бодаясь, прилаживал голову под черную суконную накидку, он сказал сидевшей рядом жене, ворочая языком кое-как, но она уже приспособилась понимать:

— Мы с тобой, Надя, как старик со старухой у самого синего моря. Он да она, а окрест ни души. Вот фотографируют нас для истории, а не вышло бы — для иронии. Одни мы с тобой остались. Скамейка-то длинная, а пустая. Никого. И это в тот момент, когда золотая рыбка нырнула и затаилась на глубине. У меня уже ни сил нет, ни слов нет кликать, а они... — И неожиданно громко он добавил: — Сочи!

Жена-старуха заботливо всполошилась:

— Тебе что, Володя? Ты хочешь в Сочи, к морю?

— Сочи! — еще громче выкрикнул В. И. Его огромный лоб и весь его череп улилса липким нутряным кумачом, и старуха, изучившая его дальше некуда, догадалась, что старик силится крикнуть: «Сволочи!».

\* \* \*

В. И. бывал, когда надо, суров к людям, но, когда не надо, был с ними ласков. Однажды, когда он, еще молодой, жил за границей, привезли ему краденые деньги. «А вы уверены, — сурово спросил В. И.. — что это деньги эксплуататора и нажиты вот именно на безжалостной эксплуатации, на поте и крови трудящихся?». Которые привезли ответили, что да, уверены. Но В. И. на этом не уgomонился. Он подобрался к волнующей теме с другой, внезапной стороны. «А уверены ли вы, — спросил он, — что в этой незаурядной кучке нет ни одного рубля из кошелька трудящегося, эксплуатируемого человека?». Которые привезли ответили, что чего там, уверены. Но В. И. показалось, что они отвечают как-то нестройно. «Уверены? — переспросил он. — Ни единого рублика?». И которые привезли, угнетенно переглянувшись, ответили твердо и хмуро, что а то как же, конечно уверены. Только тогда В. И. просветлел лицом и сказал: «Ну если уверены, то об чем речь!». Он напоил их чаем и ласково, входя во все подробности, расспрашивал, как было дело.

\* \* \*

Иногда наивно спрашивают, почему В. И. все-таки терпел Сталина. А это потому, что В. И. смотрел реально. Он понимал, что приходится работать не с идеальными людьми, которых нет («иных уж нет, а те далече». — шутил В. И.), а с теми, которые есть под рукой используя кто на что способен. А надо отдать должное, Сталин был способен на многое. Этого не отнимешь. Но его ужасная невоспитанность глубоко задевала В. И., а манера топить баржи с арестантами всегда раздражала.

\* \* \*

Сталин, когда обижался, вспоминал сюда же все прежние обиды. Он никогда не забыл, как они со Свердловым бежали из ссылки, и шустрый Свердлов то ягоду таежную на бегу схватит, а то и рябчика, а Сталин недокумекал, обессилел, и когда В. И. тепло приветствовал Свердлова и вручал ему на память записную книжку, Сталин еще только-только показался из-за поворота. Разве не обидно? Хотя В. И. похвалил и его, говоря так: «Важно стремиться к поставленной цели, а кумекать здесь есть кому».

\* \* \*

Всегда проигрывая в шахматы, в городки, часто и в другие игры. В. И. все-таки и выигрывал довольно эффектно, он победил в той партии, на которую возлагал все надежды, и мог бы, говорят, а чем черт не шутит, оправдать победой всю жизнь свою, если б не смерть в самый досадный момент. Но смерть — это поражение, которое рано или поздно терпит каждый, и потому в нем никого не упрекнешь.

\* \* \*

Соратников В. И. не очень любил. Он прекрасно понимал, что один из них слишком мягкотел, другой, наоборот, чрезмерно увлекается расстрелами, третий, недурно разбираясь в том и сем, однако чистит зубы далеко не каждый день, а каково это, когда он на заседании приткнется щека к щеке и дышит! А главное, какого ни возьми, никто не вник толком и не вытвердил назубок отчеша, и если этот замнется на иже, так

тот уж непременно пропустить еси. И когда В. И. слег и стал думать, кто же после него будет вождем мирового пролетариата, он никого не мог подыскать на это место. А сына у него не было, потому что жена его была болезненная и рожать не могла. И в этом заключалась трагедия великого человека.

\* \* \*

В. И. был неисправимый оптимист. Однажды, когда он оттачивал свой ум в университете, один студент высказал явную неправду, а В. И., который уже тогда знал явную правду и был готов постоять за нее, дал ему в зубы, да так удачно, что тот отлетел к голландской печке. Однако встал, встопорщился, как петушок, двинулся на В. И. и под общее глупое одобрение других студентов, которые по младости еще охотно пугали явную правду с явной неправдой, так его отделал, что В. И. до сентября отлеживался в деревне Кокушкино, именице своей матери, то ли тетки. Но В. И. не придавал этому никакого большого значения, а напротив, всегда с удовольствием вспоминал, как ловко он влил тому студенту. «К голландской печке отлетел! — повторял он. — К голландской печке!».

\* \* \*

Сталин носил мягкие сапоги, но у В. И. был необыкновенно острый слух и чуткий сон. Когда Сталин на цыпочках вошел к нему в спальню, чтобы влить ему в ухо яд, В. И. услышал и проснулся. Он проснулся и сказал с присущей ему в такие минуты беспримерной силой логики: «Сталин! Зачем же ты хочешь влить мне в ухо яд? Тебя же никто ни в грош не ставит, и что ты будешь представлять из себя без меня?». Но Сталин на это обиделся еще больше. Он сказал: «Ну, это уже моя забота, забываемый В. И.!» — и влил ему в ухо яд. Троцкий опоздал буквально на полчаса. Он, как всегда, перемудрил: он думал, что яд надо вливать в ухо тепленьким.

\* \* \*

В гимназии В. И. учился так успешно, что после 4-го класса его премировали поездкой за границу для личного знакомства

с Карлом Марксом. Тот к нему отнесся с понятным интересом. Спросил: «А ты обидчив, мой друг? О, о, вижу, вижу, Так и подбавляет ученому. Всю жизнь обижайся и отмежевывайся. Вождю и вовсе иначе нельзя, сужу по себе». Беседовать со смышленным подростком было одно удовольствие. «Ну что тебе предсказать, — говорил мудрый старик. — Брат твой старший. слышно, вступил на путь индивидуального террора. Это ошибочный путь. Индивидуальный террор — это тьфу. Но ты пойдешь другим путем. Слушай дальше. С врагами все ясно, ими займутся твои друзья, а ты не спускай глаз с друзей: в каждом сидит бес бегства, дезертир, уклонист, оппортунист. Скрытно сидит, но, раньше ли, позже ли, высунет нос. Итак, говорю тебе: сосредоточься на друзьях-уклонистах. Есть резон: parole d'honneur! Не то, сам понимаешь, упростят, извратят, осрамят и тебя, и меня. И вот еще что, последнее, but not least. Придет время, будешь ли жив еще, нет ли, а станут над тобой потешаться: и где только откопал-де тех бородачей, старина-де, прошлый век! А ты отбрей такими словами: «Хронологию надо знать, господа потомки! Это для вас прошлый век, а для меня, как младшего современника, да еще в нашей глуши, последняя новинка, наподобие как для вас японский календарь!» Запомнил? Ein ganzer Kerl. Между нами говоря, мы-то с Фредом и мыслями, и вкусами сами из прошлого века. Но тем более скажи им, тем более: если до вас донесли из века аж позапрошлого изделия разума, которого чище нет, и пафос театра, которого нет выше, то надо благодарить и благоговеть, а не хмыкать и хихикать. Ну, поезжай с богом. Поклонись маме, а ты не забыл поздравить ее с пасхой? О, о. И директору гимназии, конечно, поклон и милому его семейству. Все-таки увидел я тебя напоследок», — тронутым голосом сказал, прощаясь, Карл Маркс, и невольная слеза поскакала по его бороде.

\* \* \*

В последнюю минуту жизни В. И. как бы даже усмехнулся и сказал без ярости, спокойно и трагично: «Мавр сделал свое дело». Но никто, кроме Бухарина, не понял, а Бухарин не считал полезным никому объяснять.

Вот что путают: кто герой, кто фанатик. А это не просто разное, это полярно разное. Герой, если согласиться, что герои тоже существуют, — свободный человек. Кто ее, свою свободу, искал и обрел, а в котором царстве, и в каком государстве, о том он один знает. Героем чаще назовут, если пожертвовал собой, жизнью единственной, — да, герой и это может, но не иначе как свободно: за другого, из любви. Кому же труд обретения свободы неизвестен или показался долг и тяжек, а пустота на месте ее грызет, обидна, низит, тот идет-бредет и наткнется на что-то. Наткнется, прилепится и все, не оттащишь: ему-то помнилось и втемяшилось, что вот оно мое, вот он я. Наполнился! Это и есть фанатики — рабы случайной цели. И смех и грех с ними. Хорошо еще, если он подался в коллекционеры: он и тут ничем не побрезгует, ан, глядь, добыл-таки со дна морского (или для него добыли) пятиугольную монетку Атлантиды — штука ценная как вещь и назидание: необычайно расширяет кругозор на все на пять сторон. А ну как наткнется он случаем на умный план вынуждения да хоть оттуда же, со дна, неведомо чего и неважно чего, а важно, что вынуждения. Дело это чем соблазнительное: вынуть-то, выходит, можно, а взяться с пылом, так и нельзя не вынуть. Тут уж греха набегит поболее, хотя, впрочем, и смеху надолго хватит. Фанатик, если с добрыми кулаками, он столько вынутчиков-ныряльщиков туда накидает, что век потом люди будут гадать, каким чудом воздвиглась дамба такой длины и ширины, что уж не то что нырять, не то что искупаться, а и ноги с дороги омыть гадко: ни капли чистой воды. И самого себя фанатик не пожалеет, он-то мыслит себя героем, вот представилось доказать, докажем, для самолюбия и жизни не жаль, а что удивительно, что в самой смерти они суетны и, господи, прости, комичны.

\* \* \*

В детстве В. И. был просто ангелочек. Светленький, кудрявенький. Все так и говорили его матери: «Ах, ну просто ангелочек!». А мать сомнительно водила головой, как будто не ве-

ря, но верила, потому что и сама видела. Как не верить, когда он такой и был. Какой же еще! Ангел и был. Мало ли что потом.

\* \* \*

Сам-то В. И. не хотел, чтобы его клали в мавзолей. Он всем говорил: «Не ставьте мне мавзолея, о, умоляю, не ставьте мне мавзолея! А эти деньги лучше отдайте голодающим немцам Поволжья». Но в тот год, когда он окончил дни, голода в Поволжье, как нарочно, не было, а впоследствии там не стало и немцев. Вот так без него и пошло: еще, гляди, само-то Поволжье на месте ли. И куда все подевалось...

\* \* \*

Враги ставили в вину В. И., что он не ужился с тещей. Но ужиться с тещей способен только святой, а В. И. не раз говорил, выступая перед рабочими: «Я не святой! Запомните это! Я не святой, а такой же человек из плоти и крови и всего остального! А кто мне ставит в минус, что я не ужился с тещей, я у них спрошу: а сами?! Вот так и спрошу напрямки, потому что мне чрезвычайно любопытно знать, какой еще бесстыднейшей клеветой они ответят!» После этого не приходится удивляться, что рабочие так любили В. И. и во что бы то ни стало хотели увидеть его, все равно, живого или мертвого.

Прежде чем укладывать в мавзолей, у В. И. первым делом вынули мозг и отослали в открытый для этого случая институт, чтобы изучить, как же он так был устроен, что так хорошо работал. Но до сих пор до конца не изучено, что мы и замечаем по всему. Внутренности из него тоже выбрали, но куда дели — тоже ли отправили на исследование или как, покрыто государственной тайной. Тут вообще кругом глухая секретность, как ватой обложено. Даже мавзолей вычертил, говорят, один француз или наш с французом, но всюду пишут, что один наш, чтоб не было разговоров. Огромный лоб В. И., и лицо, и руки, сложенные на животе, усиленно отбеливают перекисью водорода для поддержания натурального вида, и не суйся да-

же спросить, сколько в итоге затрачено хотя бы того же водорода и на какую сумму, но помогают ли эти протирания, опять же не опубликовано, потому что при нем кормится уйма народу и скрывают. Это не считая жалованья и пайков охране за фигурный шаг и почетное недвижимое стояние при дверях и несметных денег на мероприятия по внедрению любви и популярности, но никак, а как раз наоборот. Фактически от В. И. мало что осталось. По всей вероятности, один скелет, да и тот, конечно, скреплен проволочками, как все скелеты, выставляемые в учебных целях. Лучше и дешевле было бы изготовить восковую фигуру, но в настоящее время поздно, так как никого уже не осталось, кто помнит, как он выглядел, и теперь какого ни сделай, все скажут: не похож. Хотя это не такой простой вопрос, потому что известно, например, что артисты, игравшие В. И. в кино и в театре, были гораздо больше похожи. У самого В. И. был такой негативный момент, как его взгляд в упор, злой и цепкий: как взглянет на кого, так и тянет на цугундер и уже черта с два выпустит. У артистов же юмор сверкал в глазу, как бриллиант, что более соответствует. Но тот, что лежит в мавзолее, все соглашаются, что похож, потому что считается, что тот самый.

\* \* \*

Когда В. И. слег, он долго думал, как избавиться от Сталина, пока не понял с тяжелым сердцем, что нет другого способа, как снять его с должности. Ничего, решил он, перебьется. Но сам не успел, а соратники упустили время, потому что больше думали о том, как снять с должности Троцкого. И по тому времени это было тоже не лишнее, но Сталин воспользовался и стал вождем мирового пролетариата, а это было совсем ни к чему.

### **ДЕНЬ ГНЕВА\***

Никогда не бывало, чтобы столько детишек звали одного и того же человека — были приучены звать — дедушкой.

---

\*От публикатора. Этот листок лежал вместе с другими но опять другой почерк. А Турбин.

Никогда не бывало, чтобы одному человеку соорудили столько памятников.

Никогда никого писавшего что-либо — стихи, философию, романы, поваренные книги — не печатали такими тиражами. Умопомрачительные тиражи!

Но кто это читает? Специалисты. Для них можно бы размножить сколько требуется, по заказам, на гектографе. А тиражи эти вовсе не нужны, погибшая древесина.

И памятников этих никто не замечает. Даже удивительно: скульптуры как-никак, а прохожий валит мимо и головы не подымет, будто это фонарные столбы.

И внука родного не оставил, который чтит бы его, хотя б небрежно, просто за то, что предок, что от него произошел.

Могилки — и той нет!

Молодые иногда рассеянно спросят: а он вообще-то... нынче говорят «в принципе»: а он в принципе кто был? И был ли в принципе?

Ох, был.



## ТРИ ПИСЬМА ИЗ МОСКВЫ

Дорогой Э. Б.!

Понимаю, что моей стране нужны легкие и радостные люди, потому что фон трагичности и неблагополучия повышен. Но как быть мне, если не успеешь выйти за порог, как при всей своей безобидности и незаметности ты можешь попасть под прицел антисемитской ненависти?

Она стала сегодня громкой, уличной, публичной, в отличие от прежней — коридорной, кабинетной, интимно шушукующей, смакующей анекдотец. Гласность, вызывая относительную свободу речей, тем самым позволяет выплескивать со дна душ самый темный, низменный осадок.

Я не думаю, что все эти ненавистники всерьез считают евреев виновными в хаосе и распаде привычной жизни, в отсутствии продуктов, заговоре против России и проч. Просто, наверное, им органически необходимо облегчить наболевшую отчаянием и раздражением душу громогласно и абсолютно безразказанно припечатав инородца, взвалив вину за все на него.

Движение «Память» в Росси так же сильно, как и взаимно поддерживающий ее КГБ. Опыт подсказывает — лучший способ снизить колоссальную общественную напряженность — сообща унижать и вытеснять «чужаков». Это — банальная мысль и странно не это, а то, что у евреев снизился порог чувствительности к подобным мерзостям: ни рыданий в семейном кругу, ни гнева, ни протеста.

Наверное, этому есть причины, включая и страх за свою жизнь. В период начала разгула примитивных страстей возросла хулиганская жестокость и блатная истеричность; бесстрашно появились из недр общества люди с нечеловеческим выражением лиц. Они встречаются слишком часто.

Кроме того, изменились критерии уязвимости души. Разве ты будешь страдать от оскорблений, если знаешь, что многие вокруг находятся в тягостном, нервном, беспомощном состоянии под грузом гнетущих обстоятельств и, с той или с другой стороны, плохо многим.

К тому же евреи, воспитанные в вечной вынужденности чувствовать и понимать все перемены настроения и состояния души нации страны, давшей им кров много поколений назад, сами понимают простую, земную, человеческую природу этой ненависти. А понимание этого — шаг к смирению.

Но что еще остается делать, когда на улице, в очереди, при всех, демонстративно и с мрачным удовольствием тебя «загоняют в угол», объявляя, кто ты есть и что все вы такие-сякие? По-моему, остается только с максимально возможным достоинством, не пытаясь прятаться, нести этот крест, свое беззащитное еврейство, ставшее особенно заметным сейчас.

И еще об использовании гласности. Антисемитизм сегодня как бы легализован многочисленными разговорами о нем. Наверное, с благими намерениями констатировать наличие этого явления, выявить его истинное лицо показываются демонстрации «Памяти», берутся интервью у ее лидеров, обсуждаются проблемы национальной виновности и нетерпимости на ТВ и страницах газет. Но почему после таких передач и статей остается ощущение пощечин? Может быть, потому, что вы-

ступления явных и тайных членов и сторонников движения «Память», при всей их бесталанности и приземленности, наступательны, безапелляционны, бесстрашны, уверенны и злобны, а правильные, интеллигентные выступления их оппонентов деликатны, беспомощны, бледны, кажутся скованными? Чем? Рамками каких утонченных церемоний? Страхом перед кем? Бог знает...

Меня пугает слишком частое повторение слова «еврей» и из тех и из других уст. Чувствуешь себя неуютно то ли от бестактности самой ситуации, то ли от невозможности загасить очаг ненависти.

Завистники считают, что евреям еще не так плохо живется: есть шанс уехать, то есть какой-то выбор, а это уже преимущество.

Да, преимущество... А тебе кажется, что здесь, где ты был для кого-то светом, для кого-то помощью, для кого-то просто понимающим человеком, где ты создавал, как тебе казалось, атмосферу доброжелательности, творчества, чистоты и принимал радость и свет от других, переживал с ними боль, испытывал страдание и щемящую любовь к этой земле, — здесь твоя судьба, твой кров, здесь ты нужен.

И вдруг поймешь — и чем скорее, тем, наверное, лучше, — что это иллюзия. Что ты этой страной в глубине ее сознания, исподволь, всегда воспринимался как чужак и тебе дадут понять это даже в эпоху благополучия, если она наконец-то придет в Россию.

Конечно, конечно, — здесь сегодня нужны сильные люди. А если нет сил и опор извне, забыть, что ты воспринимаем как чужой, что твое присутствие и помощь нежелательны, жить так, как те самоотверженные инородцы, которые делают все, чтобы вытянуть из пропасти прекрасную, больную родину?

Слабым и уставшим от борьбы с этой ненавистью людям нужно, по-видимому, освободить от своего присутствия эту страну, которая сама толкает их в спину. А многие из них так поглощены здешним воздухом, возвращены здешним словом, что уже и не евреи давно в строгом смысле. И столько силы ушло

в этот мир, что они стали заложниками здесь своих собственных трудов и общений, сотен иногда тончайших, но горячих связей с ним.

А ведь, может, и действительно надо прощаться? Может быть, стране без тех, к кому она несправедлива, будет легче? Не знаю, заметили ли вы, как те наши политические лидеры, которых можно назвать и честными и порядочными, тщательно избегают темы антисемитизма? Конечно, им сейчас не до этого; возможно, они видят сложность и несущественность ее, ведь главное — сделать лучше жизнь большинства. А может, они тоже втайне хотят освободиться от этой проблемы российской национальной совести?

Мне только кажется, что в этой области борьбы добра со злом добро уступает. Впрочем, на фоне нынешних драматических событий такая уступка пока не считается определяющей исход борьбы.

А как считаете Вы?

Ваша Маша

Здравствуйте все!

...Письма из-за кордона идут страшно медленно. Может быть, в них что-нибудь ищут? И люди, и перелетные птицы, и письма уезжают, улетают и следуют отсюда поспешно, а возвращаются сюда очень нехотя, ползком! Впрочем, это, видимо, не только наша беда. Вот Бэла сообщила мне в письме, что пишет вам регулярно — а вы не получаете(?) Она говорит (а я ее знаю как очень честного человека), что письма из Израйла с США теперь идут, как в СССР — месяц. Так что не ругайте ее очень-то.

В Израйле она кое-как устроилась на работу, как говорят в СССР, — в «сферу обслуживания». Дом престарелых, конечно, не самое приятное место работы, работа физически нелегкая — но лучше так, чем никак. (Я тоже был бы готов ухаживать за старушками — в том случае, если им не больше 35 лет.) Ду-

мается, что к физическим нагрузкам она привыкнет быстро. Однако, конечно, утрата социального статуса, так сказать, «престижа» касты умственного труда — шутка довольно угнетающая. Я не слишком уверен теперь и в том, что в нынешнем Израиле Лева удастся устроиться более менее выгодно, устроиться строго по специальности. Остается физический труд — но евреи его издавна не любят, не уважают, не ценят.

И физический и умственный труд оплачиваются здесь одинаково плохо! А ныне вообще любой труд почти потерял смысл.

Как ни странно, как ни смешно — Бэлина работа, т.е. работа официантки, — сейчас здесь, в Москве — одна из самых выгодных в бытовом, реальном смысле. Ибо здесь не человек ест продукты, а наоборот. Поиски «чего пожевать» отнимают все свободное время, не считая 90% рабочего. По-прежнему, голода еще нет, но он теперь актуален. Причем его причины не столько в отсутствии или острой нехватке продуктов питания (их немногим меньше, чем в прошлом году), а в катастрофическом разрушении товарных связей, организационном хаосе и гиперинфляции. На этом фоне торговая мафия становится единственным хозяином положения.

На наших денежных знаках нарисован ленинский профиль — а по сути это уже «керенки» образца 1918 года. Более того, республики, области, города выпускают «параллельные» бонны, т.е. фактически талоны на отоваривание денег (боюсь, вы не поймете, я сам не понимаю). Или всевозможные «карточки». На «границах» ряда территорий разворачиваются «внутренние» таможи, чисто конфискационные.

На глазах история повернула вспять. Говорят-то все о рыночных отношениях, приватизации «священной» собственности, выкупе квартир и магазинов, конвертируемости рубля и пр. — а на самом деле капитализм не ближе коммунизма, бывший государственно-абсолютистский феодализм кажется далеким «золотым веком» и, как по другому поводу гордо писал А. Блок, «невозможное — возможно...», а именно: мы оказались в раннем феодализме, почти как 1000 лет назад или при Юрии Долгоруком. Сплошной натуральный обмен или, как теперь любят говорить, «бартер».

Наш Генеральный Нобелевский Президент очень испуган и очень устал от оппозиции. Это больше не оппозиция партий, а оппозиция масс — и побороть ее словами невозможно. Власть похудела и мечется, как белка в колесе, — но выхода не видит никто! Запад тоже испугался. Русские дивизии уходят, они не страшны более, но европейские сытые и добрые народы и правительства содрогаются от угрозы нашествия варваров с Востока, т.е. граждан бывшего СССР. Действительно, эти орды, если прорвутся, — сметут и сожрут все и вся, подобно саранче. Старо это, как мир. Римская империя — и гунны! Поэтому не только гуманность и христианские добродетели, но и прямая выгода, забота о самосохранении, о спокойствии, о статус-кво побуждают Запад к продуктовой и другой благотворительности, кредитам и т.п. Но все равно — спасибо им, т.е. и вам тоже, огромное. Потому что это хоть частичное, хоть и временное — но спасение для многих людей. Боюсь только, что «не в коня корм» — раскрадут подлецы, присвоят прохиндеи, разбазарят разгильдяи, сгноят дураки!

Ну, у нас пока терпимо, не голодаем — даст Бог, перезимуем как-нибудь.

Ваш Р. А.

Уважаемые сотрудники редакции «Время и мы»!

28 февраля я прошел собеседование в американском посольстве и получил статус условно-въезжающего. Дело в том, что мне очень нужен спонсор для въезда в страну. Мой личный номер в иммиграционном бюро WP-101078. Если у вас возникнет желание мне помочь, пожалуйста, направьте свой запрос по адресу:

Washington Processing Center  
1111 North 19th Street, Suite 600  
Arlington, VA 22209

Я постараюсь в этом письме подробно рассказать о себе и о своих взглядах на ситуацию в России. Мне 29 лет, я холост.

Работаю проповедником во 2-ой Московской церкви евангельских христиан-баптистов. Ранее служил псаломщиком и певчим в одной из православных церквей Москвы. Прослужив 3 года, ушел оттуда из-за атмосферы пьянства, подхалимажа и взяток. Я по национальности — чистокровный русский (в последнее время вопрос «чистокровности» у нас приобретает первостепенное значение). Коренной москвич, мои предки въехали в Москву в середине 19 в. и это подтверждается документами из нашего семейного архива. Видит Бог, что у меня никогда ни с одной национальностью трений не возникало — умею дружить и с грузинами, и с татарами, и с евреями. Эта моя черта характера очень не понравилась настоятелю церкви, где я служил, — националисту, способному публично хвалить Гитлера за то, что он убивал евреев. Эти взгляды настоятеля во многом стимулировали мое желание уволиться оттуда. Если мне удастся уехать из СССР, я постараюсь получить в США высшее богословское образование. Свободно владею английским. Разумеется, я понимаю, что в случае моего отъезда я могу рассчитывать только на тяжелую физическую работу — я к этому готов. Моя основная «гражданская» специальность — почтальон (причем высокой квалификации — с допуском к крупным денежным суммам). Я самоучка и был взят на работу в церковь (православн.) «с улицы» — как человек, обладающий всеми необходимыми познаниями.

Мне бы очень хотелось, чтобы вы помогли мне завязать контакты с кем-либо из ваших подписчиков. Дело в том, что я очень переживаю из-за того чудовищного бардака, который тут у нас развели, и эти контакты мне помогли бы хоть как-то успокоиться.

Я вообще-то человек не склонный к мистицизму, но в последнее время (и это касается в первую очередь духовной и даже церковной жизни) имеет место нечто такое, что можно истолковать как продолжение ниспосланного свыше наказания.

Решение эмигрировать мне нелегко далось, столь же нелегко мне было выйти из Православия. Не могу сказать, что меня мучает совесть, тем более, что честных и добрых людей,

серьезно относящихся к Богу, я в советском православии почти не встречал (разумеется, покойный А.Мень не в счет — это крайне редкое исключение из правила). Пожалуйста, не думайте, что я из тех, кто после убийства о. Александра сразу «записался» в его друзья. У меня действительно лежат дома письма от него и книги с дарственными надписями.

Разумеется, отъезд связан с психологическими трудностями. Однако если есть глубокое понимание беды, в которую окунули нашу родину 73 года назад, если есть чувство мучительнейшего и острейшего страдания от того, что ничего нельзя исправить? Пытка ежедневная, ежеминутная: я очень люблю свою родину и это не пустые слова. Но видеть (разумеется, не голые прилавки больше всего трогают меня) — видеть полную нереальность даже мечтаний о духовном возрождении России слишком жутко для того, чтобы дальше жить. Главная и самая непоправимая беда — чудовищная развращенность народа эгалитаристской психологией. Разумеется, дни коммунистов сочтены: но никогда русский человек не сможет нормально воспринимать чужой материальный достаток. Следовательно, планируемое введение капитализма в России должно опираться на чудовищные жестокости, чтобы держать люмпена «в узде», либо рыночный эксперимент закончится грандиозным кровопролитием.

Уверяю вас, я не боюсь смерти, да и лучше смерть, чем такая жизнь: ведь у нас самый настоящий голод. Единственное, что меня заботит по-настоящему, — это насущная и острая необходимость сберечь остатки русского национального интеллекта. Сберечь их — эти воистину жалкие остатки — можно только в диаспоре. Она хороша тем, что все ее члены обостренно воспринимают боль России, стараются передать своим детям язык и культуру когда-то в далеком прошлом великого и могучего народа. Я не строю никаких иллюзий относительно своего интеллекта, я обычный человек, начинающий проповедник. Но хотелось бы надеяться, что я смогу принести кое-какую пользу в случае отъезда.

Мне кажутся глубоко возмутительными и оскорбительными разговоры о так называемом религиозном возрождении в Рос-

сии. Это омерзительный сговор коммунистов из ЦК и коммунистов из Синода, дабы с помощью «разрешенного христианства» влиять на развитие событий. Но верхом омерзения было «дворянское собрание»... Как низко надо пасть, как напрочь надо было забыть о самолюбии, чтобы скоморошествовать с милостивого разрешения коммунистов! Слава Богу, что далеко не все дворяне в Москве потеряли стыд — есть люди, которые это мероприятие проигнорировали.

Я человек абсолютно непьющий, и к тому же я не хожу на демонстрации «демократических люмпенских сил» — поэтому мне чрезвычайно тяжело психологически. Возможно, что благодаря этому письму мне удастся (с вашей помощью) завязать какие-либо контакты.

Очень грустно, что в последнее время демократическая идея бессовестно забалтывается; появилась такая Мерзкая «политическая» фигура, как Травкин.

Видит Бог, я собираюсь уехать в США не из шкурных соображений — жить здесь выше моих сил.

*С уважением и самыми добрыми пожеланиями,  
Гусев-Михалев Петр Юрьевич, Москва*

---

## "МЕЛКИЙ ЖЕМЧУГ"

*"Мелкий жемчуг", новая книга Аллы Кторовой, разнопланова и многотемна. Это литературно-исторический коллаж, где описание пращуров и предков прошиваются картинами жизни современной Москвы, а воспоминания о детстве и юности во время Второй мировой войны идут параллельно с рассуждениями о современной литературе, взглядами автора на нового человека эпохи НТР и т.д.*

*"Мелкий жемчуг" продается во всех магазинах русской книги США и Европы. В книге 303 страницы, с портретом автора и фотоиллюстрациями. Обложка выполнена Вагричем Бахчаняном. Цена книги — 20 долларов. За пересылку — 1 доллар. Заказы на книгу также принимаются по адресу:*

Victoria Sandor,  
5838 Edson Lane,  
Rockville, MD, 20852  
USA

---

## Феликс РОЗИНЕР 101 СЛОВО = 12 СТИХОТВОРЕНИЙ

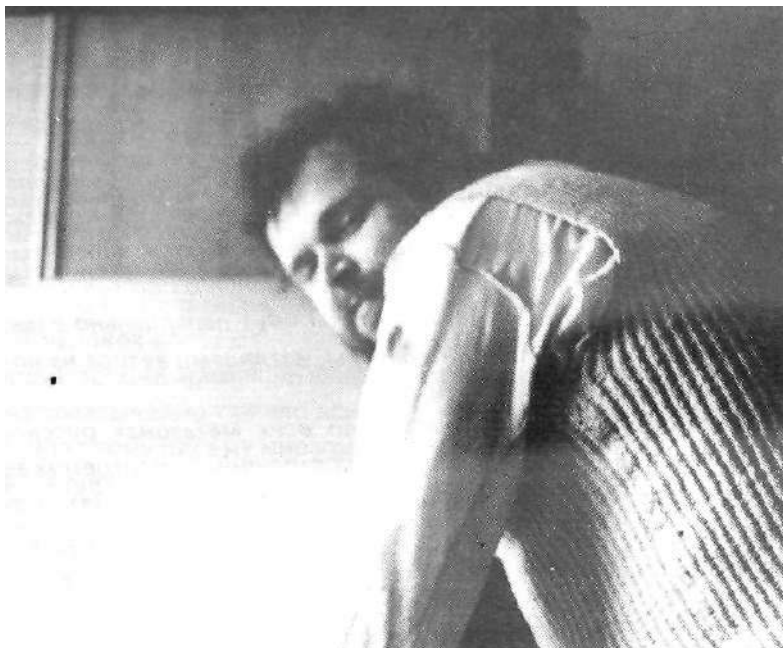
*Цикл с поэтикой аллитераций и смысловой игры, словотворчества и номинативной краткости.*

Факсимильное издание рукописи:  
13 отдельных листов в папке  
на рисовальной бумаге «Энгр».

Весь тираж — 212 пронумерованных и подписанных автором экземпляров, из которых для продажи предназначена только часть.

14 долларов (с пересылкой). Заказы у автора по адресу:  
Felix Rozlner  
866 Beacon Str. Apt. 2  
Boston, MA 02215, USA

---



## ПОРТРЕТ ВЕНЕДИКТА ЕРОФЕЕВА КИСТИ АНАТОЛИЯ ЗВЕРЕВА

Такого портрета, к моей глубокой печали, не существует. Никогда не существовало. Существует легенда о нем. Рождение ее было неизбежно, блистательные писатель и художник, не признанные советским официозом времен застоя, вращавшиеся в одних и тех же кругах московской богемы и ухитрившиеся ни разу не встретиться, должны были встретиться в легенде. Кто, как не Толя Зверев (кто еще мог выпить этот океан спиртного?), послужил прототипом героя поэмы «Москва — Петушки»? Тот самый Зверев, о котором Рафаил Фальк однажды сказал: «Каждое прикосновение его драгоценно. Художники такого масштаба рождаются раз в столетие...»

Когда три года назад я впервые поехала в Москву после многолетнего отсутствия, издательство «Серебряный век» поручило мне разыскать легендарный портрет. Анатолий Зверев, которого я в последний раз видела в день отъезда из Москвы в 1976 году, уже год как лежал в могиле, но Венедикт Ерофеев был, слава Богу, жив. Мы познакомились. Когда речь зашла о зверевском портрете, Ерофеев рассмеялся: «Мы никогда не видели друг друга, но многие почему-то считали нас друзьями...»

Легенда же о другом портрете не вымысел, а правда. Это о том, как Зверев выгнали с первого курса Художественного училища им. 1905 года, чем и завершилось его академическое образование.

Существует несколько вариантов этой легенды. Американцы в журнале «Лайф» сообщают, что как-то на занятиях, израсходовав всю бумагу на рисунки, Зверев сорвал со стены портрет Сталина работы Герасимова и на его обороте нарисовал обнаженную натуру. А на дворе был 1951 год. Известный коллекционер Георгий Костаки повествует во вступительной статье к каталогу зверевской выставки в Нью-Йорке о том, как Зверев в присутствии всего класса «объяснил» учителю, что его обязанности ограничиваются поддержанием порядка в классной комнате, обеспечением студентов красками и отточенными карандашами. Сам Зверев пишет в своей биографии в 1985 году (кто и каким образом усадил его написать ее?) со свойственной ему лаконичностью, что был изгнан «за внешний вид», а вот теперь узнаем из воспоминаний его друга, художника Дмитрия Плавинского, что выгнали все-таки за портрет, но не Сталина, а Маленкова, но сослались на «внешний вид»: борода!

Не меньше легенд о его происхождении. Одни говорят: сын дворника и официантки. Костаки: сын бухгалтера и посудомойки. В автобиографии Зверев пишет, что «отец — инвалид гражданской войны, мать — рабочая». Закончил семилетку и ремесленное училище. Поначалу работал маляром.

Талант его был так свеж, так бесспорен, и рисовал он так одержимо, что остаться незамеченным он не мог. Признание пришло сначала среди любителей живописи в России, а потом и за границей. Несколько его работ приобрел Музей современного искусства в Нью-Йорке. Его начали коллекционировать. Зверев стал модным художником среди иностранных дипломатов в Москве. КГБ ревновало: подслушивало его переговоры с дипломатами о свиданиях в посольствах. Хитрый Зверев звонил из автоматов, но не сразу догадался, что те, которые недалеко от посольств, прослушиваются. Если чекисты не успевали перехватить его по пути в посольство, били после создания портрета жены очередного ценителя советской нонконформистской живописи.

Ни к одной из его примерно тридцати тысяч работ, созданных им за недолгую жизнь (он умер пятидесяти пяти лет), ни один из советских музеев не проявил интереса, и при жизни Зверев в печати упомянут не был ни разу. Гласность вызвала его из небытия для широкой публики после небольшой персональной выставки в 1989 году — по прессе прокатилась волна восторженных откликов.

До той стадии своей славы, когда журналист Игорь Дудинский о нем писал: «Люди со столь высоким градусом личной и духовной независимости стоят целого поколения. Они оставляют после себя иной, преобразованный мир», Зверев не дождал. Думаю, что славу он пережил бы легко, как пережил — не замечая! — непризнание обществом. Слава это слова, а его искусство к ним отношения не имело. Слава говорила словами, пытающимися объяснить его искусство, а его искусство объясняло то, что как раз словами выразить невозможно — можно только цветом и формой. Могут ли слова сказать о тайне, которую несет

в себе линия в его рисунке «Богородица»? Как описать, что скрыто за наклоном плеч матери на этом рисунке? И почему так потрясает младенец? Глядя на это чудо, я вспоминаю слова Амальрика: «У него были такие неожиданные повороты, такие необычные ходы — и в картинах, и даже в рассказах и в стихах, которые и выдают гения».

Классификаторы причисляют Зверева к экспрессионистам. Если экспрессионист лишен грации, изящества, он рискует быть тяжеловесным, скучноватым, утомительным. Зверев был художник какой-то интуитивной грации — от Бога. В его даре — особенно рисовальщика — была легкость, стремительность, лаконизм. В живописи еще можно исхитриться и обмануть («подмазать»), но как обмануть в рисунке?

При всем удалении от «реализма» в поисках своего языка, он оставался естественным. Запечатлевая плоть и душу мира, он оставался этой плотью и душой. Он писал собой. Так же, как Веничка Ерофеев. Вот почему мне трудно примириться с тем, что не существует портрета Венедикта Ерофеева кисти Анатолия Зверева.

*Лиля ПАНН*

*Фото автора.*



Автопортрет. 1957 г.

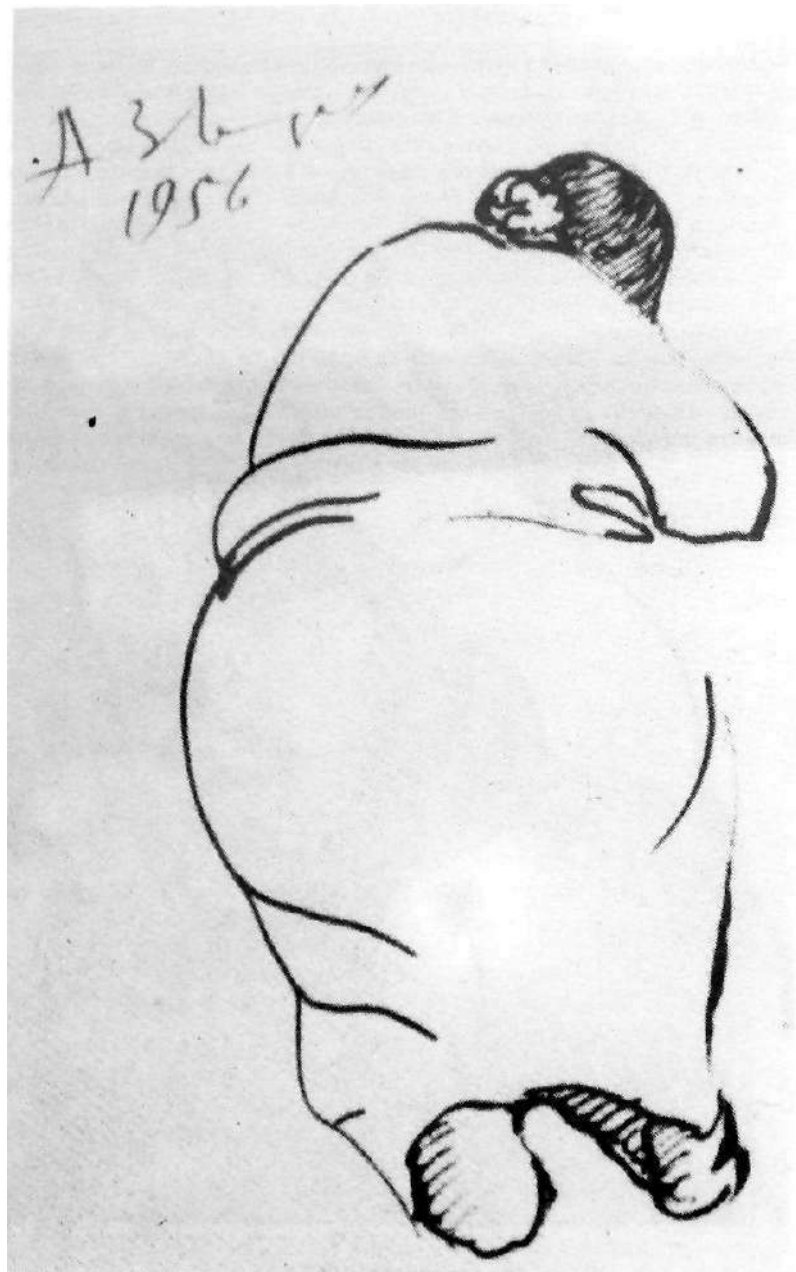


Рисунок. 1956 г.

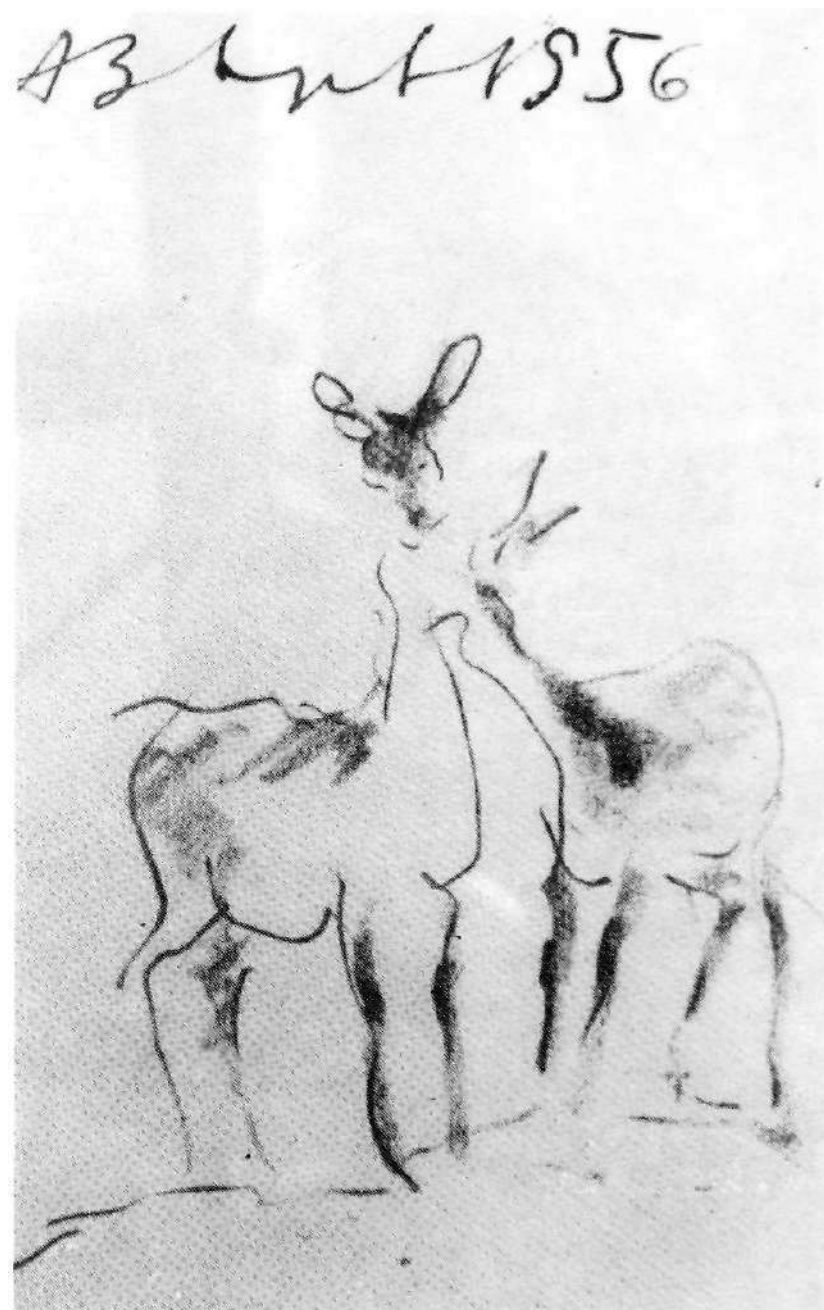


Рисунок. 1956 г.





Портрет дочери 1964 г



Автопортрет 1977 г.



Женский портрет. 1964 г.



Портрет отца. 1970 г.

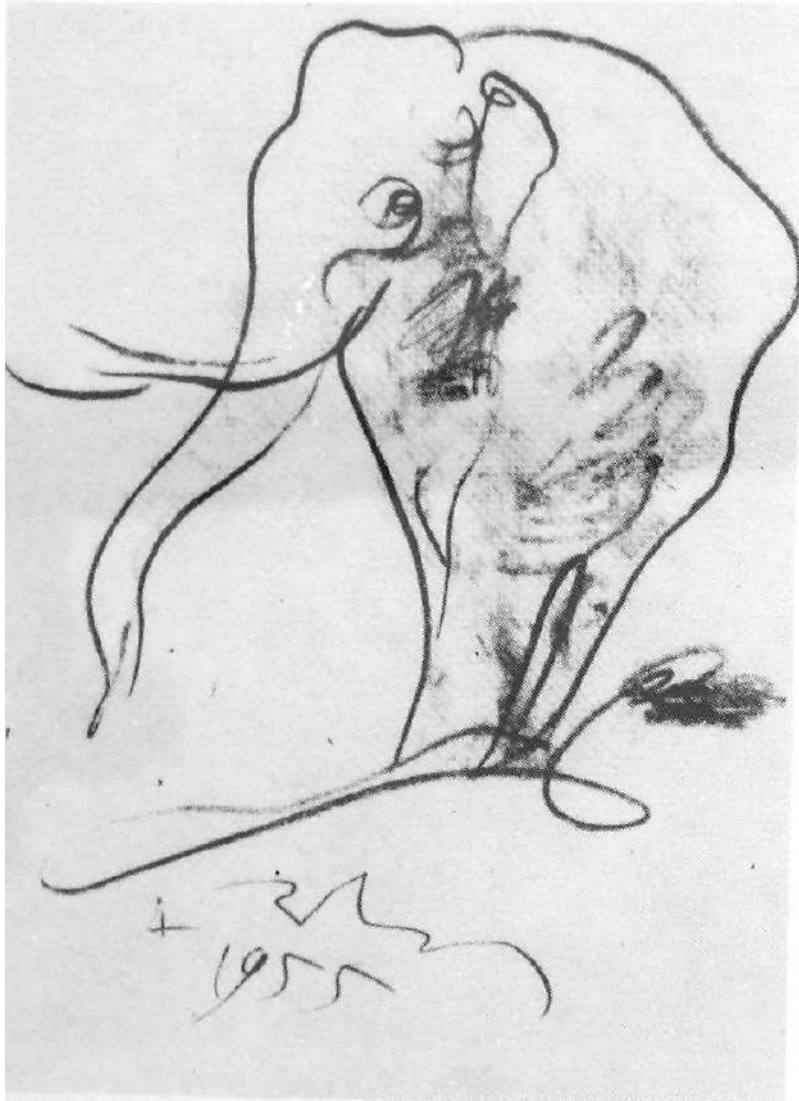


Рисунок. 1956 г

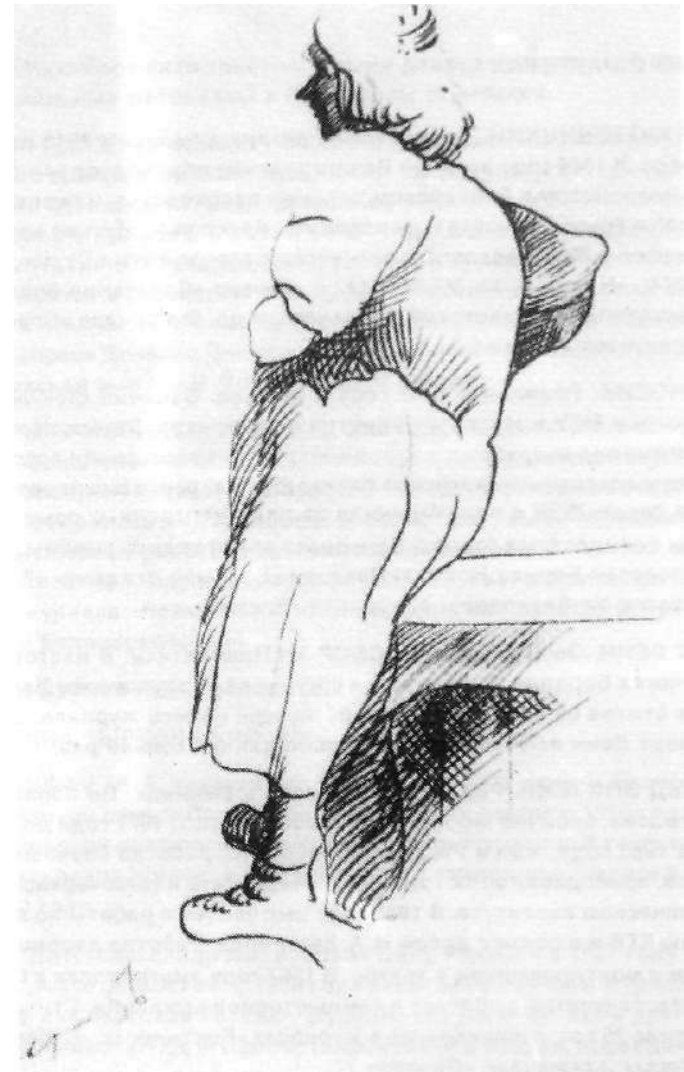


Рисунок. 1956 г

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**АНДРЕЙ КУТЕРНИЦКИЙ.** Драматург и прозаик. Родился в 1948 году в Ленинграде. В 1969 году окончил Ленинградское мореходное училище. Работал мотористом в Балтийском морском пароходстве, инженером, участвовал в археологических экспедициях. Автор пьес «Еще не вечер», поставленной в Московском драматическом театре имени Станиславского (1974), «Нина» — во МХАТе (1975), романа «Сочетание браком» (1988), вышедшего в «Советском писателе», и др. В журнале «Время и мы» публикуется впервые.

**БОРИС НОСИК.** Родился в 1931 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ и Институт иностранных языков. Борису Носику принадлежит ряд очерковых и публицистических книг, среди которых наибольшую известность получила биография Альберта Швейцера, вышедшая в серии ЖЗЛ и переведенная на ряд иностранных языков. С середины семидесятых годов в Самиздате стали ходить романы, рассказы и повести Бориса Носика. Повести «Большие птицы» и «В турпоходе» были опубликованы в журнале «Время и мы».

**АЛЬБЕРТ ЛЕИН.** Эмигрировал из СССР, из Прибалтики. В настоящее время живет в Берлине. Публикуется в журнале «Время и мы». Первая подборка стихов была напечатана в 92 номере нашего журнала. С тех пор Альберт Леин выступал на его страницах несколько раз.

**ЛЕОПОЛЬД ЭПШТЕЙН.** Родился в 1949 году в Виннице. По образованию математик, окончил Московский университет. С 1971 года до эмиграции, в 1988 году, жил в Ростовской области, работал научным сотрудником, преподавал в Ростовском университете и Новочеркасском политехническом институте. В 1985 году был уволен с работы по представлению КГБ и в связи с делом Н.А.Ефремова. Работал дворником, кочегаром и монтировщиком в театре. В 1987 году эмигрировал в США, живет в Массачусетсе, работает в компьютерной компании. Стихи пишет в течение 25 лет, публиковался в журналах «Континент», «Стрелец», «Дон», «Весы», альманахе «Поэзия».

**ЛЕВ НАВРОЗОВ.** Родился и вырос в Москве. Переводил на английский язык Достоевского, Герцена, Пришвина, Андрея Платонова, Фазиля Искандера. В 1972 году эмигрировал в США. издал первую из семи своих книг, имеющих общее название «Воспитание Левы Наврозова: жизнь в закрытом мире, некогда называемом Россией». Отрывки из этой книги печатались в журнале «Время и мы», там же были напечатаны эссе и статьи Льва Наврозова «Что знает западная разведка о России», «Посредственность и спасение Запада», «Запад выходит напрямую к гибели». «Где так вольно дышит человек» и другие. В настоящее время Лев Наврозов работает постоянным обозревателем га-

зеты «Нью-Йорк сити трибюн». Свыше двадцати его статей вошли как официальные материалы в Протоколы Конгресса.

**ЕЛЕНА ГЕССЕН.** Публицист и переводчик. Окончила Институт иностранных языков в Москве, специалист по немецкой литературе. Работала во Всесоюзной государственной библиотеке иностранной литературы. Эмигрировала в США в 1981 году. В настоящее время — научный сотрудник Гарвардского русского научного центра. Регулярно публикуется в русскоязычной прессе. Перевела на русский язык ряд книг, в том числе «Охота за «Красным октябрём» Тома Кленси, «Зимний дворец» Дэниела Джонса, «Жертвы Ялты» Ник. Толстого, «История власовской армии» Й. Хоффманна и другие.

**ВАДИМ ЯРМОЛИНЕЦ.** Родился в 1958 году в Одессе. Окончил факультет романо-германской филологии Одесского университета. Работал корреспондентом газеты «Моряк», затем в многотиражке сталепрокатного объединения «Дзержинец» и областной газете «Комсомольская искра». Первые рассказы публиковались в одесских газетах, журнале «Парус». В 1988 году эмигрировал в США. Живет в Бруклине. В 109 номере журнала «Время и мы» был опубликован рассказ В.Ярмолинца «Эмма Белоцерковская».

**ЮРИЙ БУРТИН.** См. публикацию.

**АРИАДНА ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС.** См. публикацию.

**Н.А.ТЭФФИ (Н.А.Бучинская).** Родилась в 1872 году в Петербурге, в дворянской семье. Первая книга рассказов вышла в 1910 году. После Октябрьской революции эмигрировала во Францию. В течение жизни опубликовала 30 книг, половину из них в эмиграции. Умерла в Париже в 1952 году.

**А.ТУРБИН (Александр Михайлович Бин).** Родился в 1927 году в Казахстане, живет в Москве. С 1956 года работает в научной журналистике. В газете «Советская Россия», журнале «Наука и жизнь» и других изданиях публиковались его репортажи, статьи и очерки, посвященные людям и проблемам современной медицины и биологии, а также истории науки. В течение ряда лет, не оставляя литературной деятельности, работал в научно-исследовательском отделе истории генетики Института общей генетики Академии наук СССР, где им был основан музей.

**Summary for the 111th issue of "Vremya i My" ("Time and We")**

ANDREI KUTERNITSKY, "Alone in Sevens." Prose by a Leningrad writer/playwright whose themes include the life and death of modern man, moral problems, loneliness, and human relations in contemporary Soviet society. A collection of short stories written in the first person.

BORIS NOSIK, "The Island." A short story about the life of an emigre woman who left Russia many years ago.

ALBERT LEIN, "The Hymn of Time, the Crunch of Time." Modern poetry.

LEOPOLD EPSTEIN, "Cross-Section." Modern poetry.

VICTOR PERELMAN, "Can Today's Russia Be Rebuilt?" The editor-in-chief of "Vremya i My" reflects on the possible paths of development of the USSR, predicting its complete economic and social collapse and gradual transformation into a Third World country.

LEV NAVROZOV, "The Western Philistine on His Way into Nothingness." In the writer's view, many Western politicians are unable or unwilling to understand that under the cover of glasnost and perestroika, the Soviet Union is building up its military and economic potential, striving to use Western technology in order to ultimately dominate the Free World.

ELENA GESSEN, "A Writer for Tomorrow, or the Makanin Example." A critical essay on one of the most original of Soviet writers, Vladimir Makanin. In Ms. Gessen's view, Makanin deliberately avoids social and political topicality and strives to examine the life and problems of modern Soviet people in pure form.

VADIM YARMOLINETS, "A Word on Pop Music." The essay looks, from the Western point of view, at role of pop music in the life of Soviet youth and tries to analyze its future and its present.

YURI BURTIN, "The Richness and Fatality of History." Journalist Andrei Kolesnikov talks to a prominent Soviet critic, writer and political commentator about "Modern Russia: Literature. Politics. Life."

ARIADNA TIRKOVA-WILLIAMS. "The Shadows of the Past." The well-known emigre writer reminisces about the life of writers in St Petersburg before the Revolution.

NADEZHDA TEFFI. "My Chronicles." Reminiscences about Russian writer Ivan Kuprin.

A. TURBIN, "Apocrypha on Lenin." A collection of oral stories about Lenin which capture the character of "the most human of men" (as he was called by Soviet propaganda) in a picturesque, subtle, and merciless way.

## ИЗРАИЛЬСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ» — 10 ЛЕТ

*Исполнилось 10 лет со дня образования израильского отделения журнала «Время и мы». Юридически созданное в ноябре 1980 года, отделение фактически развернуло свою деятельность с 1981 года.*

*За истекшее десятилетие оно проделало большую, хотя и не всегда видимую для внешнего мира работу. Все эти годы израильское отделение активно распространяло журнал, организовывало подписку и реализацию его через книжные магазины, осуществляло его рассылку, проводило все финансовые расчеты, занималось поисками новых материалов и авторов.*

*Можно без преувеличения сказать, что если сегодня «Время и мы» широко и постоянно читается в Израиле, то в этом большая заслуга отделения и его сотрудников Доры Штурман и Риты Шифриной.*

*Надо отметить, что свою работу им приходилось вести в непростых условиях, на каждом шагу испытывая нехватку денег. Не говоря уже о том, что в последнее время их деятельность, да и вся жизнь проходила в условиях войны. И если, несмотря на все это, отделение справлялось со своими обязанностями, то это только потому, что его сотрудники относились к делу с высокой ответственностью, с пониманием роли той важной культурной работы, которую им приходится вести.*

*Сейчас, когда в Израиль приезжают десятки и сотни тысяч новых репатриантов из СССР, задачи отделения станут еще более сложными, но мы надеемся, что его сотрудники и в этих условиях — так же, как в течение всего десятилетия, — окажутся на высоте. У журнала «Время и мы» появятся новые читатели, новые подписчики, новые авторы, и еще более вырастет его популярность в Израиле.*

**Владимир СОЛОВЬЕВ, Елена КЛЕПИКОВА**

**БОРЬБА В КРЕМЛЕ —**

**ОТ АНДРОПОВА ДО ГОРБАЧЕВА**

Вслед за американским изданием (издательство "Додд. Мид"), весной 1986 года "Время и мы" выпустило книгу Владимира Соловьева и Елены Клепиковой "Борьба в Кремле — от Андропова до Горбачева".

Для русского издания авторы предоставили дополнительные материалы, не вошедшие в английское издание книги. Авторы — журналисты и политологи, постоянно выступают во многих американских газетах ("Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост", "Дейли Ньюс", "Чикаго Трибюн" и др.). Их перу принадлежит вышедшая в издательстве "Макмиллан" и широко нашумевшая книга "Андропов".

### СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДЕЛЫ ПОНИМАНИЯ: ЧТО МИР ЗНАЕТ О КРЕМЛЕ И ЧТО  
КРЕМЛЬ — О МИРЕ

О ТОМ КАК СТРАНА УПРАВЛЯЛАСЬ СО СМЕРТНОГО ОДРА  
ДУЭЛЬ У ГРОБА АНДРОПОВА, ИЛИ О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО  
В КРЕМЛЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ МЕЖДУ ЕГО СМЕРТЬЮ И ЕГО  
ПОХОРОНАМИ

ИНТЕРМЕЦЦО С КОНСТАНТИНОМ ЧЕРНЕНКО

ТАЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИМПЕРИИ — КГБ

ГАМЛЕТОВЫ СОМНЕНИЯ КРЕМЛЯ: КАК БЫТЬ С ПОЛЬШЕЙ  
ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРЕМЛЕВСКИХ МАФИЙ, ИЛИ ПОЧЕМУ  
В КРЕМЛЕ НЕТ ЕВРЕЕВ, ЖЕНЩИН, МОСКВИЧЕЙ И ВОЕННЫХ?  
КОРОЛЬ УМЕР — ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПЕНАТЫ

БАЛОВЕНЬ ПОЛИТБЮРО

ТЕНЬ СТАЛИНА НАД КРЕМЛЕМ

КРЕМЛЬ, ИМПЕРИЯ И НАРОД, ИЛИ ПАРАДОКС НАРОДОВЛАСТИЯ

Цена книги — 16 долларов.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We  
409 Highwood Avenue  
Leonia, NJ 07605, USA

Александр Орлов  
ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Эта книга принадлежит одному из видных деятелей сталинского НКВД, но почти 30 лет она была неизвестна русскому читателю. Чудом уцелев, генерал Александр Орлов бежал в 1938 году в Соединенные Штаты и, оставаясь 15 лет неузнанным, прожил здесь до конца своих дней. Книга Орлова — это документальное свидетельство эпохи, раскрывающее самые глубокие тайны сталинской секретной полиции.

...КАК ГОТОВИЛОСЬ УБИЙСТВО КИРОВА...

...ВСТРЕЧА СТАЛИНА С НИКОЛАЕВЫМ...

...КАК БЫЛИ ВЫРВАНЫ ПРИЗНАНИЯ У ЗИНОВЬЕВА И КАМЕНЕВА...

...ИХ СДЕЛКА СО СТАЛИНЫМ В КРЕМЛЕ...

...ДОПРОСЫ И ПРИЗНАНИЯ ПЯТАКОВА, БУХАРИНА, РАДЕКА...

...ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ АЛЛИЛУЕВОЙ...

...ЯГОДА ПЕРЕД КАЗНЬЮ...

...ЕЖОВ, КАКИМ ОН БЫЛ...

...ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНА ПАУКЕР ОБ УТЕХАХ ВОЖДЯ...

Таковы лишь штрихи, лишь отдельные эпизоды документальной эпопеи Александра Орлова.

По свидетельству специалистов, ни одна из изданных до сих пор книг о советской тайной полиции не может сравниться с книгой Александра Орлова как по документальной точности излагаемых фактов, так и по захватывающему интересу, который она вызывает у читателей. Тот, кто открыл первую страницу этой книги, уже не сможет закрыть ее, не дочитав до конца этот зловещий детектив сталинской инквизиции.

*Книга Орлова (350 стр.) иллюстрирована редкими фотографиями 30-х годов. Цена книги - 15 долларов. Пересылка - 1 доллар.*

**Заказы и чеки посылайте по адресу:**

"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE  
LEONIA, NJ 07605, USA  
Tel.: (201) 592-6155

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН  
**ПОКИНУТАЯ РОССИЯ.  
ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ**

Второе издание книги Виктора Перельмана, которая в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Израиле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с книжного рынка. Книга выходит в новой редакции, с предисловием Ефима Эткинда и послесловием автора. Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в прошлом известный советский журналист, рассказывает о своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского радио, фельетонист газеты «Труд», спецкор и заведующий отделом информации «Литературной газеты» пишет о нравах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому читателю кухню советских газет и руководящего ими партийного аппарата.

Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и «Литературной газеты», которую автор называет «Гайд-парком при социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журналистов — Александра Чаковского, Константина Федина, Сергея Михалкова, Леонида Соболева, Федора Абрамова, Алексея Аджубея и многих других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Комитета партийного контроля, — через который в годы молодости лично прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм, рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя КПК Н.М.Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в высшем суде партии.

По существу — это исповедь бывшего советского журналиста, который много лет служил, как он сам пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь мучительного раздвоения и внутренней борьбы, прежде чем окончательно порвал с советским режимом.

В книге 320 страниц, цена книги — \$16. Заказы и чеки направлять по адресу:

Time and We, 409 Highwood Avenue, Leonia, N.J. 07605

ALMANAC P. O. BOX 480264

# панорама

**The largest independent  
American Russian publication**

крупнейшее независимое еженедельное издание  
на русском языке

**Издается с 1980 года в Лос-Анджелесе**

Главный редактор А. Половец

**ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ ГАЗЕТЫ:**

**ГЛОБУС.** Обзоры и комментарии к событиям международной и внутренней жизни.

**ПУБЛИЦИСТИКА.** В числе постоянных авторов газеты — обозреватель телевизионных программ ABC, бывший руководитель Информационной службы прессы в США Б. Хершензон, известные журналисты русского зарубежья Т. Шуман (Лос-Анджелес), П. Вайль, А. Генкс, С. Довлатов, В. Козловский, Б. Парамонов, М. Поповский, Григорий Рыскин (Нью-Йорк), М. Лемхин (Сан-Франциско), Д. Савицкий (Европейская хроника), В. Лазарис, Ю. Шаргородский, Э. Копельнович (Израиль).

**ЛИТЕРАТУРА.** В «Панораме» впервые публиковались отдельные произведения Василия Аксенова, Юза Алешковского, Эдуарда Лимонова, Сяши Соколова, Льва Халифа и ряда других писателей и журналистов, живущих в США и других странах.

**ГОЛЛИВУД.** Рецензии на новые фильмы и театральные постановки, интервью с работниками театра и кино, обзоры событий в кинематографе США и других стран.

**ЮМОР.** В этом разделе публикуются произведения авторов, пишущих на русском языке, а также переводы юмористических и сатирических произведений с других языков.

«Панорама» имеет постоянные представительства  
в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

Стоимость годовой подписки в США и Канаде — 33,00, полугодовой — 18,00 дол.  
Для оформления подписки необходимо заполнить приводимый ниже купон и  
выслать его в адрес издательства «Альманах».

ALMANAC P. O. Box 480264, Los Angeles, Ca 90048, USA

Прошу подписать меня на газету «Альманах-ПАНОРАМА» на срок ..12 мес./33,00  
6 мес./18,00  
В Европе, Израиле и Австралии стоимость годовой подписки — 64,00 дол.

Чек /монн-ордер/ на сумму ..... дол. прилагаю.  
Газету прошу направлять по адресу:

Имя \_\_\_\_\_ Телефон: \_\_\_\_\_

Номер дома Улицы \_\_\_\_\_ Город \_\_\_\_\_ Штат/Энп-код \_\_\_\_\_

**panorama** American  
Russian  
weekly

## КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АНТИКВАРИАТ"

- И. АКСЕНОВ. Пикассо и окрестности. — 12 долларов.
- М. БАХТИН. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. — 36 долларов.
- А. БЕЛЫЙ. Христос воскрес. — 5 долларов.
- К. ВАГИНОВ. Труды и дни Свистонова. — 10 долларов.
- Е. ДУМБАДЗЕ. На службе Чека и Коминтерна. — 10 долларов.
- П.П. ЗАВАРЗИН. Работа тайной полиции. — 10 долларов.
- А. КОТОМКИН. О чехословацких легионерах в Сибири. — 10 долларов.
- П.Н. КРУПЕНСКИЙ. Тайна императора. — 7 долларов.
- В.И. ЛЕБЕДЕВ. Борьба русской демократии против большевиков. — 12 долларов.
- Н. РЕЗНИКОВА. Пушкин и Собоньская. — 5 долларов.
- А.РЕМИЗОВ. Пляс Иродиады. — 12 долларов.
- И. СЕВЕРЯНИН. Колокола собора чувств. — 5 долларов.
- В. ШКЛОВСКИЙ. Ход коня. — 12 долларов.
- В. ШКЛОВСКИЙ. Гамбургский счет. — 15 долларов.
- В. ШКЛОВСКИЙ. Сентиментальное путешествие. — 20 долларов.
- В. ШКЛОВСКИЙ. Техника писательского ремесла. — 10 долларов.
- Э. и О. ШТЕЙН (составители). Чтобы Польша была Польшей. — 9 долларов.

Готовится к печати:

- В. КРЕЙД (составитель и автор-комментариёв). Георгий Иванов — Несобранное. Ориентировочная цена — 25 долларов.

Деньги и чеки присылать по адресу:

E.SZTEINS ANTIQUARY

594 Chestnut Ridge Rd.

Orange, CT 06477, USA.



### **КООПЕРАТИВ «СТРОЙСЕРВИС» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:**

1. Комплексное проектирование промышленных, жилых и общественных зданий, художественные разработки интерьеров и экстерьеров по заказам фирм и отдельных граждан зарубежных стран, а также участвует совместно с инофирмами в выполнении указанных выше работ.

2. Если на территории СССР находится прах ваших близких, могилы которых нуждаются в восстановлении, постоянном уходе, реставрации памятников, надгробий, оград, а также возложении венков к памятным датам и религиозным праздникам, кооператив «Стройсервис», обладая опытом, готов взять на себя обязанности по розыску могил и выполнить все ваши пожелания, а также обеспечить в дальнейшем:

- *постоянный уход за могилой в течение года;*
- *уход за растениями и возложение цветов и венков;*
- *установка новой могильной плиты или памятника;*
- *поминовение усопших и другие виды услуг.*

Оплата услуг в свободно-конвертируемой валюте. Условия и размеры оплаты устанавливаются контрактом, который кооператив направит вам в ответ на вашу просьбу.

Подтверждением выполненных работ будут служить фотографии могил и официальные акты, подписанные служащими кладбищ.

В случае Вашего прибытия в СССР кооператив окажет помощь имеющимися средствами для посещения захоронений.

Если Вы прибудете на автомашине — обеспечит уход и охрану Вашей автомашины в Москве на весь период Вашего пребывания.

*Пишите нам по адресу:*

*СССР, 129085, Москва И-85*

*проспект Мира, д. 83, кв. 37*

*Кооператив «Стройсервис»*

## **ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1991**

**УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:**

Стоимость годовой подписки в США — 59 долларов; с целью экономической поддержки редакции — 69 долларов; для библиотек — 86 долларов.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылаются по адресу: «Time and We».

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, NJ 07605, USA

TEL: (201)592-6155

### **ПОДПИСНОЙ ТАЛОН**

Фамилия.....  
 Имя.....  
 Адрес.....  
 .....  
 Подписной период.....

Прошу оформить подписку на журнал «Время и мы» на....год. Выслать с номера. Журнал высылать обычной (авиа) почтой по адресу:  
 .....  
 .....

Подпись.....

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE:

409 Highwood Avenue, Leonia, NJ 07605  
(201)592-6155

Набор, монтаж и подготовка к печати выполнены  
компанией Design Forces. Тел. (201)333-8420.

OCR и вычитка — Давид Титиевский, сентябрь 2011 г.  
Библиотека Александра Белоусенко

**На первой странице обложки: коллаж Вагрича Бахчаняна.**

**На четвертой странице обложки: рисунок А. Зверева «Богородица»**

